



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.



Во тѣмѣ вѣковой

Дмитрий Михайлович Березкин

K. Zolotarev



f. bal

88

Березкин, Д. М.

Д. М. Березкинъ

Во Т'мѣ Вѣковой
ВО ТЬМѢ ВѢКОВОЙ

ПОВѢСТЬ И РАЗСКАЗЫ

ИЗЪ БЫТА ХЛЫСТОВЪ, СКОПЦОВЪ
И БѢГУНОВЪ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія товарищества „Общественная Польза“. Б. Подъяч. 39.

1905.



ОТЪ АВТОРА

Въ качествѣ эксперта мнѣ пришлось участвовать во многихъ судебныхъ процессахъ о сектантахъ. Благодаря этому обстоятельству мнѣ много разъ представлялась широкая возможность непосредственно наблюдать не внѣшне-обрядовую только, а и внутреннюю, закулисную, заботливо прячущуюся отъ посторонняго взора жизнь этихъ заблудившихся „въ вѣковой тьмѣ“ людей „божіихъ“. Плодомъ этихъ наблюдений и является издаваемый сборникъ разсказовъ, печатавшихся ранѣе въ различныхъ петербургскихъ изданияхъ. Нерадостны, тяжелы эти разсказы. Но что же дѣлать? Я не измышлялъ, и если такъ вышло, то лишь потому, что нерадостна и тяжела сама жизнь описываемыхъ сектантовъ. Сколько горя, сколько слезъ, тяжелыхъ душевныхъ мукъ и потрясающихъ крова-

*выхъ драмъ таить она въ себѣ! И — темень. Непоглядная полуночная темень. Точно гу-
ща какая, она окутала своей клейкой мреѣй
тайники, пустыньки и скиты хлыстовъ, скоп-
цовъ и бѣгуновъ... Остается пожелать, что-
бы лучъ свѣта, блеснувшій въ наши дни во
мракѣ раскола, освѣтилъ и согрѣлъ и этихъ
гибнущихъ во тьмѣ братій нашихъ. Тогда,
можетъ быть, зазвучатъ и пѣсни другія, по-
явятся и рассказы иные. Дай-то Богъ!..*

Д. Березкинъ.



Въ дебряхъ

СЕКТАНТСТВА.

ПОВѢСТЬ ИЗЪ ХЛЫСТОВСКО-СКОПЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

* *
*

„Внемлите отъ лживыхъ пророкъ, иже приходятъ къ вамъ въ одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы хищницы; отъ плодъ ихъ узнаете ихъ“.

Мѡ. VII, 15—16.

„Они (лжепророки) внесутъ ереси погибели, и искупльшаго ихъ Владыки отметающуюся, приводяще себѣ скорю погибель. И мнози послѣдствуютъ ихъ нечистотамъ, иже ради путъ истины похулится“.

II Петра II, 1—2.

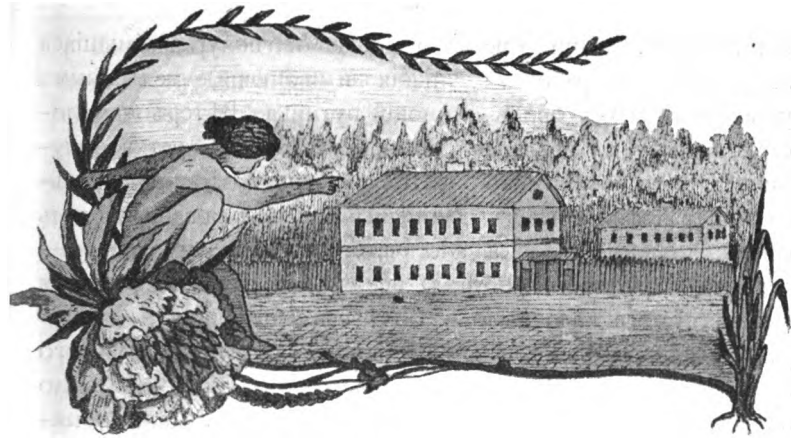
„Гибокъ языкъ чловѣка; рѣчей у него обилье всякихъ; поле словъ и туда и сюда безпредѣльно“.

Иліада, XX, 248—9.

„По кривой дорогѣ впередъ не видать“.

Пословица.





I.

едленно и невыразимо тоскливо тянулся ненастный сентябрьский день. Клочковатая сѣро-пепельная тучи сплошь заволкли собою небо, и изъ нихъ ни на минуту не переставалъ моросить мелкій-мелкій дождикъ. То и дѣло срывался колючій вѣтеръ «кожедеръ». Бѣшеные шквалы его съ дикимъ воемъ и визгомъ обрушивались на вершины громаднѣхъ сосенъ и елей, что на десятки верстъ темной и плотной стѣной обступили съ обѣихъ сторонъ полотно только что проведенной желѣзной дороги.

Сыро, знобко...

По едва замѣтной тропкѣ близъ самой насыпи, поминутно обходя еще неприбранные, выкорчеванные пни, беспорядочно

Во тѣмъ вѣковой.

сваленныя въ кучи бревна и доски и полуразвалившіяся землянки для рабочихъ, низкія и вонючія,—медленнымъ усталымъ шагомъ брелъ одинокій путникъ. Вѣтеръ немилосердно рвалъ съ его плечъ промокшій насквозь ветхій зипунишко; ноги, обутыя въ желтые тяжелые «осташи» скользили и разъѣзжались въ осклизшей отъ дождя глинѣ; вдоль спины, должно быть—съ клеенчатой котомки за плечами,—ледяной струйкой пробѣгала время отъ времени осенняя «мокреть»; все тѣло ныло и болѣзненно дрожало,—а впереди все такъ-же безлюдно, попрежнему ни малѣйшаго признака человѣческаго жилья, въ которомъ-бы можно было обогрѣться и хотя сколько нибудь передохнуть. Даже обыкновенной придорожной будки—и той который часть уже не видно: вѣрно, по новости, пути, гг. строители еще не удосужились поставить. Порой мелькнетъ лишь рабочій поѣздъ, съ безумнымъ хохотомъ и гамомъ метнетъ въ посинѣлое лицо путнику сажей и копотью—и опять пусто и дико кругомъ, опять гулъ и стонъ осенней непогоды, угрюмый хвойный лѣсъ и, среди невообразимаго беспорядка по сторонамъ, протянувшіяся куда-то въ промозглую даль по ряду толстыхъ древесныхъ обрубковъ, точно щупальцы какого-то гигантскаго чудовища, двѣ желѣзныя, лоснящіяся отъ сырости полосы...

День уже совсѣмъ померкъ, когда лѣсъ постепенно сталъ мельчать и отступать отъ полотна желѣзной дороги въ сторону. Мѣстность изъ низкой и мѣстами болотистой замѣтно стала переходить въ холмистую, твердую, песчаную. Скоро у самой желѣзнодорожной выемки потянулось сжатое ржаное поле, а сквозь смутную мглу надвигающейся осенней ночи замигали вправо, въ полуверстѣ, огоньки большого села Жигалева.

— Ну, слава ти, государю-батюшкѣ! Наконецъ-то добрался!—съ назябшей дрожью въ голосѣ прошепталъ путникъ и, свернувъ на узкую, грязную дорогу, пересѣкавшую полотно, изъ послѣднихъ силъ зашагалъ къ селу.

Ближе и ближе огоньки...

Вотъ уже и околица. Вотъ прудъ съ полудесяткомъ черныхъ курныхъ бань на берегу, Вавилина кузня, корявая Митрохинская береза, хлѣбная «магазея»... Мѣста все знакомыя, хотя и порядкомъ—таки невиданныя. Въ свое время не только мужики да бабы, а и ребята—то всѣ какъ есть наперечетъ, почитай, были знаемы. Сейчасъ вотъ, къ примѣру, направо, въ ряду, будетъ хата Максимки Главача, налѣво—Кузьки Безбородаго; далѣе, вонъ энта, со скворешней на задворкахъ,—Федота Лежебока, а за нимъ малюхонечкая такая, о двухъ перекосившихся, полувыпертыхъ изъ стѣны оконцахъ,—Феклы Миронихи съ сыномъ Ванюшкой...

Увѣренно шагая въ темнотѣ по потонувшей въ грязи улицѣ и безошибочно узнавая на ней всѣ мельчайшія подробности, всѣ углы и закоулки, путникъ прошелъ одинъ конецъ села, перешелъ по кладинкѣ рѣчку Жигалиху и среди другого—«зарѣчинскаго»—конца остановился передъ большимъ крѣпкимъ двухъ—этажнымъ домомъ, съ обширнымъ садомъ позади и справа.

Въ двухъ оконцахъ верхняго этажа, задернутыхъ красными кумачевыми занавѣсками, свѣтились огни. Слышался говоръ нѣсколькихъ мужчинъ и женщинъ.

«Тикъ—тикъ—тикъ!»—слегка побарабанилъ путникъ суковатымъ костылемъ по оконному наличнику.

Говоръ моментально смолкъ. Одна изъ занавѣсокъ отдернулась, оконце распахнулось, и въ ярко освѣщенной рамѣ его отчетливо вырисовалась дюжая лохматая фигура самого Евдокима Кондратьича Харлова, извѣстнаго и всесильнаго во всей округѣ «кормщика», большого жигалихинскаго хлыстовскаго «корабля»¹.

— Чево тебѣ?—грубо окрикнулъ онъ, сиюсь рассмотреть въ темнотѣ фигуру путника.

¹ «Кораблемъ» называется отдѣльная и вполне самостоятельная община хлыстовъ или скопцовъ. Начальникъ такой общины и носить названіе «кормщика».

— Человѣкъ Божій! Приюта ищу отъ ночи темной во твоємъ, батюшко, святѣ-духъ, кипарисовомъ саду,—смиренно, съ большимъ поклономъ, прокашлялъ послѣдній.

Услышавъ знакомое хлыстовское привѣтствіе, кормщикъ смягчился и не такъ уже грозно проговорилъ:

— Откуда, миленькій, будешь?

— Изъ-подъ самой Москвы, батюшко! Изъ подмосковныхъ «Божьихъ домовъ», красно солнышко!..

— А всяко,—не врешь?

— Что ты, что ты, батюшко! Я—не «тать кровожадная»¹, а воистину человѣкъ Божій. И пришелъ я къ тебѣ не иначе, а по заповѣди самага пресвѣтлаго царя-искупителя: «другъ къ другу ходите, хлѣбъ-соль водите, любовь творите, Бога молитесь»...²

Эта хлыстовско-скопческая формула «братства», ясно говорившая о томъ, что пришельцу до тонкостей знакома внѣшне-обрядовая сторона сношеній корабля съ кораблемъ, растопила послѣднія сомнѣнія въ головѣ Евдокима, и онъ уже совсѣмъ ласково пробасилъ:

— Милость и покровъ. Входи!..

Вслѣдъ за этимъ оконце захлопнулось и вновь задернулось занавѣской, а черезъ минуту въ сѣняхъ послышались тяжелые перевалистые шаги и потомъ глухой шорохъ отодвигаемаго засова.

— Здравъ будь, братецъ по духу!—привѣтливо встрѣтилъ путника, съ фонаремъ въ рукѣ, рыжебородый мужикъ, въ которомъ послѣдній тотчасъ-же призналъ одного изъ братьевъ-корабельщиковъ³—Романа изъ Поросья.

— Здравъ будь и ты, человѣче Божій!—отдалъ путникъ привѣтъ, пытливо взглядываясь въ лицо Романа.

¹ Такъ называютъ хлысты и скопцы православныхъ.

² XI-я хлыстовская заповѣдь. Скопцы въ сношеніяхъ другъ съ другомъ придерживаются такого-же правила.

³ «Братья-корабельщики» и «сестры-корабельщицы»—хлысты и хлыстовки одного и того-же корабля.

— Ишь какъ обросъ! При мнѣ совсѣмъ еще молокососомъ былъ,—пронеслось у него въ головѣ.

Между тѣмъ Романъ, запирая калитку, продолжалъ:

— Милосердный батюшко мнѣ приказать изволилъ отвести тебя въ баньку нашу. Тамъ тепло у насъ. Туда тебѣ и штей со сняточкомъ и всякой трапезы нашей братской принесутъ, и постельку тамъ уготовять... Отдохни мало-маля!.. А управившись съ распорядкомъ да дѣлами разными, и самъ кормилецъ посѣтитъ тебя общалъ, о «наукѣ Божіей» побесѣдовать съ тобой придти хочетъ...

На лицѣ путника мелькнула едва замѣтная насмѣшливая улыбка.

— Ай да, Евдокишка! Совсѣмъ какъ есть коноводомъ сталъ. Посмотримъ, какъ это онъ сомной бесѣду поведетъ!—беззвучно шепталъ онъ, пробираясь вслѣдъ за Романомъ въ глубину сада, гдѣ въ небольшой лощинкѣ, посреди старыхъ вѣтвистыхъ ветель, стояла до мелочей извѣстная ему харловская баня.

— Ишь ты фонъ-баронъ какой! Хоша и «заповѣдь» сказалъ, а доскончательно-то еще и не повѣрилъ, а на искусь, значить, опредѣлить соизволилъ. На испытанье въ правовѣрїи... Посмотримъ, посмотримъ—кто кого... Хе-хе-хе!..

Въ банѣ было жарко, духовито.

Снявъ съ плечъ котомку и раздѣвъ зипунишко и набухшіе отъ сырости сапоги, путникъ въ одномъ бѣломъ холщевомъ бѣльѣ забрался на полокъ и съ наслажденіемъ расправилъ на теплыхъ влажныхъ доскахъ онѣмѣвшія и нестерпимо нывшія спину и ноги.

Скоро блѣднолицая, черноокая красавица Катерина, «ангелоподобная Богородица» и ближайшая помощница Евдокима ¹, да краснощекая, съ трехъяруснымъ подбород-

¹ Помимо «кормщика» въ каждомъ хлыстовскомъ кораблѣ есть еще «кормщица», которая и называется «Богородицей», «пророчицей», «восприемницей» и проч. Нѣкоторые корабли управляются даже исключительно однѣми «кормщицами». Таковъ былъ, напр., корабль знаменитой Акулины Ивановны въ Орловскомъ уѣздѣ.

комъ Мавра, братская стряпуха, нанесли въ баню всякой снѣди: были тутъ и ши, и каша пшенная, и карасевый рыбничекъ, и свѣжепросольные огурчики, грибочки отварные, брусничка топленая, пополамъ съ яблочкомъ... А на двухъ, составленныхъ вмѣстѣ, скамьяхъ появился объемистый сѣт-никъ съ перьевой подушкой и теплымъ, стеганнымъ на ватѣ, одѣяломъ. И все это предлагалось по-братски, любовно, радушно.

Особенно много хлопотала Мавра, женщина простая, словоохочая и крайне любопытная до всякаго новаго брата, появлявшагося время отъ времени въ ихъ корабль.

— Кушай, родненькій, кушай во здравіе!—безъ умолку тараторила она, налаживая то одно, то другое.—Кушай, выхаживайся! А то ишь какъ разсамарило тя со пути-то со дальшой, што и встать, поди, нѣтъ моченьки!...

Маврѣ очень хотѣлось рассмотретьъ лицо путника и съ этой цѣлью она нѣсколько разъ, какъ будто за дѣломъ, подбѣгала къ полку и нарочно стучала и возилась около него, но пришлый «братецъ», точно на зло, все время, какъ накрывали ему столъ и устраивали постель, лежалъ безъ движенія, отвернувшись лицомъ къ стѣнѣ и не обращая на говорунью-стряпуху ни малѣйшаго вниманія. Это злило ее, и она подъ конецъ даже съ сердцемъ крикнула:

— Куды сумку-то дѣтъ?

— Не трожь!—лѣниво пробормоталъ, не шевелясь, путникъ.

Ему было вовсе не до Мавры. Сладкая дрема охватила все его существо. Послѣ холода и осенней слякоти ему такъ хорошо, такъ покойно было на полкѣ, что не хотѣлось не только говорить, а и слѣзать поѣсть, не смотря на то, что у него съ самаго утра не было, какъ говорится, маковой росинки во рту.

II.

Прошло съ тѣхъ поръ, какъ ушли женщины, съ добрый часъ. Щи остыли; въ углу за печкой, пользуясь ничѣмъ не прерываемой тишиной, давно уже завелъ свою скрипучую пѣсню надоѣдливый сверчокъ, а путникъ все лежитъ, закрывши глаза, безъ думъ, безъ движенія, отдавши весь нѣжащему банному, пропитанному запахомъ свѣжихъ вѣшниковъ, теплу. И, можетъ, до самаго утра пролежалъ-бы онъ такъ, еслибъ за дверью, въ предбанникѣ, не раздался вдругъ громкій, грубый голосъ Харлова:

— За молитвы отецъ нашихъ, Господи, Исусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!

— Ишь, пришелъ-таки, грибохвость шехлатый! ¹ — недовольно проворчалъ, очнувшись, путникъ.

Онъ, кряхтя, неторопливо слѣзъ съ полка, обдернулъ длинную, ниже колѣнъ, рубаху и рѣзко проговорилъ въ сторону двери:

— Аминь.

Дверь распахнулась, и, нагибая голову, въ баню вошелъ высокій, плотный мужчина въ синемъ суконномъ кафтанѣ и въ мелконаборчатыхъ, съ подковами, сапогахъ. Сѣрые, на выкатѣ, глаза его сурово и подозрительно уставились было на странную согнутую фигуру среди бани, но прошелъ мигъ — и глаза эти вдругъ нелѣпо какъ-то расширились, и въ нихъ быстро-быстро, точно пестрые камешки въ калейдоскопѣ, замелькали, запрыгали, засвѣтились, смѣняя другъ друга, то недоверіе и удивленіе, то радость и страхъ. Евдокимъ отступилъ было на шагъ назадъ, но потомъ, мотнувъ по-бычачьи головой, бросилъ на полъ шапку и, всплеснувъ руками, рванулся всей своей тушью впередъ.

¹ «Грибохвость» — дюжій и неповоротливый человекъ. «Шехлатый» — косматый. Выраженіе обидное, ругательное, равносильное: «Экій медвѣдь!» «Экій буйволь!» и пр.

— Оома, ты²—не своимъ голосомъ прокричалъ онъ.

— А то кто-жь бы ты думалъ? — съ усмѣшкой тихо отвѣтилъ путникъ.

Предъ Евдокимомъ, дѣйствительно, стоялъ его закадычный когда-то другъ-пріятель Оома, или точнѣе: Оома Захарычъ Кувалдинъ,—человѣкъ, съ которымъ онъ пробродяжничалъ, почитай, съ цѣлый десятокъ лѣтъ, пополамъ съ которымъ дѣлилъ послѣдній кусокъ хлѣба и заодно обработалъ не одно темное дѣльцо.

Лѣтъ семь тому назадъ, спасаясь отъ преслѣдованія властей, этихъ «черныхъ врановъ», «безбожныхъ іудеевъ» и «злыхъ фарисеевъ» ¹, они вмѣстѣ забрели случайно въ это заброшенное въ глухую въ то время тайгу село и впервые зажгли въ немъ свѣточъ той великой «тайны небесной», которую заповѣдалъ міру на горѣ Городинѣ самъ «превышній Господь Богъ Саваоѣ» — Данила Филипповичъ ². Цѣлыхъ три года прожили они въ Жигалевѣ и за это время успѣли устроить «среди богомерзской тины» жигалевской «Шать-рѣки» ³ настоящій «Сіонъ-градъ», настоящій «Араратъ небесный», «вертоградъ царя Давида», въ которомъ, благодаря ихъ стараніямъ, быстро и пышно расцвѣли и далеко и прочно пустили по окрестнымъ весямъ свои благодатные корни всѣ

¹ Такъ хлысты и скопцы называютъ государственныхъ чиновниковъ.

² Данила Филипповичъ — первый организаторъ хлыстовской секты. Это былъ, какъ полагаютъ, крестьянинъ Юрьеveckаго уѣзда, отданный въ солдаты, но потомъ бѣжавшій изъ военной службы. Мѣстомъ первоначальной его дѣятельности была Владимірская губернія и въ частности— Муромскій уѣздъ. Здѣсь именно, на горѣ Городинѣ, по легендѣ хлыстовъ, Данила Филипповичъ и объявилъ себя «Саваоѣомъ», «превышнимъ Богомъ» и «богатымъ гостемъ» и отсюда началъ свою сектантскую дѣятельность. Жизнь и «подвиги» Данилы Филиппыча хлысты относятъ ко времени патріарха Никона. Память совершаютъ 1-го октября.

³ «Шать-рѣка»—православная Церковь. Такъ называется она хлыстами потому, что будто бы кто попадаетъ на «Шать-рѣку», тотъ «заштатается», удалится отъ корабля, а вмѣстѣ съ нимъ—и отъ Бога.

райскія деревья — анисъ, кипарисъ и барбарисъ ¹. Короче говоря, подъ ихъ воздѣйствіемъ образовался мало-по-малу большой хлыстовскій корабль, центромъ котораго и стало село Жигалево. И такъ какъ Евдокимъ, по собственному сознанию, далеко уступалъ Θомѣ въ знаніи «Божіей науки», то кормщикомъ этого корабля естественно сдѣлался послѣдній, а онъ былъ лишь первымъ его «апостоломъ» и «про-рокомъ».

Хорошо и привольно жилось имъ среди всеобщаго псчета и поклоненія. Казалось, и желать лучшаго не нужно. Но не такъ вышло на дѣлѣ.

Безпокойный сектантскій духъ Θомы, лишь только прошла пора «апостольскихъ» трудовъ по устройству жигалевскаго корабля, съ неудержимой силой потянулъ его на новые «просвѣтительные» подвиги.

И вотъ, не сказавъ ни слова даже ему, Евдокиму, онъ на «тайной вечери» ² подъ «Аннинъ день» ³, какъ бы вдохновенный свыше, неожиданно объявилъ вдругъ всѣмъ присутствовавшимъ, что сама царица небесная, «свѣтъ-матушка Богородица», «слетѣвши къ нему въ видѣннн съ седьмого небесе», наказала ему, Θомѣ, идти «отъ востока и до западъ» и повсюду «трубить въ золотую трубушку» про жите-

¹ Такъ образно хлысты называютъ свою «богодухновенную» вѣру и свое «ангелоподобное» братство.

² «Тайной вечерью» хлысты величаютъ свои молитвенныя собранія. Эти собранія носятъ у нихъ еще названія «духовной бесѣды», «святой бесѣды», «христовщины» и пр.

³ У хлыстовъ съ особенною торжественностью празднуются дни, въ которые случилось что-либо важное въ жизни Данилы Филипповича и Ивана Тимофеевича Сулова, дѣятельнаго помощника Данилы Филипповича въ дѣлѣ распространенія хлыстовской секты. Торжественно празднуется ими также 26-е іюня, день, въ который они совершаютъ память «св. мироносицы Анны, иже въ Нижнемъ Новѣградѣ», какъ значитса въ ихъ рукописныхъ святцахъ. Подъ этою «мироносицею Анною» разумѣется известная въ исторіи хлыстовщины Акулина Ивановна, жена Прокопія Лупкина, «Христа Божіихъ людей».

быть про Христово: вѣрныхъ увѣрять, маловѣрныхъ укрѣплять, а невѣрныхъ уловлять, и что онъ, не смѣя послушаться «гласа Божьяго», уйдетъ отъ нихъ. Въмѣстѣ же съ этимъ онъ добавилъ, что она же, милостивая госпожа и всѣхъ сирыхъ заступница, не оставила и ихъ безъ своего покрова, указавъ быть, послѣ его ухода, «во христѣхъ и управителейъ» всего предстоящаго «освященнаго собора» мужу вельми достохвальному, пророку и благовѣстнику—Евдокиму Кондратьичу.

Всѣ были поражены, точно громомъ, но, подобно Ѳомѣ, не дерзая идти противъ «неизреченной воли небесъ», безпрекословно признали Харлова «богоизбраннымъ» отцомъ кормщикомъ своимъ и въ знакъ покорности своей каждый изъ предстоящихъ трижды поклонился ему въ ноги и облобызалъ отнынѣ «святую» десницу его.

Кончилась вечеря. А немного погода, въ ту же священную «Аннину» ночь, друзья простились, и «серафимоподобный» Ѳома Захарычъ куда-то незамѣтно и безслѣдно исчезъ.

Четыре года о немъ не доходило до Евдокима ни слуху, ни духу. И вотъ лишь теперь, въ эту темную и ненастную осеннюю ночь, онъ снова здѣсь, снова какимъ-то чудомъ и такъ же почти незамѣтно, какъ и уходилъ, появился среди своихъ «птичекъ Божіихъ»...

Съ быстротою молніи пронеслось все это въ головѣ Евдокима. Молча глядитъ онъ на Ѳому своими до нелѣпости расширенными глазами, глядитъ—и диву дается.

Да оно, положимъ, и нельзя не дивиться.

Судите сами: Ѳома—это былъ здоровый, сильный и бодрый мужчина съ черной шелковистой, до пояса, бородой, съ громогласной, «яко труба архангелова», рѣчью, съ властной гордой осанкой, всегда чисто и шеголевато одѣтый, — и вдругъ... вдругъ этотъ согнутый въ дугу окурокъ, этотъ въ грязной изношенной холщевой рубахѣ, съ глухимъ хриплымъ голосомъ, съ желтымъ, сходнымъ по цвѣту съ варенымъ картофелемъ, лицомъ, съ отвислымъ, какъ пустая торба,

животомъ и короткой жиденькой, точно полувыдернутой, сѣдой бородашкой старикашка—это все тотъ же самый Оома?

— Господи, да что же это? — думаетъ Евдокимъ. — Что случилось? Отъ чего онъ сталъ такимъ?

И жалость къ своему бывшему другу невольно рѣзнула Евдокима по сердцу. Что-то защемило у него внутри, задрожало; къ горлу клубкомъ подкатила какая-то терпкая горько-соленая спазма: она схватила его своими цѣпкими когтями, душить, терзаетъ и такъ и подталкиваетъ броситься къ Оомѣ, прижать его къ своей груди и горько, неутѣшно зарыдать...

— А ты полно! — рядомъ же съ этимъ звучитъ чей-то другой, точно посторонній, голосъ. — Ужъ и захныкать, поди, готовъ? Эхъ ты, болванятина сиволапая!.. А можетъ, онъ къ тебѣ съ поклепомъ какимъ пришелъ? а? Можетъ, онъ власть да почетъ твой, съ которыми ты сжился, отнять вознамѣрился?.. Ишь глаза-то у ево какъ зыркаютъ! А смѣхъ-то, смѣхъ-то какой! Тихій, хихикающій, шипящій, точно у ехидны какой... Смотри, смотри, — не больно нюни-то разводи! А то живо скушаетъ... Самъ знаешь его: не поглядить, что ты другъ...

И вмѣсто жалости и дружескаго расположенія—недовѣріе, робость и страхъ въ душѣ Евдокима.

Волнуемый такими противоположными чувствами, онъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ. Съ лица градомъ покатился потъ...

III.

— Ну что-жъ ты на меня бѣльмы-то вытаращилъ? а? Али все еще не призналъ?—съ той же насмѣшливой улыбкой прервалъ, наконецъ, неловкое молчаніе Оома.

— Да трудно, братъ, и признать, — очнувшись и кое-какъ овладѣвъ собою, отвѣтилъ Евдокимъ. — Взглянько-сь на себя, на што ты сталъ похожъ? Старая хрѣнина — да и все тутъ. Болѣлъ, вѣрно,—а?

— Ну, вотъ... зачѣмъ «болѣлъ»? Не болѣлъ, а подвизался, плоть свою истязалъ, по указу царя батюшки жилъ...

— Ну, да постой, братъ!.. Тпру!.. Давай-ко спервоначалъ поздоровкаемся, какъ слѣдовать, а тогда ужъ и болтать почнемъ...

Друзья обнялись и трижды поцѣловались.

— И чево ты, чудакъ ты человекъ, сразу же не сказался?—заговорилъ, безтолково засуетившись послѣ привѣтствія, Евдокимъ.—Экого гостя Богъ далъ—и въ баню! Пойдемъ, пойдемъ, голубчикъ, пойдемъ отсюда! Для ради Оомы Захарыча и въ хороминѣ любая комната завсегда готова, потому какъ можно! Не къ чужимъ, чать, пришелъ, а къ себѣ, въ свое собственно гнѣздо...

— А ты, Евдокиша,—прервалъ Харлова Оома, положивъ ему на плечо свою заскорузлую, съ темными плѣщинами, руку,—не тормошись понапрасну! Перво-на-перво: изъ баньки я не пойду, потому опосля слюнявы-то дорожной банька—за первый сортъ: живо всяко запинанье изъ нутра выпретъ. Ну а далѣ -- ни къ чему оно народъ-отъ ни въ свинь кочета ¹ полахать: пушай спать со Христомъ!.. А мнѣ и тутотко, братъ, расчудесно. Сичасъ вотъ вздремнулъ малость, а теперички поднапрусъ—да и опять на боковую...

— А ты рази еще не ѣлъ?

— Нѣ.

— Чево-жъ ты глядѣлъ?

— Да ужъ больно меня на полкъ-то разманежило. Такъ разманежило, братецъ ты мой, что страсть да и только!

— А-га!.. Ну, да ладно... Ты клади «началь» ², а я сичасъ,—кинулъ Евдокимъ къ двери.

— Постой, постой!—круто оборвалъ его опять Оома.—Ты куда?

— Какъ «куда»? Чать самъ знаешь: гостя дорогого честь-честью встрѣчаютъ!

¹ «Ни въ свинь кочета»—безъ толку, не въ указанное время.

² «Началь»—молитва предъ принятіемъ пищи.

— Эфто ты насчетъ выпивки, значить?

— Ну, расконечно! По старинному—по бывалому звизданемъ малость, да и ладно!

— Ну эфто, братъ Евдокиша, ты напрасно!

— Какъ «напрасно»?

— А такъ и напрасно. Потому я — ни-ни!..

— Что «ни-ни»?

— Да выпивки, то-ись! Блудъ, братъ, въ ней, въ выпивкѣ-то твоей. Ноево срамное видѣніе. Лѣпость богомерзкая отъ ея зачинается...

Евдокимъ опѣшилъ и, какъ-то не ловко сѣвъ съ зажженнымъ фонаремъ въ рукѣ на лавку и бессмысленно вытарашивъ на Оому глаза, проговорилъ:

— А какъ же ты допрежь-то дерзаль?

— А такъ и дерзаль, что темень былъ, въ слѣпотѣ ходилъ, чистоты настоящей не вѣдалъ...

— Чи-сто-ты?!

— Ну—да, чистоты.

— А эфто што жъ за чистота такая особливая?

— А такая, Евдокиша, чистота, что сразу-то ее тебѣ и высказать, братъ, невозможно. Одно слово: ума обновленіе, тѣла облегченіе и всѣхъ чувствъ грѣховныхъ пресвѣтлое истрезвленіе... Ну, да объ эфтомъ опосля все какъ есть поразсудимъ, а теперички садись-ко лучше поближе да разскажи, какъ вы здѣсь безъ меня-то поживали?

Озадаченный Евдокимъ поставилъ фонарь на полъ, придвинулся къ столу и началъ было разсказывать, но разсказъ, помимо его воли, выходилъ какимъ-то вялымъ, натянутымъ, нескладнымъ: сорвутся два-три слова на вопросъ Оомы — и стоп! Молчаніе. Опять два-три слова—и опять молчаніе. Какое-то неловкое, точно укусъ кислое и вяжущее молчаніе...

— Што съ нимъ такое? — идя черезъ часъ къ себѣ въ горницу, разсуждалъ самъ съ собой Евдокимъ. — Сидитъ какъ-то сгорбившись, не шелохнется, слова скрозъ зубы

цѣдить... Выходить: и то—да не то, и Оома, кажись, — и какъ быдто не Оома. Только глаза и остались евоные: какъ поведеть-поведеть, да бокомъ-бокомъ какъ-то, такъ што твоимъ ножомъ пырнеть!.. И все чистоту каку-то, прости Господи, приплетаеть. И откуда только онъ набрался ей, чистоты-то эфтой?.. Вѣрно, надумаль што... Ужъ не съ кормщииковъ ли меня ссадить, въ самомъ дѣлѣ, удумаль чистотой-то своей?... Поживемъ—увидимъ. Коли што, такъ я и самъ съ усамъ: даромъ не уступлю...

Съ своей стороны и Оома былъ далеко не спокоенъ.

Дѣло, ради котораго онъ возвратился въ Жигалево, требовало особенной осторожности и ловкости. Положимъ, и той, и другой ему не занимать-стать: слава Богу — не въ первинку. Ну—а все-таки, развѣ не можетъ сорваться?..

— Охъ, можетъ, можетъ,—проносится въ головѣ Оомы тревожная мысль.—Да еще какъ можетъ-то! Просто за милую душу: сорвется — да и все тутъ! Да вотъ хотя бы въ Мѣдновѣ. Вѣдь стыдъ, страмъ, позоръ! Вѣдь точно мальчишка какой проворонился!.. Еще хорошо, что ночь темная была да осинникъ у самой риги разросся. А то вѣдь шкуру, анаемы, спустили бы! Можетъ, лежалъ бы теперя гдѣ нибудь въ канавѣ, остаканивши бѣлмы. А—нѣтъ, такъ въ тюремѣ гнилъ бы... Судъ пошелъ бы... А ужъ коли судъ, такъ пиши пропало: пришлось бы опять «милосердну»¹ тянуть... О-охъ, бѣда да и только!.. И какъ это я, прости Господи, опростоволосился! Вѣдь видно было, что дуракъ! Ну, то-ись, какъ есть набитый дуракъ! Нѣтъ, дернула таки нелегкая!..

И предъ глазами Оомы съ поразительной ясностью встала картина мѣдновскаго происшествія.

Подслѣповатая хатенка Ерошки Прыскундина, а за хатенкой, на задворкахъ, у самой опушки осинника, черная,

¹ «Милосердна» - жалобная, тоскливая пѣсня, которую поютъ арестанты, проходя по сибирскимъ селеніямъ и выпрашивая подаваніе.

грязная, полусъѣхавшая на бокъ рига. Ночь. Всѣ спятъ. Только онъ съ Ерошкой сидитъ въ ригѣ около теплинки и неторопливо подготавливаетъ все, что нужно къ окончательному воспріятію «царской печати»...¹.

Вотъ уже недѣля слишкомъ прошла, какъ онъ началъ «обхаживать» этого длинноногаго, несуразнаго, блѣднокровнаго мужиченка. Но, слава всевышнему царю-батюшкѣ, — думалось ему, — не напрасно: зерно упало на добрую почву, и вотъ онъ, сей несуразный и безтолковый Ерошка, сейчасъ «спуститъ жидовскую кровь»² и станетъ чистымъ, яко «ангелъ Господень»...

Но, Господи, что же это такое?! Ерошка, тотъ самый Ерошка, который за минуту предъ тѣмъ былъ готовъ на все и на котораго онъ возлагалъ такія блестящія надежды въ будущемъ, — сей самый несуразный Ерошка, лишь только онъ коснулся его, вдругъ задрожалъ, какъ осиновый листъ, выпрямился, съ мгновенье постоялъ предъ нимъ, Ѳомой, вырвался и, какъ безумный, въ одной рубахѣ, безъ шапки, съ дикимъ воемъ ринулся вонъ изъ риги...

— Бьютъ, бьютъ! Батюшки, бьютъ! Ка-ра-уль! — пронеслось въ ночной мглѣ.

На селѣ взвела собака, за ней другая, третья... Въ окнахъ замелькали огни. Захлопали калитки. Забѣгали люди...

— Гдѣ? Что? Какъ? Кто? — слышались тревожные голоса.

— Въ ригѣ, въ ригѣ, православные! Въ моей ригѣ!.. Странникъ, што у меня жилъ! Ѳома,—вотъ кто!—продолжалъ неистово ревѣть Ерошка, вихремъ мчась по улицѣ.

Къ Ерошкиной ригѣ бросилась цѣлая толпа мѣдновцевъ, вооруженная топорами и кольями.

Тутъ только Ѳома очнулся отъ столбняка, который на

¹ «Царской печатью», а также «архангельскимъ чиномъ», «убѣленьемъ», «Божьимъ знаменемъ», «чистотой», «огненнымъ крещеніемъ» и проч. скопцы называютъ самый актъ оскотченія.

² «Спуститъ жидовскую кровь»—оскотчиться.

него нашель отъ всей этой неожиданной катаваси, сообразилъ, какой опасности онъ подвергался, схватилъ свою сумку и, выбѣжавъ изъ риги, юркнулъ въ осинникъ. И какъ разъ въ-время: мѣдновцы были всего уже въ нѣсколькихъ саженьяхъ. Слышался трескъ ломаемаго тына, что отдѣлялъ огородъ отъ пожни, на которой стояла рига...

— Нѣту въ ригѣ-то! Ушелъ! — черезъ минуту послышался громкій голосъ Левки Сальника.

— А може, ёнъ въ ометъ охутился! ¹ — зашумѣло съ десятокъ другихъ голосовъ.

Шагахъ въ десяти отъ риги чернѣлъ ометъ старой, прошлогодней, перетрухлой соломы. Тронутый дубинами и просто руками нѣсколькихъ человекъ ометъ пустилъ изъ своей груди густую ѣдкую пыль. Не взирая на это, мужики продолжали взрывать его все болѣе и болѣе.

— Нѣту и тутотко! — произнесъ, наконецъ, тотъ же Левка Сальникъ.

— Нѣту, нѣту,—согласились другіе.

— Гдѣ жъ ёнъ?

— А въ осинникъ, надо быть, ушелъ.

— Какъ же быть-то?

— А искать надо,—вотъ какъ! Не сыщешь—бѣда: еще подожгетъ анаема!..

Мѣдновцы бросились въ осинникъ и, перекликаясь и осматривая каждый кустъ, двинулись въ его мрачную глубину.

И помнитъ Оома, какъ онъ бѣжалъ, точно волкъ отъ стаи гончихъ собакъ, впереди этой цѣпи, падалъ, вскакивалъ и опять бѣжалъ, чутко прислушиваясь къ лѣсному гуканью и крѣпко прижавъ къ груди свою заповѣдную сумку...

Уже сѣрѣтъ начало, поверху утренникъ потянулъ, когда смолкла погоня, и Оома, измученный, испарипанный въ кровь древесными сучьями, какъ снопъ свалился на дно крутого мшистаго оврага...

¹ «Охутиться» — спрятаться.

— Положимъ, здѣсь, въ Жигалевѣ-то не то, что тамъ, — пробоваль успокоить себя Оома. — Здѣсь мое царство. Всѣ меня знаютъ, всѣ поважаютъ и ужъ руки ни въ жисть не подымуть... Ну, а все-таки осторожность нужна. Поучили разъ,—и будетъ... Да и при томъ—песъ ихъ знаетъ, какъ они теперя живутъ тутъ!.. Вѣдь вотъ Евдокишка-то молоть-молоть, а путемъ все-таки ничего не сказалъ... Да и самъ Евдокишка-то—парень не промахъ. Раньше-то вотъ слушался, а теперечки будетъ ли слушаться—это еще бабушка надвое сказала. А можетъ, онъ за эфти четыре года-то совсѣмъ какъ есть расфордыбачилъ? Можетъ, во вкусъ вошелъ, и самъ титинъ ему не братъ? Отъ него, вѣдь, всего можно ждать! Онъ неповоротливъ, малосмекалистъ, а какъ разойдется — такъ зубы только держи! Вѣдь вотъ тогда, въ Лепшѣ-то, чуть-чуть не задушилъ...

И въ головѣ Оомы встала новая картина.

Хлыстовскій «тайникъ». Лепшинская Дуня—и рядомъ съ ней онъ, Оома, въ то время еще придерживавшійся хлыстовства. Тихо-тихо... И вдругъ—хлопъ! въ дверь Евдокишка...

— А, такъ ты отбивать?

Да какъ виѣпится въ горло, — насилу вѣдь оттащили, анаему!..

— Нѣтъ, нѣтъ! Осторожно нужно! Обязательно осторожно! — шепчетъ Оома, глядя на оплывшую сальную свѣчку —И перво-на-перво: не спѣшить нужно. А то поспѣшишь — опять только людей насмѣшишь... Съ Евдокишкой ухо держать остро и въ разглагольствованія, а тѣмъ паче въ откровенности съ нимъ не пущаться... Ну, а потомъ и эфто само што ни-на-есть заглавное—«печатать» не здѣсь, а гдѣ нибудь на сторонѣ, а всего лучше — въ уводъ взять, къ своимъ: такъ-то-съ всего вѣрнѣе будетъ...

Ужъ далеко-далеко за полночь Оома всталъ, наконецъ, изъ-за стола, за которымъ все время сидѣлъ, взобрался на приготовленный Маврой сѣнникъ и забылся тяжелымъ кошмарнымъ сномъ.

IV.

На другой день вѣсть о томъ, что пришелъ Оома Захарчъ, еще съ утра облетѣла всѣхъ жигалевскихъ «братевъ-корабельщиковъ». Всѣ искренно обрадовались, и Евдокимъ, какъ ни непріятно ему было почему-то въ душѣ, вынужденъ былъ, согласно стародавнему хлыстовскому обычаю, отдать приказъ—почтить высокаго гостя всеобщю братскою «духовною бесѣдою».

Наступила темная и такая же ненастная, какъ и вчера, ночь. Въ селѣ одинъ за другимъ погасли огни. Казалось, всѣ жигалевцы, утомившись за день — кто молотъбой, кто мятьемъ льна и конопли, — мирно завалились по своимъ хатамъ на покой. Однако, не такъ было на дѣлѣ.

Выждавъ вторыхъ пѣтуховъ, когда затихло все даже въ домѣ извѣстнаго жигалевского полуночника—«лжепопа богомерзкой жигалевской Шать-рѣвки»¹, всѣ «правовѣрные» жигалевцы-корабельщики, осторожно шлепая въ темнотѣ по лужамъ, со всѣхъ концовъ села, и улицей, и задворками, потянулись другъ за другомъ къ дому Харлова. Въ окнахъ послѣдняго тоже не было огня, и всѣ обитатели его, съ виду, для непосвященнаго наблюдателя, казались тоже спящими. Но это было именно только съ виду, съ улицы. На самомъ же дѣлѣ за этой мертвой и ничего не говорящей наружностью харловскаго дома кипѣла скрытая, таинственная, прячущаяся и болѣе, чѣмъ даже днемъ, дѣятельная жизнь. Всюду въ немъ бились какіе-то невидимые пульсы, дрожали какіе-то нервы, издавая порой тонкіе какъ паутина, едва слышные среди воя непогоды звуки...

— Кто будете?—тихо останавливали у воротъ то и дѣло прибывавшихъ «братчиковъ» рыжебородый Романъ изъ Порясья да еще жигалевецъ Василій Шулепня.

— Люди Божіи,—такъ-же тихо отвѣчали тѣ.

¹ Т. е. православнаго священника.

- А куды путь держите.
- Къ самому батюшкѣ Христу.
- А по что?
- По «пиво духовное», по «источникъ нетлѣнія» ¹.
- А сердце раскрыто?
- Любовь въ немъ живетъ.
- Милость и покровъ. Входите, миленькіе!

Входившіе послѣ такого опроса въ ворота по темнымъ стѣнамъ да узкимъ переходамъ, мимо обычныхъ въ крестьянствѣ жилыхъ помѣщеній да разныхъ кладовокъ съ «кораблищенскимъ» добромъ, пробирались въ особую пристройку къ нижнему этажу, выдвинувшуюся своими тремя стѣнами во дворъ и представлявшую изъ себя что-то въ родѣ не то «жилого холодца» ², не то теплаго просторнаго «мшанника» ³.

Старые и новые набойчатые постельники, разнокалиберныя подушки въ ситцевыхъ разноцвѣтныхъ наволочкахъ, полки съ горшками, бутылками и берестяными «тюрючками» ⁴, тяжелый ткацкій станъ, развѣшенное на веревкахъ бѣлье и прочій домашній скарбъ почти сплошь занимали все пространство пристройки, тщательно и искусно закрывая собою въ одномъ изъ угловъ ея темное устье люка съ приподнятой вверхъ, какъ у подполья, дверкой.

Снявъ въ пристройкѣ верхнее платье, всѣ этимъ люкомъ спускались внизъ, въ довольно обширную подземную комнату, слабо освѣщенную и раздѣленную досчатой перегородкой на двѣ половины—мужскую и женскую. И въ той, и въ другой, по стѣнамъ, стояли шкапы и сундуки съ «уборомъ Божіимъ», который скроила въ первый разъ, по убѣ-

¹ Образное названіе того состоянія, которое испытываютъ хлысты во время своихъ «радѣльныхъ» верченій.

² «Жилой холодецъ»—лѣтнее прохладное помѣщеніе для жилья.

³ «Мшанникъ»—ледникъ, въ которомъ сохраняются зимой различныя овощи.

⁴ «Тюрючекъ»—небольшой кузовъ, сплетенный изъ бересты.

жденію хлыстовъ, будто-бы сама пресвята «мать-Богородица», а сшили, по ея наказу и подъ ея личнымъ присмотромъ, «херувимы, вкупѣ же и серафимы».

Этотъ «уборъ» состоялъ у мужчинъ—изъ бѣлой коленкоровой, съ широкими рукавами, рубахи до пятъ, иначе называемой «парусомъ», и бѣлаго-же, плетенаго изъ шелку, пояса, а у женщинъ—изъ такой же, какъ и у мужчинъ, рубахи, бѣлаго сарафана съ мѣдными головчатыми пуговицами сверху до низу по передней трестѣ и бѣлой же полотняной косынки. Рѣшительно все *бѣлое*, безъ малѣйшей цвѣтной крапинки. И это, по вѣрованію хлыстовъ, имѣетъ для нихъ громадной важности и символическое, и историческое значеніе, указывая, съ одной стороны, на ихъ акибы «первохристіанскую» душевную чистоту и непорочность, а съ другой—на ту «чудесную *бѣлосвѣтлую ризу*», которою одна дѣвица будто-бы обвинила истерзанное тѣло «Богочеловѣка» Ивана Тимофеевича Сулова и которая потомъ будто-бы приросла къ его тѣлу и стала новой его кожей, вмѣсто содранной ¹.

Перерядившись въ подобный «бѣлосвѣтлый» уборъ, снявъ сапоги и накинувъ на плечо полотенце, а въ руки взявъ

¹ Иванъ Тимофеевичъ Суловъ—второй по времени организаторъ хлыстовской секты. Это былъ крестьянинъ Владимірской губерніи, Муромскаго уѣзда, деревни Максаковой. За распространеніе хлыстовскаго лжеученія онъ былъ схваченъ и, по повелѣнію царя Алексѣя Михайловича, подвергнутъ «розыску» и пыткамъ. Вотъ эти-то пытки, разукрашенные и преувеличенные, и легли въ основаніе приводимой легенды о максаковскомъ «Богочеловѣкѣ», а вмѣстѣ съ тѣмъ и о «бѣломъ» цвѣтѣ для хлыстовскаго «убора». Хлысты вѣруютъ, что когда князь Одоевскій, наказавъ Сулова кнутомъ и содравъ съ него кожу, распялъ будто-бы его на крестѣ у Спасскихъ воротъ, то одна изъ ученицъ послѣдняго покрыла его тѣло *бѣлой* простынею, и эта простыня тотчасъ же превратилась въ новую кожу, съ которой Суловъ еще долго потомъ, послѣ своего воскресенія, благовѣствовалъ людямъ «неизрѣченную тайну спасенія», въ полнотѣ преподанную ему самимъ Данилой Филипповичемъ.



Хлысть и хлыстовка
въ своихъ „радѣльныхъ уборахъ“.

бѣлый платокъ—символь «покрова» и «защиты» отъ «злыхъ іудейскихъ рукъ» ¹, люди Божіи съ глубокимъ благоговѣніемъ, склонивъ «очеса долу», проходили потомъ въ смежную, еще болѣе просторную и ярко освѣщенную «паникадилломъ» подземную комнату. Эта комната и была ихъ «Сіономъ», ихъ «блаженнымъ раемъ», въ которомъ, при невидимомъ участіи самого «Бога надъ богами» и самого «Духа надъ духами» со всею его небесною силою и при полнѣйшемъ отсутствіи хотя бы малѣйшаго звука со стороны грѣшнаго «шатоватаго» міра ² и происходили ихъ «духовныя бесѣды».

Въ переднемъ углу этой «священной» комнаты, передъ божницей съ завѣшанными пеленой иконами ³, стоялъ накрытый чистой скатертью столъ съ крестомъ и евангеліемъ посрединѣ. Вдоль стѣнъ тянулись широкія сосновыя скамейки, а на самыхъ стѣнахъ висѣло до десятка картинъ, изъ которыхъ особенно рѣзко выдѣлялись своею чистохлыстовскою оригинальностью двѣ: 1) «Всевидящее Око»,

¹ Т. е. отъ внезапнаго наѣзда полицейскихъ властей.

² Т. е. православнаго.

³ Ученіе хлыстовъ и скопцовъ, собственно, исключаетъ присутствіе въ ихъ молельняхъ православныхъ иконъ. Въ ихъ «роspѣвцахъ», между прочимъ, говорится, что иконопочитаніе есть «служеніе Іудѣ и вѣрованіе кумиру», что они сами, хлысты и скопцы,—«писанные образа», что Акулина Ивановна сама «стоитъ иконою мѣстною» и пр. И тѣмъ не менѣе, фактъ существованія въ молельняхъ хлыстовъ и скопцовъ православныхъ иконъ не подлежитъ сомнѣнію. Чѣмъ же объяснить это странное и само себѣ противорѣчащее явленіе? Не иначе, какъ символизмомъ, по которому хлысты и скопцы усваиваютъ православнымъ иконамъ иное значеніе, чѣмъ то, какое соединяетъ съ ними православный взглядъ. Смотря, напр., на иконостасъ въ его полномъ составѣ, они видятъ въ немъ символическое изображеніе великаго радѣнья «въ полномъ составѣ корабля», т. е. при участіи не однихъ только земныхъ его членовъ, но и небесныхъ, которыхъ иконы и изображаютъ. Въ этомъ именно смыслѣ они и поклоняются иконамъ, лобызаютъ ихъ, воскуряютъ передъ ними ладонъ и употребляютъ при совершеніи разныхъ своихъ богослужебныхъ дѣйствій, напр., при чинопріятіи въ свое общество и пр.

съ парящими окрестъ ангелами въ трехъ кругахъ и рукоплещущими Адамомъ и Евой внизу, и 2) «Изліяніе благодати», изображающая отрока въ бѣлой «радѣльной» рубахѣ и прочемъ хлыстовскомъ «уборѣ» и надъ нимъ св. Духа въ видѣ голубя.

Всѣ входившіе въ эту комнату взаимно привѣтствовали другъ друга, кланяясь въ поясъ и приговаривая:

- Христось воскресе!
- Свѣтъ истинный воскресе!
- Сударь-батюшка воскресе!
- Царь царемъ воскресе!

Послѣ подобнаго привѣтствія всѣ чинно потомъ разсаживались на скамьяхъ, при чемъ мужчины—направо отъ входа, а женщины—налѣво.

Скоро въ комнатѣ набралось человѣкъ до восьмидесяти. Пришло нѣсколько «братцевъ» и «сестрицъ» даже изъ ближайшихъ къ Жигалеву деревень—Коровина, Сухарина, Игуменки и Отроковичъ. Людно стало во «блаженномъ раю». Тѣмъ не менѣе тишина стояла полнѣйшая. Не слышно было даже шепота, столь обычнаго въ многочленныхъ собраніяхъ.

Когда сборъ кончился и время подошло приступать къ самому «дѣйству»,—дверь изъ третьей подземной комнаты, расположенной какъ разъ противъ первой, «уборной», съ шумомъ распахнулась и въ «Сіонъ» вошелъ, въ сопровожденіи своей помощницы и цѣлаго сонма «пророковъ», Евдокимъ. Какъ онъ, такъ и всѣ вошедшіе съ нимъ, кромѣ обычнаго «убора», имѣли еще крестообразно препоясанную по плечамъ и груди «верву»—тонкую полотняную ленту, что-то въ родѣ діаконскаго ораля.

— Здравствуйте, дѣтки!—громко проговорилъ собравшимся Харловъ.

-- Здравствуй, батюшка Святъ-Духъ! Здравствуй, красно наше солнце! Здравствуй, истинный Царь-Богъ!—хоромъ отвѣтили ему «дѣтки»; при чемъ всѣ они—сначала муж-

чины, а потомъ женщины—другъ за дружкой подходили къ Харлову и, крестясь обѣими руками, трижды кланялись ему въ ноги.

Когда это обязательное для всѣхъ привѣтствіе въ лицѣ кормщика «живаго Бога» было кончено и въ горницѣ снова водворилась тишина, Евдокимъ, переждавъ немного, отрывисто кинулъ:

— Батюшка святъ Ѳома Захарычъ, дѣтки, къ намъ пожаловаль. Такъ вотъ—почтить его нужно. Порадѣть, пива духовнаго отъ него воспитъ. Потому, хышь и въ странномъ образѣ, и во смиреніи онъ, а благодать, чую, каку-то особливу въ себѣ таить...

— Милость его и покровъ да будутъ надъ нами!—отвѣтили въ одинъ голосъ «дѣтки».

Въ баню, гдѣ продолжалъ еще оставаться виновникъ торжества Ѳома Кувалдинъ, были отряжены съ приглашеніемъ пророкъ Матвѣй да пророкъ Игнатъ съ «Богородицей» Катериной. Остальные же, въ ожиданіи посланныхъ опять чинно разсѣлись по своимъ мѣстамъ.

Присѣлъ на красномъ мѣстѣ, за столомъ, и Евдокимъ. Онъ нервно теребилъ правой рукой большой деревянный восьмиконечный крестъ на груди—знакъ своего высокаго положенія въ кораблѣ—и съ какой-то непонятной для себя настойчивостью твердилъ все одну и ту же фразу, коломъ засѣвшую съ утра въ его головѣ:

— Посмотримъ, поглядимъ, каку такую «чистоту» онъ особливу откопаль.

V.

Прошло съ полчаса. Огни «паникадила» успѣли уже потускнѣть въ облакахъ кадыльнаго дыма и людскихъ испареній, когда на «соборъ» пожаловаль Ѳома.

Онъ былъ все въ той-же поношенной грязной холщевой рубахѣ, поверхъ которой, на груди, болтался на этотъ разъ такой же, какъ и у Евдокима, крестъ.

— Миръ вамъ, дѣтки Божіи, птички духовныя, Богу любовныя!—глухимъ, сирымъ голосомъ обратился онъ къ почтительно поднявшимся при его входѣ жигалевскимъ братьямъ и сестрамъ.

Всѣ съ недоумѣніемъ, подобно Евдокиму въ банѣ, позабывъ даже объ обычномъ привѣтственномъ отвѣтѣ, устали на стоявшаго передъ ними сгорбленнаго, полусѣдого, полуплѣшиваго старца съ желтой и какъ-то особо лоснящейся кожей на обрюзгшемъ, одутловатомъ лицѣ. Казалось, что эта кожа отстала отъ мяса и между нею и мясомъ мѣстами налили топленого сала.

Не получивъ установленнаго отвѣтнаго поклона и замѣтивъ обидное для себя недоумѣнное и на половину праздно любопытное выраженіе лицъ, Ома гнѣвно сверкнулъ глазами, выпрямился и быстро, торопливо и отрывисто заговорилъ:

— Миръ вамъ, миръ! И еще миръ мой примете, миръ мой при васъ да будетъ и паки преизбудеть!.. Аминь, аминь глаголю вамъ, яко придохъ съмо не по своему хотѣнью, а по Божьему велѣнью. Гласъ былъ мнѣ, видѣнье. Самъ Агнецъ непорочный, самъ батюшка Господь-Богъ Искупитель, окруженный тьмами ангеловъ и праведныхъ, явился мнѣ въ нѣкоемъ огненномъ образѣ неизглаголанномъ и сиче рекъ: возстань, апостоле Мой вѣрный, и гряди къ Моимъ дѣтушкамъ желаннымъ, къ Моимъ голубямъ избраннымъ со словомъ откровенія и исправленія! Проповѣдуй имъ новое небо и новую землю, да вси убѣлятся отъ неистовства страстнаго и, тако плотію истрезвившеся, о Господѣ да будутъ, въ веселіи и радости взирающе на пречистое живое Его лико.. И се азъ, взявше посохъ въ руку и облачився въ власяницу сію, придохъ, по заповѣди Его, вся земли російскія отъ моря и до моря, всюду научая и исправляя и многаши терпя за дѣло святое отъ невѣрныхъ «фарисеевъ іудейскихъ» и заплеванія, и заушенія, и раны, и темницы, и иная разная темная обдержанія... Сего-же ради нынѣ и

къ вамъ притекохъ, да и вы причастницы трапезы Его блаженной будете... Внемлите-же ми, чадца моя возлюбленная, и не зрите, помагающе главы своими, на зракъ мой смиренный, на убожество мое презѣльное: о Господѣ бо вся сія терплю, да елики даль есть мнѣ, приведу къ Нему и тако исполню завѣтъ Его... Возрадуйтесь-же и возвеселитесь, зане близъ васъ есть благодать Его, отъ гоморскаго паденія искупающая! Воскликните Богу гласомъ радованія и воспойте Ему пѣсни херувимстїи и серафимстїи! Марію-Дѣву призовите, грѣшну Марѳу отгоните: мерзость бо есть, запаленіе... Ради Бога порадоуйте, своимъ потомъ полъ облейте, дабы свѣтомъ-Духомъ завладать, на святомъ кругу Его пріять!..

И, вышедши на средину горницы и воздѣвъ обѣ руки къ потолку, Ома, взволнованный, задыхающійся, весь горящій какимъ-то внутреннимъ огнемъ, затынулъ любимый предрадѣльный хлыстовско-скопческій гимнъ, сложенный будто бы самимъ Духомъ Божиимъ чрезъ уста святыхъ пророковъ:

«Дай къ намъ, Господи, дай къ намъ
Исуса Христа!..»

Точно электрическая искра пробѣжала по «собору». Забыто было все и вся. Въ какомъ-то волшебномъ туманѣ исчезла, при первыхъ-же словахъ «священнаго» гимна, и эта странная подземная комната съ ея тяжелой горькоудушливой атмосферой, и этотъ за минуту передъ тѣмъ возбуждавшій недоумѣніе и любопытство старики: все заволокло собою, все заполнило мистически-необъятное и «изъ чудесъ пречудное» небо съ его «блаженными кругами»,—небо, заселенное таинственно воскресшими «людьми Божиими», которые предъ лицомъ самого «Господа Саваоѳа», съ его «пречистымъ» Сыномъ и Духомъ «животворнымъ», окруженные всѣмъ «горнимъ» воинствомъ: ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, во главѣ съ пророкомъ Давидомъ, безпрестанно «радѣютъ», полные «веселія безконечнаго». И это небо—близко, надъ ними. Съ него

смотря на нихъ, благословляютъ ихъ, сходятъ къ нимъ и наполняютъ ихъ груди и сердца дивные небожители своимъ «благодатнымъ дыханіемъ»...

Какая дивная, захватывающая картина!

И вотъ, какъ бы въ созерцаніи ея, и Евдокимъ, и Матвѣй, и Игнатъ, Катерина, а за ними и всѣ братья-корабельщики и сестры корабельщицы тоже воздѣли, по примѣру Ѳомы, къ потолку свои руки и гнусливыми голосами, съ какими-то особыми придыханьями и захлебывающимися взвизгиваньями на высокихъ нотахъ, подхватили:

«Дай къ намъ Сына Божьяго и помилуй,
Сударь, насъ!...»

И съ каждымъ новымъ словомъ все громче, все дружнее гремитъ по подземелью, колыша клубы кадильнаго дыма, своеобразная по размѣру и звуковымъ сочетаніямъ пѣснь:

«... Пресвятая Богородица, упроси
За насъ Сына Твоего,
Сына Твоего, Христа Бога
Нашего,
Да Тобою, спасемъ души наши
Многogrѣшныя»...

А соотвѣтственно съ этимъ, какъ бы уже испытывая на себѣ «шумный гласъ съ небесе», все оживленнѣе, все порывистѣе, все страстнѣе и восторженнѣе становятся и сами пѣвцы.

— «Многogrѣшныя... многogrѣшныя!» — какъ-то всхлипывая на низахъ, гудитъ коровинскій Прокопій. Лицо его поблѣднѣло, глаза округлились и заблестѣли, а рука то и дѣло взмахиваетъ надъ головой бѣлымъ платочкомъ.

— «Многogrѣшныя!..»

Вотъ, какъ бы уже отъ начавшейся внутри его борьбы св. Духа съ темными силами, качнулся одинъ, припрыгнулъ

и, точно волчокъ, завертѣлся на мѣстѣ. За нимъ другой, третій... И вскорѣ вся масса собравшихся, во главѣ съ Оомой и Евдокимомъ, закружилась, затопала, завизжала и, какъ вихрь, понеслась другъ за дружкой въ кругъ, слѣва направо, напѣвая радѣльную пѣснь:

«Погодушка подувала,
Сине море всколыхала.
Всѣ мосточки разорвала;
Всѣ святые напугались...
Одинъ Духъ Святой остался
И въ гусельки заигралъ,
Всѣхъ онъ вѣрныхъ созывалъ
И въ келейку собиралъ»...

Отрывочныя слова пѣсни, неистовые вопли и стenanья, частая дробь босыхъ ногъ о полъ, шумъ подоловъ «радѣльныхъ» рубахъ, свистъ мелькавшихъ въ воздухѣ платковъ и полотенцевъ — все это слилось въ одинъ потрясающій, нестройный, ужасный для посторонняго наблюдателя ревъ. Чудилось, что находишься не въ русской землѣ, не среди русскихъ людей, а гдѣ-нибудь въ глубинѣ Африки, на какомъ-нибудь неизслѣдованномъ островѣ Полинезій, среди дикихъ первобытныхъ сыновъ природы, совершавшихъ одинъ изъ своихъ отвратительныхъ танцевъ

— Ай, Духъ! Ай, Духъ! Царь Духъ! Богъ духъ!—присѣдая къ землѣ и весь дрожа, точно въ лихорадкѣ, кричитъ между словами пѣсни одинъ.

— О, Егá! О, Егá! Гопъ-та!—хриплымъ голосомъ, задыхаясь и изступленно колотя себя жгутомъ, свитымъ изъ полотна, въ дикомъ порывѣ восклицаетъ другой.

«Я за ваши за труды
Золоты солью вѣнцы.
А еще то за труды
Золоты солью трубы»,—

скача на четверенькахъ, взвизгиваетъ третій.

— Накати, накати! Благодать, накати!—то съ рыданіемъ и стопами, то съ безумнымъ истеричнымъ хохотомъ голосятъ во всю мочь вертящіяся женщины.

Со всѣхъ потъ леть ручьями, на всѣхъ измокли рубахи, въ груди спираетъ дыханіе, а люди Божіи, блѣдные какъ полотно, съ слипшимися волосами. съ безумно уставившимися глазами, продолжаютъ все «радѣть», лишь изрѣдка отирая лицо платками. Двое-трое не выдержали: закружившись до одури, они отлетѣли изъ общаго круга въ сторону и, силясь удержаться на вертящемся, какъ имъ казалось, полу, беспомощно колотятся о стѣны головами...

Но вотъ одинъ, Максимка Главачъ, дошедши до состоянія полного самозабвенія, близкаго по своему характеру къ умопомѣшательству, остановился какъ вкопанный и, блаженно улыбаясь и обращаясь то къ одному, то къ другому, понесъ невообразимый бредъ.

— Накатиль, накатиль! Богъ духъ накатиль!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Всѣ благоговѣйно пали предъ объявившимся «духовидцемъ» на колѣна и, крестясь и кланаясь ему въ ноги, умильно восклицали:

— Просвѣти!

— Возвѣсти!

— Богъ духъ, освяти!

— Милость, милость сотвори!

Но никого не видѣлъ и ничего не слышалъ Максимка Главачъ. Натыкаясь на колѣнопреклоненныхъ и размахивая въ воздухъ своимъ «покровцемъ», онъ безъ умолку продолжалъ выкрикивать, точно пьяный, заплетающимся языкомъ:

— Я—Богъ Саваоѣ! Я, Духъ Божій, съ вами! Я, Сынъ Божій, надъ вами! Я много вамъ скажу, велику благодать вложу! Я все вижу: небо, землю и ангеловъ... Вонъ видите ихъ, видите?.. Видите, какъ они надъ вами летаютъ, небесны дары въ васъ вселяютъ?.. И поютъ... Чу! Слышите?..

Изведеть изъ темницъ
Сонмы чистыхъ дѣвицъ,
Привлечеть въ Божій чинъ
Сонмы грѣшныхъ мужчинъ.
Самъ Спаситель имъ радъ,
Возведеть въ вышній градъ,
Осѣнить святой Духъ
Ихъ праведный духъ...

— И, ахъ, какъ хорошо! Все кругами, все кругами такъ и рѣютъ, такъ и вьютъ, словно бабочки! Красный, синій, зеленый... А среди ихъ самъ блаженный Давидъ. Онъ во гусельки играетъ, Христа-Бога убажаетъ:

«И ай вы, братцы, вы, сестрицы,
Златоперья вы птицы,
Когда Богомъ занялись,
Служить Ему задались,—
Вы служите, не робѣйте,
Живу воду сами пейте,
На землю ее не лейте,
Не извольте унывать,
А на Бога уповать,
Рая въ Немъ ожидать...

Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ, затаивъ дыханіе, слушали этотъ безсвязный, богохульный, горячечный бредъ, видя въ немъ нѣчто сверхъестественное, пророческое. Многие отъ избытка «духовной радости» даже плакали во время него, а когда «духовидецъ», наконецъ, очнулся и съ глубокимъ вздохомъ, въ изнеможеніи отъ такъ непроизводительно потраченной энергіи, опустился на скамейку, бросились цѣловать его руки, ноги, одежду, припѣвая:

«Саваоѣ Богъ Самъ ликуетъ съ небеси,
А святой-отъ Духъ глаголетъ въ тѣлеси:
Съ нами вмѣстѣ обитаетъ и насъ наставляетъ»...

Послѣ Максимки Главача «ходили въ словѣ» коровинскій Прокопій, Емельянъ Жирохвость, Матвѣй, Игнатъ, Катерина, Авдотья...

Даже Мавра, братская стряпуха, и та вдругъ прозрѣла, «восхитилась духомъ» въ «сіонскія высоты» и обратилась къ двумъ-тремъ братцамъ помоложе съ «частной судьбой»⁴ на тему:

«Плоть лѣнива, тяжела,
Ищетъ тлѣннаго всегда»...

И всѣ эти мнимыя пророчества, по мѣрѣ того, какъ «люди Божіи» постепенно приходили въ себя отъ радѣльнаго угара, становились все болѣе осмысленными, складными, содержательными. Во многихъ изъ нихъ, подѣ конецъ, уже прямо видна была заранѣе составленная и строго обдуманная программа; приноровленная къ разнымъ событіямъ изъ жизни корабля.

Такъ продолжалось часа съ два: пророки говорили, ихъ слушали и имъ кланялись; вновь говорили — и вновь слушали, вновь кланялись...

А въ промежутки между пророчествами «въ гусли Давидовы выигрывали, глаголы Господни вычитывали», т.-е. то въ одиночку, то хоромъ пѣли свои «ниспадшіе съ неба» распѣвцы. Пѣли и про великое значеніе пророковъ въ дѣлѣ откровенія Богомъ тайнъ Своимъ «излюбленнымъ» чадамъ, и про злой «шатоватый» міръ и борьбу съ нимъ, и про праведную кончину, и про страшный Божій судъ, и про райское житіе, въ которомъ

Уже положено такъ:
Кому ангеломъ быть,
Кому архангеломъ служить,
Кому быть во пророкахъ,
Кому въ мученикахъ,
Кому быть во святыхъ,
Кому въ праведникахъ.

⁴ Пророчества хлыстовъ и скопцовъ раздѣляются на два вида и извѣстны у нихъ подѣ названіями «общей судьбы» и «частной судьбы». «Общая судьба» содержитъ въ себѣ прореченія, общія всему кораблю. Напротивъ, «частная судьба» предназначается только для извѣстнаго, опредѣленнаго человѣка и говоритъ объ обстоятельствахъ жизни только этого послѣдняго.

VI.

Но вотъ поднялся, наконецъ, «серафимоподобный» Өома Захарычъ.

Онъ еще въ половинѣ радѣнья незамѣтно выскользнулъ изъ круга и, сидя на порогѣ Сіонской горницы и самодовольно поглядывая на бѣсновавшихся, то и дѣло шепталъ своими безкровными губами:

— Поклона не отдавать? Нѣтъ, братъ, шалишь, отдашь! Все, что ни захочу, — все отдашь! Не токмо что тѣло, а и душу — и таѣ у васъ возьму, Иродіадины дѣти!..

Улучивъ потомъ моментъ, когда послѣ «небесной тайны», возвѣщенной кузнецомъ Вавилой, наступило небольшое «препятіе» пророческому «гласу» и никто еще не успѣлъ затянуть распѣвца, онъ быстро подошелъ къ столу, трижды приложился съ поклонами ко кресту и, воздѣвъ къ небу руки, тихо, какъ бы про себя, но въ то-же время такъ, чтобы всѣ отчетливо его слышали, проговорилъ:

— Прости, солнце! Прости, мѣсяцъ! Простите, звѣзды! Прости, матушка сыра-земля! Господь Искупитель, Саваоеъ Богъ изъ рая, благослови меня говорить людямъ симъ не своими усты, а всели въ мя Духъ Твой Святыи!

Всѣ замерли, пораженные вдохновеннымъ видомъ своего бывшаго «воспріемника» ¹.

Между тѣмъ Өома, переждавъ немного и точно къ чему-то прислушавшись, круто обернулся къ «собору» и громко прокричалъ:

— Горе, дѣтки, горе! Плачь и стонъ я слышу! Рыдаютъ херувимы, шестокрылатые серафимы. Горько плачутъ, біюще въ перси своя, апостоли, пророци и сонмы праведныхъ. Горе, горе!

И, прокричавши это, онъ вдругъ усѣлся на полъ и, колотя себя въ грудь кулакомъ, немигаючи уставился на нагорѣв-

¹ Названіе «кормщика», положившаго основаніе кораблю.

шія и сильно чадившія свѣчи паникадила, хотя въ то-же время углами глазъ зорко наблюдалъ за тѣмъ впечатлѣніемъ, какое произвела на присутствовавшихъ эта его выходка.

А впечатлѣніе было громадное.

Невольный трепетъ пробѣжалъ по «собору». Тамъ и сямъ слышались сокрушенные вздохи и причитанья. Мавра не утерпѣла и, всхлипнувъ раза съ два, протяжно и нудно застонала. Самъ Евдокимъ, хотя и продолжалъ беззвучно шептать: «А-га, зачалось! Послушаемъ, поглядимъ, что за чистота такая!» — подался всѣмъ корпусомъ впередъ и, не сводя съ Оомы глазъ, сидѣлъ блѣдный-блѣдный...

— А знаете, отъ чего это горе, отъ чего этотъ вопль и плачь? — чуть замѣтно улыбнувшись одними глазами и вскочивъ на ноги, вновь закричалъ, размахивая руками, Оома.—Отъ грѣховъ вашихъ! Отъ беззаконія вашего! Посмотрите, какъ вы живете, что вы дѣлаете? Вождельніе содомское, плотское похотѣніе, лобзаніе и осязаніе, скверное услажденіе и запаленіе—вотъ ваши дѣла, вотъ ваши бози, имъ же слуги естѣ! Вѣры нѣтъ у васъ! Нѣту вѣрушки святой, сокровенной, уставной! Всюду соблазнъ, всюду за лѣпостью угонъ!.. И ой вы, дѣтушки! Ой вы, маленькія, глупенькія, слѣпенькія дѣтушки! Очнитесь вы, проснитесь вы, взгляните вы, куда ведетъ васъ сія богопротивная лѣпость! Она отъ Бога отвращаетъ и къ Богу не допускаетъ. Она, яко магнитъ-камень, привлекаетъ и, яко моль и червіе, точитъ всяку добродѣтель, всяку благодать Божью. Бѣжите же ея, чадца моя, зане предъ людьми есть мерзость, а предъ Богомъ—дерзость. Отсѣцйте убо раздизающая и услаждающая, да безпечаліе примете. Струями кровій своихъ омойтесь и тако присно со Христомъ блаженни будете. Храните дѣвство и чистоту, ибо единые дѣвственники предстоятъ у престола Господня. Неженимые не женитесь, а женимые разженитесь. Не заглядывайтесь братья на сестеръ, а сестры на братьевъ и не имѣйте праздныхъ разговоровъ и смѣховъ. Плоть убо взыскуетъ плоть, вы же духовни естѣ и, яко

сыны свѣта, во слѣдъ батюшки Искупителя тещите, истряся въ прахъ вся бѣсовская ополченія... И вѣрю ми имите, дѣтки мои, аще преслушаете мене, — громъ и молынья, жупель и мечъ вы поясть. И накроетъ васъ земля и горючіе каменья за ваше къ вѣрѣ нерадѣніе. Бойтесь! Страшитесь! Трепещите!.. Аще же послушаете, утишитя ярость Божія на васъ, и въ веселіе и радость претворятся стонъ и плачъ на небесѣхъ. Внемлите ми, не бо самъ отъ себе глаголю вамъ сіе, а Духъ Искупителевъ, сый во мнѣ. И вѣрю я, вѣрю, птички Божія, ангели земни, что благодать Его и васъ озаритъ, и васъ просвѣтитъ и убѣлитъ, да и вы вси, якоже и азъ, со страхомъ покорите сердца и прославите Искупителя и Отца... И буди сіе, буди! Аминь. Во свѣтъ Твоемъ и сіи узрятъ свѣтъ! Аминь, аминь...

Ѳома замолкъ.

Подавленные его грозной обличительной рѣчью, молчали и всѣ присутствовавшіе, вновь позабывъ отдать установленный поклонъ «серафимоподобному» пророку. Но Ѳома на этотъ разъ не обидѣлся: онъ ясно видѣлъ причину этого въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ въ высшей степени обиднаго пренебреженія, и причина эта была какъ нельзя болѣе для него лестна и пріятна.

— Что—пришипились? Позамолкли?—торжествующе водилъ онъ по сторонамъ глазами...

— Такъ, вотъ она, чистота—то какая!—уронивъ на грудь голову, съ своей стороны раздумываль Евдокимъ.—Гм... «*Не заглядывайтесь*»,—говорить. И опять же: «*запаленіе*»... «*Отстыците*»... И чево такое отстыците?... «*Струями кровій*» какихъ-то... Нѣтъ, тутъ, надо быть, што-то какъ быдто не такъ. Не договариваетъ онъ што-то,—вотъ што! Надо доспрошать да въ чистую столковаться... А то ишь, въ сутеменки⁴ выдумаль играть.

Прошло минутъ пять.

⁴ Въ „сутеменки“—въ жмурки.
Во тьмѣ вѣковой.

Вдругъ среди жуткой, мертвяще-напряженной тишины изъ сосѣдней комнаты, изъ которой вышелъ предъ радѣнемъ Евдокимъ, послышался стукъ и хлопанье двери: то впечатлительная, жизнерадостная, простоватая и даже среди радѣнья и пророчествъ не позабывшая своихъ обязанностей стряпуха Мавра, только что незамѣтно, на ципочкахъ, вышедшая изъ «Сіона», вмѣстѣ съ своими помощницами уговоряла тамъ всеобщую братскую «Господнюю» трапезу.

Всѣ нервно вздрогнули и закрестились.

Очнулся отъ своихъ думъ и Евдокимъ. Окинувъ Оому острымъ, какъ лезвіе ножа, взглядомъ, онъ грузно поднялся со скамьи и густымъ басомъ затянулъ заключительную «радѣльную» молитву: «Царю свѣтъ небесный»...

Всѣ облегченно вздохнули, точно съ плечъ свалилась какая-то темная, тяжелая, грозная лавина, и дружно подхватили: «...Милосердный нашъ Богъ...»

Послѣ этой молитвы началось взаимное прощанье.

Какъ и предъ началомъ «бесѣды», всѣ чинно потянулись опять къ Харлову и, трижды кланяясь ему въ ноги, приговаривали:

— Прости, батюшка Святъ Духъ!

— Прости, красно наше солнце!

— Прости, истинный Царь-Богъ!..

— Спаси тя, Господи!—отвѣчалъ каждому изъ подхлотившихъ Евдокимъ и тотчасъ же давалъ цѣловать висѣвшій у него на груди крестъ.

— Прости, братецъ родименькій! Прости, сестрица-касатка!—обращались потомъ другъ къ другу съ пояснымъ поклономъ «люди Божіи».

— И ты прости, родненькая! И ты прости, касатикъ!—слышалось въ отвѣтъ.

Когда все это кончилось, дверь въ сосѣдную комнату, по знаку Евдокима, отворилась, и «птички Божіи», вслѣдъ за своимъ батюшкой-кормщикомъ, направились попарно, — сначала мужчины, а потомъ женщины, — на «вечерю любви»,

какъ, по примѣру первенствующихъ христіанъ, они называютъ свой послѣдательный ужинъ.

И когда они вошли туда, то на двухъ длинныхъ, во всю комнату, столахъ, устроенныхъ изъ двухъ широкихъ байдачинъ, положенныхъ на низенькія козельцы, грудами лежалъ уже нарѣзанный толстыми ломтями черный и полубѣлый хлѣбъ, дымились громадныя миски съ грибными шами, цѣлыми стогами высились на деревянныхъ тарелкахъ соленые огурцы; были тутъ и грузди въ сметанѣ, и творожные загибни, и брусничная ягодница, квасъ въ глиняныхъ кувшинахъ...

Всѣ молча, безъ шума и гама, размѣстились за столами, но прежде чѣмъ сѣсть и ѣсть, истово сотворили обычный «началь», а потомъ хоромъ пропѣли замѣчательную по силѣ поэтической изобразительности пѣснь любви, единенія и братства:

О, любовь, любовь,
Ты сладчайшая,
Твоя силушка величайшая!
Ты виновница
Всѣхъ спасаемыхъ...
О, любовь, любовь,
Любовь чистая,
Умножаешься,
Разливаешься,
Чтобъ всѣхъ плѣнить,
Въ себѣ помѣстить...
Ты течешь, любовь,
Въ сердце Божіе,
Вопіешь, любовь:
Я одна чиста,
Дочь небесная;
Красотой моею
Полны небеса;
Всѣ мною живутъ,
Всѣ міры міровъ...
Разливаюсь я,
Вода Божія,
Напою я
Души праведныхъ...

Послѣ ужина, едва успѣли встать нѣсколько отставшіе въ ѣдѣ, какъ столы, скамьи, чашки, плошки—все это было быстро вынесено, и комната такъ-же быстро начала наполняться уже видѣнными нами въ трехстѣнной пристройкѣ наверху постельниками, подушками и прочимъ спальнымъ хламомъ. Огни были потушены и—по хлыстовскому учению—«кто съ кѣмъ любился, предъявленную плотскую любовь, яко въ темномъ мѣстѣ, и чинили»...

— *Ома, Омушка!*—раздался было у порога шепотъ Мавры.

— Отстань ты, невѣрная!—прошипѣлъ ей въ отвѣтъ *Оминъ* голосъ.

Дверь хлопнула—и все смолкло. Только едва ощутимымъ дуновеньемъ время отъ времени пробѣгала по комнатѣ какая-то знойная волна, неся съ собою изъ угла въ уголъ то полуподавленный вздохъ, то тихій-тихий, какъ сонная греза, лепеть:

„Ужъ мы знаемъ,
Ужъ мы знаемъ,
Одѣваемъ всякъ свою“...

VII.

Поздно проснулись «люди Божіи».

Всѣ были вялы, блѣдны. У большинства, точно послѣ здоровой выпивки, сильно болѣла голова, и чувствовалась тупая, ноющая боль въ спинѣ и ногахъ: это—по мнѣнію хлыстовъ—«злое зѣлье»¹, вчера побѣжденное богатіемъ

¹ Т. е. тѣлесная природа человѣка. Хлысты, какъ извѣстно, смотрятъ на душу человѣка, какъ на начало доброе, а на тѣло, какъ на начало *злое*, которое борется съ душою или, какъ говорится въ одномъ изъ распѣвцевъ, „яростію злится, когда душа постится“. Это дуалистическое воззрѣніе на природу человѣка привело хлыстовъ и къ соответственному нравственному учению, которое кратко можно формулировать такъ: плоть должна быть умерщвляема всевозможными средствами для того, чтобы заключающаяся въ ней душа могла безпрепятственно достигнуть своего назначенія, т. е. сдѣлаться достойнымъ храмомъ Божіимъ и низвести въ себя Христа и даже—всю Св. Троицу.

Божією, теперь вновь начало вступать въ свои права, наводя на душу «вредные обманы и великія раны...»

Жигалевцы одинъ за другимъ, осторожно пробираясь огородами, вскорѣ разбрелись по своимъ домамъ и, кряхтя и охая, принялись за свои прерванныя съ вечера работы—кто за молотьбу, а кто за уборку льна и конопли.

Но пріѣхавшіе изъ Коровина, Сухарина, Игуменки и Отроковичъ волей-неволей должны были остаться до ночи, такъ какъ выбратся среди бѣла дня, не наводя на «вертоградъ» подозрѣнія со стороны «безбожныхъ іудеевъ» и «злыхъ фарисеевъ», не было рѣшительно никакой возможности,

Ихъ было человѣкъ до двадцати, и всѣ они совершенно спокойно сидѣли по разнымъ «хоронушкамъ», вполне понимая, что разыскать ихъ по этимъ хоронушкамъ для людей непосвященныхъ—задача довольно таки мудреная.

Цѣлая система различныхъ подпольныхъ «келеекъ» и «срубовъ», соединенныхъ и между собою, и съ жилыми помѣщеніями, и съ наружнымъ надворными постройками довольно хитроумными переходами и выходами, скрыла ихъ въ себѣ, а тамъ вотъ попробуй-ка—поищи! Ты—въ одну «келейку», а «братецъ» съ «сестрицей» ужъ въ другой; ты—въ другую, а они ужъ въ третьей; ты—въ третью, а они ужъ либо на дворѣ, либо на чердакѣ или тамъ гдѣ нибудь на сараѣ; ты—на дворѣ, на чердакѣ, на сараѣ, а они или опять въ подпольѣ, или треплютъ гдѣ нибудь уже по задворкамъ...

Выходить: и душеспасительно въ «вертоградъ царя Давида» да и для «злого зелья» не обидно и нисколько не стѣснительно. Любота, значитъ, да и только: пріѣзжай, «радѣй», сколько душенькѣ угодно, а тамъ, безъ всякой опаски,—въ келейку, гдѣ тѣмъ временемъ, на общій братскій счетъ, «столы ужъ разставляютъ, бѣлы скатерти разстилаютъ...»

Въ одной изъ такихъ-то вотъ именно «келеекъ» и сидѣло человѣкъ съ пять сухаринцевъ.

Разговоръ невольно вертѣлся около личности «серафимо-

подобнаго» Оома Захарыча и вчерашней его обличительной рѣчи.

— А и перемѣнился же онъ, братецъ ты мой! То-ись такъ перемѣнился, што, кажись, мимо прошелъ,—не узналъ бы!—проговорилъ рябой вислоухій Митрій, обращаясь къ полусѣдому тощему, но крѣпкому старику Панкрату.

— Д-а-а,—неопредѣленно протянулъ послѣдній.

— И отчего бы эфто,—а?

— Ну—какъ «отчего»? Чать слышалъ ты вечоръ, какъ онъ баилъ, што всю Рассею обошелъ, и въ тюрьмахъ былъ, и въ страданьяхъ, и въ искушеніяхъ разныхъ... А эфто, думаешь, легко?—Нѣтъ, братъ, тутъ не токмо што сторбишься да посѣдѣешь, а и послѣднюю шкуру потеряешь,—вотъ што! Не даромъ во письмени-то сказано:

По чистому полю гулять берегись,
Со злымъ міромъ не водись:
Злой міръ тебя возьметъ
Да каменьями побьетъ.

— Страдальникъ святой, преподобная Христова душа— да и все тутъ...

— А какъ же таперя быть-то?

— Чево «быть-то»?

— А съ Евдокимомъ-то?

— Ну?

— Да кто, то-ись, въ кормщикахъ то у насъ изъ нихъ будетъ?

— Эва што хватилъ! Конечно, батюшка Святъ-Духъ Оома Захарычъ. Потому, какъ онъ насъ «воспріалъ», онъ и пасти должонъ. Евдокимъ-то, чать, по ево-жъ откровенью до ево приходу и поставленъ. Ну, а пришелъ онъ самъ, — ну, значить, и дѣлу конецъ! Всяка власть и сила — все опять въ ево руки, значить, и переходитъ. На манеръ—какъ отъ приказчика къ хозяину. Понялъ?

— Понянь-то понянь... А только коли Евдокимъ-то не уступитъ?

— Какъ «не уступить»? Уступить. Должонъ уступить. Потому — и «надъ нимъ есть началъ, кто ему власть вручалъ». Царица Небесная чрезъ батюшку Ѳому Захарыча ему препоручила; Она же чрезъ него у него и возьметъ,—вотъ и все!

— Та-а-акъ... Ну, а коли самъ батюшка Святъ - Духъ Ѳома Захарычъ не захочетъ?

— А ужъ эфто, милый мой, ёво святая воля...

— Та-а-акъ...

А тѣмъ временемъ, какъ въ затворной «келейкѣ» шель подобный разговоръ между братцами-корабельщиками изъ Сухарина, — между Евдокимомъ и Ѳомой въ банѣ шель тоже разговоръ, хотя нѣсколько и въ другомъ родѣ.

Проснувшись и напившись чаю, Евдокимъ какъ-то особенно грубо и рѣзко крикнулъ къ себѣ Мавру и приказалъ ей сейчасъ же чисто - начисто прибрать одну изъ комнатъ верхняго этажа, въ которой до сихъ поръ жилъ «пророкъ» Игнатъ.

— Ничего не подѣлаешь, Игнатушка! — съ кислой и точно выдавленной улыбкой сказалъ онъ при этомъ послѣднему.—Потѣснись на время: въ повалушѣ, а то въ прирубѣ поживи... Самъ знаешь: гость... Ну и надо, стало быть, все какъ слѣдовать устроить...

Началось перетаскиванье Игнатовыхъ пожитковъ, мытье стѣнъ и половъ...

И когда все это было кончено, Евдокимъ накиннулъ на плечи кафтанъ и прошелъ въ баню.

Онъ былъ взволнованъ, недоволенъ. На память то и дѣло всплзало какое-то таинственное и долго его ночью беспокоившее «отстѣемъ...» Но онъ пересилилъ себя и, по-видимому, вполнѣ спокойно и дружелюбно обратился къ Ѳомѣ:

— Ну, братъ Ѳома, все готово. Давай, обряжайся, бери, што у тебя есть, да и айда отсюда!

— Это куды?—изумился Ѳома.

— Какъ «куды»? Въ хоромину.

— А зачѣмъ?

— Какъ «зачѣмъ»? Жить. Рази хорошо здѣсь? Да и што люди скажутъ?

— Ну, про людей то ты, Евдокиша, рѣчь оставь: люди, самъ знаешь, поболтають-поболтають да и смолкнутъ... А я тебѣ вотъ что скажу: не гони ты меня, пожалуйста, отсюда, потому по смиренству по нашему здѣся мнѣ какъ есть само што ни-на-есть подходящее дѣло...

— Фу ты, пропасть! — съ сердцемъ подумаль про себя Евдокимъ.—Опять загадки загадывать! «Смиренство...» «по смиренству...» Тьфу!...

И онъ вдругъ упавшимъ голосомъ, безтолково моргая на Оому вылупленными глазами, спросилъ:

— Да давно-ли ты смиренникомъ-то такимъ сталъ?

— А давно, Евдокиша, давно: съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ въ чистоту оболокся, плоти уязвленіе изжилъ...

— Плоти уязвленіе?!

— Ну, да. Уязвленіе.

— А эфто што же за штука такая?

— Эфто што, уязвленіе-то?

— Вотъ, вотъ.

— Такъ рази это штука? Это — не штука, а мерзость. Лютый змій, пожирающій міръ. Ключь бездны, имже сатана двери адовы отверзаеть на погибель всѣмъ преподабнымъ...

Евдокимъ слушалъ, силился понять мудреную рѣчь Оомы, но отъ умышленныхъ недомоловокъ послѣдняго въ головѣ его опять, помимо его воли, былъ какой-то сумбуръ, какъ то было и въ первое свиданье.

«Чистота», «запаленіе», «отсѣцемъ», опять «чистота», а потомъ «смиренство», «уязвленіе»—все это сбилось въ одну какую-то непроворотную гущу, въ одну какую-то клейкую, непонятную для него и совсѣмъ неперевариваемую имъ массу. И эта масса облѣпила его со всѣхъ сторонъ, насильно

влилась и въ его голову, и въ его грудь и давить его, мучаетъ его, жжетъ своимъ загадочнымъ огнемъ, — жжетъ медленно и мучительно-больно...

Какъ и въ прошлый разъ, онъ окончательно растерялся и, точно даже извиняясь за что-то предъ Ѳомой, забор-мotalъ:

— По мнѣ—што? По мнѣ, коли самъ хошь, такъ живи на здоровье и тутотко. Мнѣ все едино. Я не для себя, вѣдь, старался, а для тебя же. Тебѣ же думалъ угодить. О твоемъ-же почетѣ да довольствѣ заботился... А коли не хошь, такъ какъ хошь... Живи... Живи,—говорю...

— Ну, вотъ и ладно! А насчетъ почету и всего тамъ прочаго ты, Евдокиша, брось! Потому — я не для почету, другъ ты мой сердечный, тружусь, а для Бога, для Царя-Батюшки Искупителя, зане апостоль его есмь...

— Ну, опять замудрилъ! Опять экивоки да словобоки пошли!—какъ ракъ красный прошепталъ про себя Евдокимъ. — Ишь вѣдь агнцемъ какимъ прикинулся! «Не для почету живу»... Какъ-же, держи карманъ шире! Такъ я тебѣ и повѣрилъ!.. А, впрочемъ, чортъ съ тобой! Кисни съ своей «чистотой» да со всякимъ своимъ «уязвленіемъ» въ банѣ, коли тебѣ такъ нравится. Мнѣ — што? Мнѣ — лишь честь была-бы предложена, а тамъ твоя воля. Мнѣ даже лучше такъ-то, потому изъ бани-то меня не такъ скоро доста-нешь... Да!..

Евдокимъ ушелъ, а Ѳома, какъ-то загадочно улыбнувшись ему вслѣдъ, зло сверкнулъ глазами и зашепталъ:

— Что, отъѣхаль, несолоно хлѣбавши? То-то!... А то ишь, дурака какого нашель: подъ бокъ къ нему ступай! Чтобъ всяко слово, значить, слышно было!.. Нѣтъ-съ, братъ, дудки! Не я къ тебѣ, въ хоромину, а ты ко мнѣ, въ баньку, придешь! Да и не ты одинъ (въ тебѣ то, женолоубцѣ треклятомъ, мнѣ и проку мало), а и остальные всѣ придуть,—вотъ што!.. Вотъ я удочку одну уже закинулъ, а тамъ слегка другую закину, третью... Дѣло-то, глядишь, и за-

варганить. У тебя подъ носомъ заварганить, а ты и чуютъ не будешь... Эта-же самая вотъ банька мнѣ и службу сослужить, потому—тихо тутъ, вольготно, непримѣтно. А мнѣ этого только и нужно. Попригляжусь да отберу, которы понадежнѣе,—и до свиданія! Потуда ты, ло-до-колонъ ты мой чудесный, меня и видѣль! Поняль? То-то!..

VIII.

Прошло послѣ только что описаннаго двѣ недѣли съ небольшимъ.

Небо совсѣмъ огустѣло и посылало на жигалевскія поля, попеременно съ дождемъ, хлопья грязнаго, липкаго, талаго снѣга.

Наступила пора, что—ни на дворъ, ни со двора.

Въ ложбинкѣ кругомъ бани образовалось цѣлое озеро мутной, вонючей жижи. Въ самой банѣ стало страшно сыро, — уголъ за полкомъ сплошь покрылся пушистой плѣсенью, въ окно немилосердно дуло, — но Тома попрежнему жилъ все еще въ ней.

Жилъ онъ, повидимому, совершеннымъ отшельникомъ, тихо, незлобиво, не проявляя никакого намѣренія вмѣшиваться въ «кораблищенскія» дѣла. Его даже какъ будто и совсѣмъ не было, такъ какъ выходилъ онъ изъ бани крайне рѣдко, да и то лишь по неотложной надобности—собственноручно принести дровецъ себѣ, зачерпнуть ведро воды изъ колодца, пригоношить ¹ краюху хлѣба съ кухни да еще по субботамъ, когда въ банѣ «братское» мытье происходило.

Всѣ услуги братьевъ-корабельщиковъ и сестрицъ-корабельщицъ онъ мягко, но рѣшительно отклонялъ, неизмѣнно повторяя всякій разъ:

— Ничего, я и самъ себѣ тутотко все поналажу. По смиренству по нашему эфто даже полагается, потому—

¹ „Пригоношить“—добыть, припасти.

самъ Царь-Батюшка несъ терпѣніе во все свое, иже во плоти, похождение...

Правда, не отъ всѣхъ одинаково легко было отдѣлаться. Напримѣръ, братская стряпуха Мавра никакъ не могла согласиться въ первое время съ тѣмъ, чтобы такой великій человѣкъ, какъ Омушка, передъ которымъ самъ батюшка-кормщикъ голову гнетъ, могъ обойтись безъ ея, стряпухиныхъ, услугъ. И только тогда, когда Ома самымъ безцеремоннымъ образомъ повыбросалъ однажды вонъ всѣ ея калачи да загибни и, грозно сверкнувъ глазами, окрикнулъ: «Чего лѣзешь, глупая баба? Не лѣзь!—говору. Не твоего ума тутъ дѣло: тутъ «послухъ»¹ ведется, а ты... Эхъ ты, мазиха!»² — только послѣ этого Мавра поняла, что съ Омой разговоры плохи и, какъ-то съезжившись, ушла...

Точно также нелегко было Омѣ отбояриться и отъ услугъ пророчицы Авдотьи, которая еще съ давнихъ поръ имѣла на него, между прочимъ, и кое-какіе права и виды. Но въ концѣ концовъ и съ нею расчеты были кончены.

Какъ-то придя по старой памяти къ Омѣ и встрѣтивъ съ его стороны особенно рѣзкій и недружелюбный пріемъ, она спросила:

— Ома! А, Ома! Чтой-то ты какой мудреный сталъ?

— Мудреный?—переспросилъ тотъ, глядя на нее изподлобья.

— Мудреный.

— Подожди, еще мудренѣй буду!

— Чево такъ?

— А ничево! Пора такая пришла... А ты что-жъ,—о плоти все?—обдавая ее насмѣшливымъ взглядомъ, спросилъ въ свою очередь Ома.

¹ „Послухъ“—омонимъ, обозначающій, съ одной стороны—*послушаніе, подвигъ*, а съ другой—каторжное названіе *подкопа, хитрости, каверзы* и пр.

² „Мазиха“—глупая женщина, дура.

— Живой объ живомъ, вѣстимо, и думаетъ.

— Ну, матушка, намъ такія нонѣ не подѣ стая! Ищи другихъ! А съ нами жить—грѣха не творить.

Авдотья недоумѣло вытаращила глаза.

— Аль другіе законы у тебя пошли? Помнится, ты самъ-же мнѣ твердилъ, што «невозможно на свѣтѣ жити, съ тѣломъ не грѣшити...»

— Ну-къ што-жъ, што твердилъ? Тогда было одно, а теперъ другое. Теперъ мы «чистоты» ищемъ. Безъ чистоты человѣкъ все едино, што звѣрь.

— Чи-сто-ты?!

— Да, чистоты.

— Какой-же это такой чистоты?

— А вотъ, подожди, узнаешь... Не торопись да не прыгай, какъ блоха, а почаще будь «яко мѣхъ на сланѣ», истинная плоть свою и леденя ее душеспасительнымъ омертвѣніемъ помысловъ, тогда и узнаешь...

— Не разберешь тебя,—проговорила ничего не понимая Авдотья и, подобно Маврѣ, отстала отъ Оомы и ушла...

Оому оставили въ покоѣ, предоставивъ ему полную свободу самому носить дрова и воду, мести полъ, стлать постель, топить печь и готовить себѣ въ ней нехитрый обѣдъ. И Оома, кряхтя отъ непривычной работы, но въ то-же время какъ-то ехидно посмѣиваясь себѣ въ усы, дѣлалъ все это, — дѣлалъ не потому, чтобы это дѣло ему вдругъ почему-то понравилось, а просто потому, что въ этомъ-то именно дѣлѣ и состояла его вторая, какъ онъ выражался, «удочка на людей Божіихъ».

И онъ не ошибся въ своихъ расчетахъ.

Скоро по селу пошелъ говоръ. Всѣ невольно дивились такому смиренству Оомы,—тѣмъ болѣе, что всѣ отлично еще помнили то время, когда Оома властно и гордо правилъ ихъ кораблемъ, любилъ покой и довольство во всемъ и терпѣть не могъ униженій и грязной батрачей работы.

Изъ села этотъ говоръ перекинулся въ ближайшія дере-

вни, а немного спустя молва о «зѣло пречудномъ» «преизлиха удивительномъ» житіи **Өомы** мало-по-малу проникла даже въ самые отдаленные уголки жигалевского «вертограда царя Давида».

И какъ это всегда бываетъ, все было приукрашено и раздуто вдесятеро.

Постепенно заговорили не только уже о томъ, что «серафимоподобный» **Өома Захарычъ** «вознищенствова о Господѣ» и «волею иждиваетъ дніе свои въ скудости и убожествѣ, яко духъ безплотный», но и о томъ, что онъ «радѣеть» денно и ношно, пророчествуетъ неумолчно, изводитъ на всѣхъ приходящихъ къ нему благодать Божию и творитъ чудеса. Не разъ будто-бы видали въ банѣ у него свѣтъ «пресвѣтлый» и «нерукотворный» и во свѣтѣ семъ самого Господа-Саваоѳа, самого батюшку Данилу Филипповича, мирно, «лицомъ къ лицу», бесѣдовавшаго съ **Өомой** о разныхъ «духовидныхъ» матеріяхъ, «ко устроению Сіонаграда относящихся».

А пророкъ **Игнатъ Христомъ Богомъ** завѣрялъ, что видѣлъ однажды даже самого **Өому** въ сіяніи и славѣ, среди сонма ангельскаго, парящимъ на облацѣхъ небесныхъ...

—То-ись гляжу я это, братцы, а онъ, милостивецъ, тихо-тихо таково-таки спустился на землю—да и въ баньку! И сичасъ это въ банькѣ свѣтъ такой пошелъ, пѣнье, лики... Ну, тутъ ужъ я со страху на землю палъ и вотъ, хоть убей, не помню, какъ до хоромины добрался...

Разумѣется, вслѣдствіе подобныхъ толковъ слава и почтеніе къ **Өомѣ** росли не по днямъ, а по часамъ.

И **Өома** это зналъ.

Самодовольно потирая руки и изрѣдка освѣщая баньку по вечерамъ желтыми, синими, зелеными и красными бенгальскими или, какъ выражались случайно видѣвшіе жигалевцы, «райскими» огнями, онъ весело шепталъ:

— Придете!... Дай срокъ: всѣ придете!..

И, дѣйствительно, скоро убогая, окруженная вонючими

лужами, баня Харлова стала цѣлью настоящихъ помолничествъ.

Почти со всѣхъ концовъ жигалевской округи потянули въ нее «люди Божіи», чтобъ «сподобиться» узрѣть и послушать «благодатную» проповѣдь новоявленного вѣстника «живоносной тайны». Со страхомъ и трепетомъ входили они къ Ѳомѣ, благоговѣнно кланялись ему въ ноги, сокрушенно вздыхали о своихъ грѣхахъ и немощахъ и умильно просили «напоенья отъ сладости премудрыхъ устъ его».

И Ѳома благостно снисходилъ до ихъ просьбъ.

Зорко приглядываясь къ приходящимъ и незамѣтно вывѣдывая отъ нихъ объ ихъ семейныхъ дѣлахъ, онъ часто до глубокой ночи засиживался съ ними, поучая ихъ изъ святой «родословъ-книги»¹ и попутно увѣщевая «пробудиться отъ сна крѣпкаго, оставить житіе лѣпкое, съ чистотою соединиться, свѣту-батюшкѣ поклониться»²...

— Прочь, прочь, безумная студодѣянія!—сверкая глазами и размахивая костлявыми, съ темными плѣщинами, руками, гремѣлъ онъ среди безмолвно и со священнымъ трепетомъ внимавшихъ ему «птичекъ Божіихъ».—Прочь, злое очарованіе, плоти богопротивное обуянiе! Прочь, Лотова укоризна, неистовая ярость Велиарова разженія! Не дерзайте обладать сими сырыми, отъ бездны міра сего ко мнѣ утекшими! Нѣсть мѣста вамъ здѣ: здѣ—зачало пути Божьяго, здѣ—свѣтлое Христово приуготовленіе ко еже Адамова грѣха умерщвленію, здѣ — Царя-Батюшки наборъ полковъ премудрыхъ, кавалеріи духовной»...³

А то вдругъ понурится, сгорбится и тихо, жалобно-

¹ „Родословъ-книга“—общее у хлыстовъ и скопцовъ названіе ихъ „богодуховеннаго“ ученія. Это ученіе носить у нихъ еще слѣдующія мистико-аллегорическія наименованія: „Божья тайна“, „небесная тайна“, „живоносная тайна“, „Божья наука“, „св. евангель-книга“ и пр

² Скопческій стихъ.

³ „Полки премудрые“, „кавалерія духовная“ — самые любимые символы, подъ которыми скопцы любятъ изображать свое общество.

прежалобно запоетъ какой-то диковинный и до сихъ поръ жигалевцами несслыханный стихъ:

Вы послушайте, любезные,
Вы Господнее ученіе,
Сына Божія мученіе:
Какъ распять былъ на крестъ,
Его мучили вездѣ.
Онъ сидѣлъ на томъ на стулѣ,
Отвѣчалъ прежде у Тулѣ,
Наказали его въ Морши,
Пречистыя его мощи.
Пилать билъ его мечомъ
По могучимъ по плечамъ,
Его билъ онъ до руды,
Не жалѣлъ свои труды...¹

Поетъ, а самъ сидитъ грустный-грустный. Изъ глазъ слезы катятся. Крупныя, горькія слезы. Онѣ бѣгутъ по его искаженному какой-то тяжелой внутренней мукой лицу,

¹ Въ этомъ стихѣ рѣчь идетъ объ основателѣ скопческой секты—Кондратіѣ Селивановѣ. Это былъ крестьянинъ села Столбова, Орловской губерніи, Дмитровскаго уѣзда. Человѣкъ—далеко не глупый, счастливо соединившій въ себѣ, съ одной стороны, необыкновенную хитрость и изворотливость ума, умѣнье выпутываться изъ самыхъ затруднительныхъ и, повидимому, неразрѣшимыхъ обстоятельствъ, а съ другой—мягкость, добродушіе и пріятность въ обращеніи съ окружающими лицами. Первыя качества помогли ему выйти изъ отчаянной и продолжительной борьбы совершеннымъ побѣдителемъ, а вторыя приобрѣли ему массу легковѣрныхъ и малоразумныхъ послѣдователей. Религіозно-нравственныя убѣжденія Селиванова, при всей ихъ чудовищности и очевидной нелѣпости, имѣютъ, однако, то неоспоримое достоинство, что они были вполнѣ искренни и чужды всякихъ матеріальныхъ расчетовъ и цѣлей. Онъ дѣйствовалъ исключительно только ради одной идеи „спасти“ погибавшихъ въ развратѣ хлыстовъ и утвердить между ними свое ученіе о необходимости оскотленія. По крайней мѣрѣ, такъ смотрѣлъ на свою жизнь самъ Селивановъ (см. его „Посланіе“), да такъ же позволяетъ смотрѣть и дѣйствительная исторія его жизни. Въ 1775 году онъ былъ схваченъ

виснуть на концахъ его усовъ и съ глухимъ шлепаньемъ падаютъ на книгу, на рубаху, на столъ...

Точно въ туманѣ отъ всего этого выходили изъ бани жигалевцы-корабельщики.

Многое изъ рѣчей Оомы казалось имъ непонятнымъ и загадочнымъ, но что-же изъ того? Непонятное и загадочное иногда даже болѣе привлекаетъ къ себѣ, чѣмъ ясное и до мелочей очевидное. Пусть неизвѣстно ни то, что такое обозначаетъ собою эта «Лотова укоризна», ни то, что это за штука такая—«полки премудрыя» и «кавалерія духовная», ни, наконецъ, то, кто этотъ «Сынъ Божій», котораго билъ такъ нещадно какой-то «Пилатъ» и въ Тулѣ, и въ Моршѣ. Зато какъ все это ново, необычно и увлекательно! Какъ будто огонь бѣжитъ по жиламъ, когда этотъ согбенный старецъ, преображаясь весь, точно исполнѣнъ небесный, начинаетъ говорить, говорить, говорить... Безъ книги, но куда лучше всякой книги. Просто даже непостижимо... На глаза сами собой напрашиваются слезы, а въ сердцѣ замиранье какое-то и сладость, сладость безконечная... И все слушаль-бы, все глядѣль-бы, все поучался-бы, затаивъ въ груди дыханіе и не пропуская ни единой черты, ни единой іоты. Одно слово: музыка райская, труба Господня—да и все тутъ...

А этотъ печальный стихъ? Это искаженное мукой лицо? Эти крупныя, горькія слезы?...

О-о-о, поневолѣ, услышавъ и увидѣвъ все это разъ, неуждержимо потянетъ услышать и увидѣть и еще разъ...

и преданъ суду. Слова распѣвца „на стулѣ“, т. е. въ темничныхъ колодкахъ, какъ разъ и говорятъ объ этомъ именно моментѣ. Первый допросъ ему былъ произведенъ „у Тулѣ“, т. е. въ г. Тулѣ. Потомъ его допрашивали „въ Морши“, т. е. Моршанскѣ, Тамбовской губ. Въ д. Сосновкѣ, близъ этого города, онъ былъ подвергнутъ публичному наказанію: его били плетью, обливали голову сургучемъ, драли ротъ, носъ, уши и пр. Слѣдствіе производилъ нѣкто Волковъ, котораго и надобно разумѣть подъ „Пилатою“. Въ томъ-же 1775 г. онъ былъ сосланъ въ Нерчинскъ.

IX.

Гакъ оно и было.

Все чаще и чаще стали появляться въ банѣ, вмѣстѣ съ новоприходящими, одни и тѣ же лица.

Но особенно зачастили, желая до конца уразумѣть «ни-спосланные черезъ Оому глаголы», пророкъ Игнатъ и богородица Катерина. Ихъ такъ увлекла, такъ поразила проповѣдь Оомы, что они стали почти ежедневными собесѣдниками послѣдняго, приходя раньше всѣхъ и уходя послѣ всѣхъ.

И дивное диво: по мѣрѣ того, какъ они вникали и усвоили Оомины «глаголы», всѣ братья-корабельщики и сестры-корабельщицы стали подмѣчать въ нихъ что-то странное и до тѣхъ поръ за ними небывалое. Общительные предъ тѣмъ, жизнерадостные, веселые, они стали постепенно какими-то вялыми, постными, молчаливыми, отъ всѣхъ сторонились, избѣгали всякаго веселья, всякихъ шумныхъ разговоровъ, даже какъ будто и къ общему «радѣнью» охладѣли, а о «вечеряхъ любви» да о «духовномъ супружествѣ»¹, казалось, и совсѣмъ забыли...

Подобная перемѣна въ пророкѣ и «Богородицѣ», естественно, всѣхъ заинтересовала. Начались догадки, предположенія. И въ то время, какъ одни видѣли во всемъ этомъ простое недомоганіе и наперерывъ совѣтовали напиться настоя водки на осиновой корѣ пополамъ съ «Кавыкой травой» и потомъ дать на ночь укусить больное мѣсто крысъ; другіе, тоже болѣе или менѣе часто посѣщавшіе Оому, усматривали здѣсь нѣчто болѣе глубокое: особый «персть Божій», особое «чудотворное» воздѣйствіе Ооминой «благодати».

Между тѣмъ дѣло обстояло много проще.

¹ Такъ хлысты величаютъ свальный грѣхъ послѣ своихъ „вечерней любви“.

Во тѣмъ вѣковой.

Подмѣтивъ въ характерѣ Игната и Катерины какую-то болѣзненную склонность увлекаться всѣмъ необычнымъ и таинственнымъ и проистекающее отсюда особенное вниманіе съ ихъ стороны къ своимъ рѣчамъ, Оома ихъ-то именно и облюбовалъ сдѣлать первыми жигалевскими прозелитами своей «богодухновенной» чистоты.

Съ этой цѣлью онъ при всякомъ удобномъ случаѣ началъ оставлять ихъ у себя долѣе, чѣмъ всѣхъ остальныхъ своихъ слушателей, и бесѣдовать съ ними особо. А когда увидѣлъ, что они заинтересованы и подготовлены сравнительно достаточно, предложилъ имъ приходить къ себѣ для болѣе подробнаго «наставленья» по ночамъ, но—такъ, чтобы никто въ хороминѣ и на селѣ того не зналъ.

И вотъ на этихъ-то потаенныхъ ночныхъ бесѣдахъ, полныхъ прелести и неизсякаемаго наслажденія уже потому, что онѣ были необычны и таинственны и попасть на нихъ незамѣченными иногда представляло довольно большія трудности, Оома уже прямо, безъ всякихъ недомолвокъ и намековъ, постепенно и посвятилъ ихъ во всѣ «благодатныя» особенности и преимущества предъ всѣмъ прочимъ въ томъ-же родѣ того «золотого» сіонскаго царства, въ которое «отъ вѣка» ведетъ своихъ избранныхъ «тайный бѣлый царь».¹

Предъ изумленными взорами хлыстовскаго пророка и хлыстовской Богородицы постепенно развернулась поразительная картина.

Точно въ сказкѣ какой всталъ предъ ними, по манію волшебника-разсказчика, во всемъ своемъ «неизрѣченномъ» величіи самъ этотъ, до сихъ поръ по слѣпотѣ невѣданный ими, «тайный бѣлый царь», который-то, какъ оказывается, и есть единственно истинный «единородный Сынъ Божій», «второй Христосъ», Петръ свѣтъ Θεодоровичъ².

¹ Такъ скопцы называютъ своего лжеискупителя Кондратія Селиванова.

² По вѣрованію скопцовъ, Кондратій Селивановъ—не кто другой, какъ русскій императоръ Петръ III-й.

Шагъ за шагомъ они узнали, что этотъ «тайный бѣлый царь» всевѣдущъ, всемогущъ, что онъ имѣетъ власть вязать и рѣшить грѣхи, воскрешать мертвыхъ и вообще — настолько обладаетъ полнотою божества, что въ немъ пребываетъ «и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ самъ Господь Саваоѣ даже и съ ручками, и съ ножками».

Узнали, что родила его пречистая приснодѣва Богородица, «разблажившись Духомъ святымъ»,—родила «отъ тысячи колѣнъ царскихъ и всѣхъ родовъ государскихъ». И когда родила, то будто-бы «вся вселенная перекрестилась, земля и небо обновились, ангелы, архангелы и всѣ вои небесные помолились, а стѣны адовы повалялись».

Узнали, далѣе, что этотъ чудный «тайный бѣлый царь», достигши совершеннolѣтiя, вступилъ на россійскій престолъ, но, по проискамъ «безбожныхъ iудеевъ» и «злыхъ фарисеевъ», принужденъ былъ оставить свое царство и долго скитаться по чужимъ «заграничнымъ» странамъ, тщательно скрывая отъ всѣхъ свое царское достоинство. А когда вернулся обратно въ Россiю, то, какъ-бы готовясь къ своему общественному служенiю въ роли «Искупителя», прiялъ на себя «подвигъ безмолвiя» и первое время жилъ въ Орловской губернiи, гдѣ пребывала въ то время его «святая богородица» Акулина Ивановна.

Узнали, что по истеченiи «положенныхъ» временъ онъ «объявилъ» себя миру и началъ свою искупительную дѣятельность, проповѣдуя всѣмъ «лѣто благоприятное», т. е. «чистоту и убѣленье—жала грѣховнаго притупленье». И какъ первый Христосъ за свою проповѣдь подвергался гоненiямъ со стороны невѣрующихъ iудеевъ и фарисеевъ, такъ и онъ «второй Христосъ», претерпѣлъ мноiя «страды»—гоненья, озлобленья, бiенья, поруганья, охуленья, судъ, темницы и оплеванья. Затѣмъ, какъ первый Христосъ былъ распятъ на крестѣ, такъ и онъ, «второй Христосъ», «преданъ былъ

*

на крестъ»¹ и преданъ—о, ужась!—ихъ братьями-единосогласниками, заблудившимися въ своей жизни «людьми божіими»².

Но какъ первый Христосъ послѣ своихъ крестныхъ страданій и смерти торжественно воскресъ, такъ точно и онъ, «второй Христосъ», воскресъ и теперь живетъ среди людей, не желая оставить своихъ дѣтушекъ «безъ защитушки, безъ оградушки», чтобы они не сдѣлались добычею «звѣрей лютыхъ», которые могутъ безъ него, милостивца, «разогнать ихъ по темнымъ по лѣсамъ, по крутымъ по горамъ». Живетъ «въ смиренномъ образѣ», все равно что «во неволюшкѣ». Но придетъ «пора-времячко»—и онъ вновь явится міру, явится «съ силою и славою многою», явится за тѣмъ, чтобы судить міръ и, наказавъ своихъ недруговъ, вновь занять по праву принадлежащій ему російскій престолъ.

Узнали они, наконецъ, что эта «пора-времячко» уже близко. Скоро грянетъ «государь-батюшка» во всѣ свои двѣнадцать трубъ, и тогда «сырая земля потрясется, небеса поколеблются, Божьи люди перепугаются», вся вселенная стономъ застонетъ отъ страха и горюшка, потому что «государь-батюшка» постоитъ только за своихъ дѣтушекъ, за своихъ «вѣрныхъ, святыхъ и праведныхъ голубей». Всѣмъ же остальнымъ, которые не хотѣли въ свое время «про батюшку трубить», «будутъ головы рубить»...

¹ Крестную смерть своего Христа Селиванова скопцы видятъ въ публичномъ наказаніи его въ д. Сосновкѣ, близъ г. Моршанска, Тамбовской губерніи. При этомъ они стараются провести параллель между обстоятельствами этого наказанія и евангельскимъ рассказомъ, видя, напр., въ Волковѣ—Пилата, въ предателяхъ-хлыстахъ—іудеевъ, въ спинѣ мужика, на которой, по обычаю того времени, наказывали лжеискупителя,—крестное древо, въ рѣчкѣ, которая протекаетъ около Сосновки—потокъ Кедронъ и пр.

² Что Селиванова выдали правительству именно хлысты, это видно изъ слѣдующихъ словъ его самого: „А на крестъ меня отдали іудеямъ *Божьи люди*, а жилъ я тогда у жены грѣшницы, Феодосьи Іевлевны, въ домѣ; она меня приняла, а свои не приняли и доказали и привели въ домъ ея солдатъ“...

— Подите прочь, въ темную ночь!—воодушевляясь самъ и, по обыкновенію, размахивая руками, ораторствовалъ предъ Игнатомъ и Катериной Ѳома.—Прочь, иродовы недовѣрки, предатели-христораспинатели, въ веселіи и смѣхѣ, въ чревоуслажденіи и женолюбіи дніе свои иждивающіе! Въ огонь! Въ смолу! Къ червямъ, присно ядушимъ и николиже сытыми бывающимъ! Тамъ ваше мѣсто! Туда грядите, ибо не вѣмъ, откуда естé...

— Боже мой, Боже мой, и это—мы! Это мы—предатели, это мы—христораспинатели, мы—въ огонь и въ смолу, мы—къ этимъ ужаснымъ адскимъ червямъ!—съ ужасомъ думаютъ Игнатъ и Катерина, обливаясь холоднымъ потомъ и дрожа всѣми членами.

Услужливое воображеніе до безобразія выпукло и ярко накидало предъ ними потрясающую картину.

Какая-то глубокая, непроницаемо-густая тьма. И въ этой тьмѣ—огонь. Особый огонь: лишенный сіянія... Онъ жжетъ. Страшно, нестерпимо жжетъ... И чадъ кругомъ. Смердъ... И въ этомъ темномъ огненномъ, кипящемъ смрадномъ морѣ—они... Ихъ головы, руки, ноги—все горитъ, все вздувается, шипитъ, лопается, обугливается. И когда обуглится, сейчасъ-же вновь какимъ-то чудомъ возраждается за тѣмъ, чтобы вновь начать такъ-же мучительно горѣть и обугливаться... А внутри—черви... Длинные, кольчатые, безногіе и толстые, какъ канатъ, они шевелятся, ползаютъ, присасываются и къ мозгу, и къ сердцу... и гложутъ, гложутъ... Брр...

— Господи, и это—мы? И это—насъ?!

А тѣмъ временемъ, какъ они такъ раздумывали, Ѳома, пронизывая ихъ своими блестящими какъ уголья глазами, продолжалъ:

— Покайтесь, пока еще есть время! Увѣруйте! Очиститесь!

— Сбросьте съ душъ и тѣлесъ вашихъ жерновъ осельный, въ пучину адову васъ, бѣдныхъ, влекущій!..

— Да, да... Покаяться... увѣровать... очиститься...—едва

слышно шепчуть ему въ отвѣтъ побѣлѣвшіе и точно замершіе отъ ужаса «люди Божіи»...

И вотъ они ходятъ сами не свои. Вялые, постные, молчаливые. Избѣгаютъ всякаго веселья, всякихъ шумныхъ разговоровъ. Нѣтъ ихъ и за «вечерами любви», и въ «сокровенной» сіонской горницѣ, гдѣ, «по внушенію отъ духа святаго», жигалевскіе братья-корабельщики и сестры-корабельщицы отдаются «Христовой любви», взаимно «приводя» другъ друга въ познаніе «духовной и, яко душа, безсмертной супружеской тайны...»

X.

Переменная, происшедшая съ Игнатомъ и Катериной, не укрылась и отъ Евдокима. И онъ, вмѣстѣ съ другими, недоумѣвалъ и ломалъ себѣ голову, отыскивая ея причину.

— Что съ тобой? а?—обратился онъ какъ-то съ вопросомъ къ Игнату.

— А ничего, милостивецъ, ничего,—смущенно пробормоталъ въ отвѣтъ Игнатъ.

— Какъ ничего? Болитъ, вѣрно, што?

— Нѣтъ, милостивецъ, кажись, ничего не болитъ...

— Ну, такъ чево-жъ ты башку-то, точно торбу на гвоздь, повѣсилъ?

— А я и самъ не знаю. Такъ, вѣрно... Пройдетъ...

— Ну, а ты чево?—приступилъ онъ потомъ наединѣ къ Катеринѣ.

— Чево «чево»?—не глядя на сожителя-кормщика, смѣло отгрызнула послѣдняя.

— А фрей такой ходишь?

— А тебѣ што?

— Какъ «што»?!. Коли болитъ што, такъ и говори, што, молъ, болитъ. Къ Соломонидѣ пошла бы, обсовѣтовалась... Можетъ, она по бабьему своему дѣлу какъ ни на есть и облегчила-бы...

— А, отстань ты отъ меня! Ничего у меня не болѣло и не болитъ...

И, круто повернувшись, «Богородица» вышла вонъ изъ комнаты.

— Гм... «Не болитъ»!—недоумѣнно глядя на пустое мѣсто, на которомъ стояла только что вышедшая Катерина, бормочетъ Евдокимъ.—Не болитъ, а сама—што твоя курица на яйцахъ: и приступу нѣтъ... Ужли, какъ иные прочіе говорить, и въ самъ дѣлѣ отъ Оомы? а?..

И невольно чувство недовольства противъ Оомы въ немъ стало расти все болѣе и болѣе, переходя постепенно въ недоброжелательство и злобу.

Онъ какъ-то нутромъ началъ чутя, что Оома и вправду явился къ нему не даромъ; что съ былымъ другомъ на самомъ дѣлѣ произошло что-то неладное; что все его «смиренство»—только такъ, съ виду, показное, и есть, въ сущности, ничто иное, какъ какой-то дьявольски-хитрый и опасный «подвохъ» подъ него, Евдокима. Но, не умѣя разобратъся во всемъ этомъ, онъ терялся, волновался и молча робѣлъ. И чѣмъ больше терялся, чѣмъ больше волновался и робѣлъ, тѣмъ сильнѣе сердился и становился раздражительнѣе, угрюмѣе, подозрительнѣе.

Не имѣя еще рѣшительно никакихъ основаній быть открыто недовольнымъ на Оому, онъ тѣмъ не менѣе окружилъ его шпионами и сталъ зорко слѣдить за каждымъ его шагомъ.

— Такъ-то-съ лучше будетъ. По крайности, въ перехрыстку ¹ не втюкаюсь... А то ишь—мудрить!..

Особенно дѣятельными помощниками ему въ этомъ были—пророкъ Матвѣй и привратникъ Романъ, оба слѣпо преданные своему батюшкѣ—кормщику, а также—оттолкнутыя Оомой братская стряпуха Мавра и пророчица Авдотья.

¹ „Перехрыстка“—неожиданное нападеніе, засада, ловушка. Бродяжническое выраженіе.

Всѣ они то и дѣло сновали около бани, подглядывали, подслушивали, вступали съ приходящими къ Ѳомѣ въ разговоры, надѣясь узнать отъ нихъ чтонибудь особенное. Отъ нихъ Евдокимъ самымъ точнымъ образомъ зналъ и то, кто приходилъ ежедневно къ Ѳомѣ, откуда и долго ли былъ у Ѳомы, и то, что послѣдній говорилъ съ нимъ.

Всѣ полученныя такимъ путемъ свѣдѣнія онъ тщательно обсуждалъ потомъ со всѣхъ сторонъ, сilesя найти въ нихъ хотя какуюнибудь разгадку мучившихъ его сомнѣній и подозрѣній. Но разгадка пока не давалась.

Свѣдѣнія, доставляемыя шпионами, вмѣсто покоя приносили ему только еще новую муку, только еще болѣе взвинчивали батюшку-кормщика, ежеминутно направляя мысль его все въ одну и ту же пренеприятную сторону. Евдокимъ даже похудѣлъ и, что съ нимъ рѣдко когда бывало, отбился отъ сна и отъ ѣды.

Зная почти дословно содержаніе многихъ бесѣдъ Ѳомы съ жигалевскими братьями-корабельщиками, онъ, къ удивленію всѣхъ, принялся даже за книги, думая найти въ нихъ разъясненіе той заколдованной «чистоты», проповѣдникомъ которой такъ неожиданно-негаданно явился его былой другъ.

— «... Гѣло—членъ Христовъ и храмъ Духа святаго... Духомъ ходите и похоти плотскія не совершайте... Плоти убо бующи, и на всяко время и мѣсто ту умучимъ... Анггелъ сатанинъ»... Гмм... «Анггелъ сатанинъ»... Ничего не понимаю,—разсуждалъ самъ съ собой Евдокимъ, склонившись надъ книгой и въ сотый разъ перечитывая только что указанныя Ѳомой мѣста священныхъ книгъ. Все, какъ слѣдовать быть, такъ оно и есть. Коли «анггелъ сатанинъ», такъ и значитъ «анггелъ сатанинъ». Врагъ, тоись. Нечистый...¹. И

¹ Хлысты и скопцы стараются воздерживаться отъ употребленія словъ: „дiаволь“, „сатана“, „чортъ“ и проч. и вмѣсто этихъ словъ, оскверняющихъ, по ихъ мнѣнію, языкъ и утѣшающихъ обозначаемое ими существо, говорятъ: „врагъ“, „нечистый“ и „врагъ Божій“.

при чемъ же тутъ евоная чистота какая-то?! Опять же: «малъ квась все смѣшеніе квасить»... Ну «квась»—квась и есть! Какъ ни перевертывай,—все квась, а не«чистота» твоя будетъ... Ужъ говорилъ бы прямо, што на стары хлѣба явился, ссадить меня удумаль! Такъ нѣтъ! поломаться, вишь ты, еще нужно, блаженненькимъ прослыть, пыль въ глаза пустить... «На-те, молъ, добрые люди, полюбуйтеь, каковъ я есмь за человѣкъ: не то, што Евдокишка вашъ какой-то...» Эхъ ты, меринадъ староветошный! Право слово: меринадъ... А еще другомъ прозывался, вмѣстяхъ саватейки стрѣляль ¹. Не другъ ты, а ворогъ, я вижу,—вотъ што!..

Въ такомъ томительно-неопредѣленномъ положеніи дѣло находилось до тѣхъ поръ, пока Евдокимъ не узналъ о ночныхъ бесѣдахъ *Θомы* съ Игнатомъ и Катериной.

Произошло это открытіе совершенно случайно.

Проснувшись какъ-то ночью, Мавра вдругъ услышала какую-то возню въ сѣняхъ. Обогнувшись ² и вздувши огонь, она вышла, глянула—и ахнула: оставшаяся отъ ужина рыба, кусокъ пирога, латка ³ молока—все это было разлито, разбросано, обгрызано. Громадный черный песь съ перепачканной въ молоко мордой и большимъ кускомъ рыбы въ зубакъ, глухо ворча, шарахнулся во дворъ. Мавра бросилась было за нимъ, но свѣча вдругъ потухла, такъ какъ калитка въ садъ оказалась распахнутой настезь, и въ нее, точно въ трубу, тянулъ пронизывающій насквозь глубникъ ⁴.

Ахая и причитая объ убыткахъ, она бросилась въ боковушку и растолкала Романа.

— Ты што жъ, стрили тя, дрыхнешь тутъ? а?

— А што?—протирая глаза, испуганно вскочилъ Романъ.

¹ „Стрѣляль саватейки“ — вымогать милостыню. Бродяжническое выраженіе.

² „Обогнувшись“ — одѣвшись.

³ „Латка“—глиняный горшокъ съ низкими прямыми краями.

⁴ „Глубникъ“—холодный сѣверный вѣтеръ, дующій поздней осенью.

— Какъ «што»? Гдѣ у ти калитка-то?

— Кака калитка?

— А въ садъ?

— Гдѣ! На дворѣ,—вотъ гдѣ!

— Тьфу, дуракъ! Не про то спрашиваютъ... Почему не заперъ-то ее?

— Какъ «не заперъ»? Заперъ. Какъ смерклось, такъ и заперъ. Самъ и заперъ...

— «За-перъ»!—передразнила Мавра. — Хорошо заперъ! Поди-ко-съ погляди!... Вотъ теперя и отвѣчай самъ, коли про рыбу батюшка спросить...

Переругиваясь и сваливая другъ на друга вину, Романъ и Мавра вышли на дворъ и прошли къ калиткѣ. Но только что они шагнули за калитку въ садъ, какъ въ банѣ хлопнула дверь, и по вѣтру ясно донесся до нихъ Ѳоминый голосъ:

— Осторожнѣй, осторожнѣй, смотрите! Чтобъ не пронюхаль кто!..

Романъ пнулъ Мавру въ бокъ и почти силкомъ втащилъ ее обратно во дворъ. Черезъ минуту послѣ нихъ во дворъ вошли пророкъ Игнатъ и «Богородица» Катерина.

— Видала?—прошепталъ Романъ, когда и тотъ и другая шмыгнули къ себѣ.

— Ахъ-ахъ-ахъ! Ахъ-ахъ-ахъ!—заахала дородная стряпуха.

— Тсс! Помалкивай!.. Завтра безпримѣнно надеть батюшкѣ-кормщику обо всемъ разказать...

И Романъ разказалъ...

Точно страшный раскатъ грома разразился внезапно надъ головой Евдокима: такъ оглушило и поразило его извѣстiе о ночныхъ похожденияхъ Игната и Катерины. Онъ даже присѣлъ и, словно юкаменѣлый, минутъ пять сидѣлъ истуканъ истуканомъ. Въ похолодѣвшей головѣ его, казалось, не мозгъ, а огромная знобящая ледяная глыба, на которую съ адской жестокостью лилъ кто-то каплю за каплей какую-то расплавленную искрящуюся массу. И капли этой расплавлен-

ной массы съ мучительной болью, шипя, продыравливали эту ледяную глыбу во всѣхъ направлєніяхъ, сталкивались между собою и, сталкиваясь, какъ-то странно, со звономъ, точно бомбы, лопали и выпускали изъ себя всякій разъ по ѣдкому, горькому и до бѣшенства обидному словечку. Словечки эти прыгали, вертѣлись, мгновенно заполняли собою прожженныя въ льдинѣ дыры и тамъ, цѣпляясь другъ за друга, складывались въ цѣлыя фразы. Ужасныя фразы! Онѣ перекликаются между собою, дразнятъ его, Евдокима, высовываютъ ему свои змѣиныя жала и общимъ хоромъ хохочуть надъ нимъ, дико, безумно хохочуть...

— Какъ, и она?—вотъ, словно колоколь, гукнула одна изъ нихъ справа.

— Да, да... И она,—захлебываясь отъ непріятнаго хихикающаго смѣха, рѣзко пропишала въ отвѣтъ другая.—И она, твоя, бабушка-кормщикъ, «Богородица», твоя блѣднолицая черноокая красавица Катря, которую ты съ такимъ трудомъ «привелъ на кругъ»⁴, съ которой сроднился, которую полюбилъ всей силой своей варнацкой души,—дико, животно, до ревнивой ненависти, до кроваваго смертоубійства...

— Но зачѣмъ-же?—ядовито спрашиваетъ третья.

— Какъ зачѣмъ?—гогочетъ четвертая.—А «чистота»? А «запалєніе»? А «уязвлєніе», «отсѣцємъ», «ключъ бездны», «маль квась» и прочіе экивоки?.. Или забылъ?..

— Но при чемъ-же тутъ все это?

— А это ужъ ты, милый человѣкъ, ее спроси. Она за тѣмъ и ходила. Она отъ того и перемѣнилась. Она все и знаетъ...

Евдокимъ вздрогнулъ, застоналъ и, словно подбрюшенный какой-то невидимой пружиной, вскочилъ на ноги. И это былъ уже совсѣмъ не тотъ человѣкъ, что выжидалъ, трусливо молчалъ и сдерживался: это былъ дикій звѣрь, готовый, очертя голову, броситься безъ разбора на всѣхъ и вся,

⁴ Т. е. обратилъ въ хлыстовство.

лишь бы только отстоять и вернуть себѣ свое взлелѣванное дѣтище.

Онъ выпрямился во весь свой богатырскій ростъ, шагнулъ къ Роману и хрипло буркнулъ:

— Гдѣ она?

Но, не дожидаясь отвѣта, грубо оттолкнулъ его и пошелъ въ комнату «Богородицы».

Черезъ минуту оттуда раздалась на весь домъ крикливая, беспорядочная ругань.

— А-а-а, такъ и ты къ нему? Да еще и по ночамъ?.. Говори, зачѣмъ ходила?—рѣзко, точно обрубая, ухаль Евдокимовъ голосъ.

— А не твое дѣло!—прозвенѣла Катерина.

— Не мое?.. Не мое?.. Говори!—говорю..

— Да што говорить-тс?.. Не хочу я вмѣстяхъ съ тобой во грѣхѣ жить—вотъ и все!.. Нечистъ ты... Христораспинатель... Въ огонь, въ смолу пойдешь...

— Какъ—«въ огонь и въ смолу»?

— А такъ и въ смолу! Потому—«чистоты» Господней въ тебѣ нѣтъ...

— А-а-а, такъ ты такъ? Такъ и ты про чистоту заговорила?.. Такъ вотъ же тебѣ! На! Получай!..

Послышалась возня, глухіе удары, отчаянныя взвизгиванія, стоны, всхлипыванія...

Всѣ обитатели дома, встревоженные такими необычными звуками, бросились было сначала наверхъ, къ комнатѣ «Богородицы», но, узнавъ въ чемъ дѣло, со страхомъ попрятались по своимъ угламъ.

XI.

Между тѣмъ Евдокимъ, въ кровь избивъ свою ненаглядную «Богородицу» Катрю, трясущійся, со всклокоченными волосами, сопя какъ медвѣдь, направился въ баню, твердо

рѣшивъ разомъ положить всему конецъ, т. е. досконально вывѣдать отъ Оомы—зачѣмъ онъ къ нему явился и что ему отъ него, Евдокима, надобно.

— А, Евдокиша!—встрѣтилъ его ласково Оома, сидя за столомъ надъ раскрытой книгой.

Онъ ничего еще не зналъ про то, что его ночныя бесѣды съ Игнатомъ и Катериной открыты, а потому былъ совершенно покоенъ. Даже болѣе: онъ былъ веселъ и очень доволенъ, такъ какъ минувшей ночью воочию убѣдился, что хлыстовскій «пророкъ» и хлыстовская «Богородица» настолько прониклись его «голубинными» мыслями, что возврата къ старому для нихъ уже нѣтъ. Вслѣдствіе этого, отодвигая книгу, онъ еще ласковѣе кинулъ:

— Добро пожаловать, другъ ты мой сердечный!..

И вдругъ не только его веселость, но даже и покой точно вѣтромъ сдуло...

— Жалую, жалую, смутьянь ты бабій! Жалую!..

«Жалую?!» «Смутьянь?!».

Но кто же это говоритъ? Неужели Евдокимъ? И развѣ у него такой голосъ?..

Оома захлопнулъ книгу, откачнулся отъ стола, внимательно глянулъ на Евдокима и, какъ ужаленный, быстро поднялся съ своего мѣста: такъ поразилъ его до безумія взбѣшенный видъ жигалевского кормщика.

«Точь въ точь, какъ тогда, когда мы подъ Казанью, на сибиркѣ, Абдулку-татарина похѣрили»,—каленнымъ гвоздемъ рѣзнула его по мозгу тревожная мысль.

Съ минуту бывые друзья молча стояли другъ претивъ друга, наклонивъ впередъ головы и немигаючи смотря другъ другу въ глаза.

Страшенъ былъ Евдокимъ: лицо перекосилось, нижняя челюсть отвисла и нервно подпрыгивала, глаза округлились и налились кровью, на вискахъ канатами проступили синія узловатыя жилы... Но не менѣе страшенъ стоялъ передъ

нимъ и Оома: животный страхъ за свою жизнь пробудиль и въ немъ былого «камышника»¹.

Казалось, вотъ-вотъ они бросятся другъ на друга, одинъ сильный, но, какъ быкъ, неповоротливый, а другой слабый, зато, какъ лиса, хитрый и находчивый; сцѣплятся между собою—и тогда пиши пропало: одному, навѣрное, не сдобровать...

— Да что ты, Евдокишка? а? Въ умѣ, что-ли?—очнулся, наконецъ, Оома.

— Какъ есть въ умѣ,—съ трудомъ, скрипучимъ, какъ намазанное колесо, басомъ прохрипѣлъ Евдокимъ.

— Ну, такъ чево-жъ ты бѣлма-то выпучиль, точно бананъ подъ обухомъ?

— А то и выпучиль, што вотъ ты до какихъ поръ меня доѣлъ!

Евдокимъ чиркнулъ слѣва направо по горлу рукой.

— Тебя? Доѣлъ?.. Я?!.—съ неподдѣльнымъ изумленіемъ переспросилъ Оома.

— А то кто-жъ?

— Да чѣмъ-же это я тебя доѣлъ?

— А тѣмъ и доѣлъ, што рази можно такъ?

— Что «можно»?

— А то и можно!.. Экивоки тамъ разные... Чистота какая-то... уязвленіе... смиренство... бесѣды по ночамъ... Окромя-жъ всего прочаго и... да што съ тобой толковать: чать самъ знаешь,—вотъ што!..

— Те-те-те! Постой, постой, дурова твоя башка!.. И чего жъ ты худого нашель въ моихъ бесѣдахъ? а? Ты слышаль ихъ? а? Былъ на нихъ? а?

— Быть-то не былъ, а все-жъ оно какъ-то тово... *по ночамъ...*

По лицу Оомы скользнуло темное облачко. Онъ теперь

¹ «Камышникъ»—бродяга, опасный челоѣкъ, разбойникъ.

ясно понялъ, изъ-за чего сыр-боръ загорѣлся, и тревожное состояніе его, вслѣдствіе этого, еще болѣе усилилось.

«Такъ вотъ оно что! *По-на-лись*, значить!»—молотомъ ткнуло его въ темя.

Онъ вздрогнулъ, поблѣднѣлъ. Но, желая подробнѣе вывѣдать отъ Евдокима, что именно извѣстно ему о его потаенныхъ бесѣдахъ съ Игнатомъ и Катериной, пересилилъ себя и продолжалъ:

— Ну-къ што-жъ што по ночамъ? Рази по ночамъ ужъ и бесѣдовать нельзя? а? давно-ль такой указъ вышелъ? а?... Ну-же, говори!..

Евдокимъ переминался съ ноги на ногу и пыхтѣлъ.

— А смиренство мое при чемъ тутъ? а? А чистота, которую я несу міру, рази не отъ Писанья? Не свышній даръ? а? Да и можешь ли ты, во грѣсѣхъ ся окалявый, понять ее, чистоту-то эфту? а? И каки таки экивоки ты нашель? гдѣ? въ чемъ?.. Да ну-же, говори!

— Да чево тебѣ говорить-то? Знамо, экивоки,—началь Евдокимъ.—Потому, вишь ты, все кругомъ да около. Все потаенки, да мутнѣе¹. Все чистота, да чистота. А кака така чистота—и песь ее знаетъ!.. Опять же насчетъ Катерины.

Но, не умѣя высказать того, въ чемъ-же, въ самомъ дѣлѣ, заключаются Ѳомины «экивоки» и чѣмъ-же, собственно, худа проповѣдуемая Ѳомой чистота, чѣмъ предосудительны Ѳомино смиренство и его ночныя бесѣды съ Игнатомъ и Катериной и—главное—какое отношеніе все это имѣеть къ нему, Евдокиму; онъ смѣшался, запутался, покраснѣлъ и, наконецъ, безтолково хлопая глазами, замолкъ. И по мѣрѣ того, какъ Евдокимъ, не зная что сказать, конфузился все болѣе и болѣе, на лицѣ Ѳомы все яснѣе и рѣзче выступала складка обычной, но одно время покинувшей было его са-

¹ «Мутнѣе»—смута, заговоръ, стачка, тайное подстрекательство на бунтъ.

моувѣренности и горделиваго сознанія своего превосходства. А когда Евдокимъ окончательно смолкъ, *Θома* почти совсѣмъ оправился и, смекнувъ, что хлыстовскій кормщикъ ничего путемъ еще не знаетъ про его ночныя рѣчи о скопчествѣ, смѣло глянулъ ему въ лицо, усмѣхнулся едва замѣтно и, съ цѣлью обратить все въ шутку, дѣланно-добродушнымъ тономъ проговорилъ:

— Эхъ ты, тетеревъ! Право слово—тетеревъ... Нѣтъ того, чтобы придти да легонько, тихонько, по дружески побесѣдовать,—сичасъ шумѣть, кричать, буйнить... Чудакъ—одно слово... Ну садись да Расскажи толкомъ, что тебя тамъ такое разобидѣло?..

Евдокимъ, рѣшительно сбитый съ позиціи, послушно опустился на скамейку и, не глядя на *Θому*, смущенно забормоталъ:

— Видишь-ли, *Θома*, ты самъ знаешь, што я всегда къ тебѣ съ почтеніемъ. Другъ—одно слово. Ну и прости! Погорячился, значить...

Такимъ образомъ, гроза пока что громыхнула—да и смолкла.

— Ну, ну, ладно! Дальше-то, говори, что?—окончательно успокоившись, спросилъ *Θома*.

— Да што дальше-то! Дальше-то вотъ опять оно то же самое и выходитъ. Одно слово—сдѣлай ты мнѣ божескую милость: раздолбай ¹, пожалуста, напрямки, што эфто за чистота такая особливая завелась у тебя, потому какъ съ чистоты-то съ эфтой все и пошло...

— Что за «чистота» спрашиваешь?—точно не разслышавъ и какъ-то бокомъ подавшись вдругъ впередъ, переспросилъ *Θома*.

— Вотъ, вотъ.

— И «напрямки» говоришь?—впиваясь въ Евдокима яркими глазами и затаивъ дыханіе, еще разъ переспросилъ *Θома*.

¹ «Раздолбай»—растолкуй, Расскажи.

— Да ужъ такъ,—не понимая, что могло вдругъ взволновать *Θома*, пробормоталъ Евдокимъ.

— Такъ *тѣкъ* говоришь?..

Θома точно замеръ. Страшная блѣдность вновь покрыла его землисто-желтое лицо. Уставившись глазами въ уголь и то расширяя, то суживая ихъ, онъ, казалось, мучительно раздумывалъ надъ чѣмъ-то—быть ему или не быть? Въ головѣ его опять промелькнула зачѣмъ-то отвратительная обстановка мѣдновскаго происшествія: баня, Ерошка, озвѣрѣлая толпа мужиковъ, темный осинникъ и ужасная ночная трава. Потомъ припомнилась Лепша, Дуня, хлыстовскій тайникъ, двѣ желѣзныя руки, мертвымъ обручомъ сжимавшя его горло... А рядомъ съ этимъ—ликующей божественной «*Сіонъ*», царь-батюшка «*Искупитель*», его судъ надъ землею, будущая награда за «*страстотерпство*», неизреченное блаженство... И по мѣрѣ того, какъ припоминалось все это, *Θома* то какъ будто-бы рѣшался на что-то, то вдругъ начиналъ колебаться, сомнѣваться и вновь перерѣшать принятое рѣшеніе. Посинѣлыя губы его то скривлялись въ восторженно-блаженную улыбку, то беззвучно шевелились, опасно повторяя въ сотый разъ:

— Такъ «*тѣкъ*», говоришь? *Такъ*?..

Такъ продолжалось минуты съ двѣ.

Напряженная, мертвая тишина прерывалась лишь воемъ непогоды, съ силой хлеставшей по крышѣ обнаженными сучьями старыхъ вѣтвистыхъ ветель.

Вдругъ *Θома* вскочилъ на ноги, точно пьяный, покачиваясь, метнулся къ порогу, а потомъ, круто обернувшись и вплотную подошедши къ Харлову, весь покрытый каплями холоднаго пота, задыхающійся, чуть слышно прошепталъ:

— Ты бы вотъ, Евдокиша, чѣмъ о блудномъ житіи-то печалиться, покончилъ бы съ соблазномъ-то!

— То-ись какъ эфто?—спросилъ, въ свою очередь, Евдокимъ, все время съ недоумѣніемъ слѣдившій за своимъ другомъ.

— А вотъ какъ!

И Оома сдѣлалъ выразительный жестъ.

Евдокима точно въ прорубь окунули. Онъ съежился и со страхомъ и оторопью вытаращилъ на Оому глаза, не понимая, дѣйствительно-ли такъ ему все это было сказано и показано, или же все это ему только лишь послышалось, почудилось, померещилось. Но нѣтъ! Сомнѣнія быть не могутъ. Оома дѣйствительно стоитъ передъ нимъ и, пронизывая его насквозь своими злыми ястребиными глазами, съ лихорадочнымъ нетерпѣниемъ ждетъ такого или иного отвѣта.

— Послушай, Оома,—гадливо поморщившись и вздрогнувъ съ головы до пятокъ, очнулся, наконецъ, Евдокимъ:— аль ты за мерина меня считаешь? А?

— Не за мерина, а за скопца, «иже оскопи самъ себѣ царствія ради небеснаго»¹...

— За скоп-ца?!. И ты не шутишь?

— Нисколько.

Евдокимъ инстинктивно отодвинулся отъ Оомы, помолчалъ съ минуту и потомъ, какъ бы спохватившись и что-то припомнивъ, торопливо спросилъ:

— Такъ въ этомъ-то и чистота твоя?

— Въ этомъ.

— Это ты и проповѣдуешь всѣмъ?

— Это.

— Стало быть, на нашъ согласъ-то хрестъ поставилъ? Откачнулся отъ него?

— Самъ понимай.

— Чудно и дивно. Самъ-же уставишь, самъ-же и разрушаешь теперь?

— Не разрушаю, а исправляю и восполняю. Преисподняя и грѣховная на горняя и святая прелагаю...

— Гм... «На горняя и святая»... Чудно!.. И ужли, скажи на милость, есть таки дураки на свѣтѣ што слушаютъ тебя?

¹ Мѡ. XIX гл, 12 ст

— Зачѣмъ «дураки»? Не дураки, а свѣтозарные воины «тайнаго бѣлаго царя». Агнцы непорочные. Первенцы земли искупленные. Голуби чистые, аггелла сатанина крещеніемъ огненнымъ въ себѣ сокрушившіе...

— Огненнымъ?!—недоумѣло расширивъ глаза, переспросилъ Евдокимъ.

— Ну, да. Огненнымъ. Зане писано есть: «Той вы креститъ Духомъ Святымъ и *огнемъ*» ¹ и индѣ: «*Огня* приидохъ воврещи на землю, и что хочу, аще уже возгорѣся» ². Паки же: «Проидохомъ же сквозѣ *огнь* и воду и извелъ еси ны въ покой» ³.

— Дивно, дивно!

— Заладилъ: «дивно»! И чего ты дивнаго нашель? Ничего дивнаго нѣтъ. Такъ оно искони было, только люди позабыли. Самъ же Саваоѣъ вашъ Данила Филиппычъ заповѣдалъ: «Живи съ женою, какъ съ сестрою. Неженимые не женитесь, а женимые разженитесь» ⁴. И паки: «Проклятію, треклятію и четвероклятію подлежитъ всякъ женолюбецъ» ⁵. А вы что дѣлаете? И ужли ты николи не читаль: «Откуду брани и свары въ васъ? Не отсюду ли, не отъ сластей ли вашихъ, воюющихъ во удѣхъ вашихъ?» ⁶ Потому-то и сказано: «Да упразднится тѣло грѣховное» и паки: «Умертвите

¹ Мѡ. III гл., 11 ст.

² Лук. XII гл., 49 ст.

³ Пс. LXV, 12.

⁴ VI-я заповѣдь Данилы Филипповича. Эта заповѣдь, не разъ повторенная разными лжехристами и пророками, предписываетъ хлыстамъ безусловное воздержаніе отъ плотскаго сожитія съ женщинами. Но хлысты сѣумѣли обойти на практикѣ прямой и ясный смыслъ этой заповѣди своимъ ученіемъ о «духовномъ супружествѣ», и въ ихъ средѣ, какъ извѣстно, царитъ самый непокрытый, безстыдный развратъ. Желаніе устранить этотъ развратъ и возстановить хлыстовство въ первоначальной его чистотѣ и натолкнуло, собственно, Селиванова на ученіе объ оскотленіи, какъ вѣрномъ средствѣ воздержанія.

⁵ Слова извѣстной хлыстовской «Богородицы Авдотьи».

⁶ Соб. посл. Іакова IV гл., 1 ст.

уды ваша, яже—блудъ, нечистоту, страсть и похоть злую»¹, занè «любь міра сего вражда Богу есть»² и «уне бо ти есть, да погибнетъ единъ отъ удъ твоихъ, а не все тѣло твое ввержено будетъ въ геену огненную»³. А законоположникъ рази не говоритъ: «Погубится душа отъ рода своего у того, кто не обрѣжетъ плоти крайнія своя въ день осмый»?⁴. А пророкъ Исаія такожде не глаголетъ ли: «Каженникамъ лучшее мѣсто сыновъ и дщерей дается»?⁵ А апостоль не вѣщаетъ ли: «Неоженивыйся печется о господнихъ, какъ угодити Господеви, а оженивыйся печется о мірскихъ, какъ угодити женѣ»?..⁶ Ты вникни и разсуди: куда ведетъ тебя твое жало грѣховное, твой змій-похотникъ? Въ темную ночь, въ огонь, въ смолу. Занè речено: «Блудники и прелюбодѣи и сквернители тѣлесѣмъ своимъ отыдутъ во огонь негасимый во вѣки. И горе имъ будетъ, яко никтоже имъ подасть воды когда, ни ороси главы ихъ, ниже остудитъ персть единъ рукъ ихъ, ни паки угаснетъ или перемѣнитъ теченіе свое рѣка, или утишатся быстрины рѣцѣ огненнѣи, но во вѣки не угаснетъ никогдаже»⁷...

¹ Колос. III гл., 5 ст.

² Соб. посл. Іакова IV гл., 4 ст.

³ Мѡ. XVIII гл., 8—9 ст.

⁴ Быт. XVII гл., 14 ст.

⁵ «Каженникъ»—скопецъ. Ис. LVI гл., 4—7 ст.

⁶ I Кор. VII гл., 7, 32—33 ст.

⁷ См. Слово въ недѣлю мясопустную Палладія Мниха. Вообще, нужно сказать, скопцы, хотя и не придають особеннаго значенія книгамъ св. Писанія и святоотеческимъ твореніямъ, тѣмъ не менѣе не упускають рѣшительно ничего, что служить аки бы къ оправданію ихъ изувѣрнаго ученія. Они ссылаются чуть-ли не на всѣ священныя лица Вѣтхаго и Новаго завѣтовъ, видя въ нихъ послѣдователей своей секты. Такъ, по ихъ словамъ, были скопцами — и Адамъ съ Евой, и Ной, и Енохъ, и Авраамъ, и Моисей, а всѣ пророки, и самъ Іисусъ Христосъ, и апостолы, и вообще—вся христіанская Церковь до времени Константина Великаго. У насъ, на Руси, будто бы скопцами были и князья, и многіе митрополиты, и патріархи, напр. патріархъ Никонъ, который будто бы изъ-за

— Постой, постой, Оома! Постой!.. Ты вотъ говоришь все, што нужно эфто сдѣлать. А какъ же Богъ-то сотворилъ человѣка? А? И ужли-жъ ты умнѣе Бога, што поправлять Его удумалъ?

— А ты не мудрствуй, Евдокишка, — вотъ што! Богъ-то сотворилъ въ добро, а люди употребили во зло. Къ святости и чести все у насъ уготовлено, зане «тѣло наше—храмъ Духа Святаго», а люди взяли да и осквернили, въ лѣпость нечистую обратили, къ Велиаровой утѣхѣ приспособили...

— Постой, погоди!.. Ты вотъ сказалъ, што опосля всего эфтого «покой» наступить? Такъ?

— Ну, такъ.

— А коли такъ, такъ тогды зачѣмъ же ты бабъ-то смаливаешь къ себѣ?

— А зачѣмъ, чтобы и онѣ убѣлились, воспріяли «тайну Божію» и стали подъ знамя «царя-искупителя», потому какъ у насъ, словно у ангеловъ, «нѣсть мужескій полъ, ниже женскій», а «единный родъ избранъ, царское священіе, люди обновленія, Бога боящіеся, царя почитающіе...»

— Чудно. И окромя всего—страстотерпно и не всякому удобопріемлемо.

— Могій вмѣстити да вмѣститъ. Радѣть нужно да молитовки творить, чтобы царь-батюшка силы подалъ убить змію, покуда она еще на шею не вспрыгнула да на смерть не укусила, зане писано есть: «Аще едино лоно возбудится, все тѣло воспалится и, тако истлѣваемо, погибнетъ...»

скопчества и поссорился съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ. Особенно же много скопцовъ, говорятъ сектанты, было среди нашего русскаго рядового монашества. Въ подтвержденіе подобныхъ своихъ взглядовъ скопцы ссылаются не только на книги св. Писанія, но и на наши богослужебныя книги, прологи, четьи-минеи и проч.

— Т-а-акъ... Ну и што жъ самъ-то ты свою чистоту воспріялъ?

— Сподобиль Богъ.

Евдокимъ, точно проглотивъ какую-то противную, воющую гадость, брезгливо сплюнулъ и мотнулъ головой.

— И моихъ, поди, многихъ перепортилъ?

— А тебѣ-то что?—вспыхнулъ Оома, подмѣтивши брезгливый тонъ Евдокима.—Коли самъ во грѣхѣ торчать хошь и небесныхъ глаголовъ не слушаешь, такъ ты другимъ не указъ.

— Ой ли?

— А вотъ тебѣ и ой ли!

— Можетъ, ты и Игнашку съ Катериной обкарналъ?

— Можетъ, и обкарналъ. Тебѣ-то, спрашиву, што до эфтого?

Гроза опять надвинулась и загремѣла, такъ какъ при воспоминаніи о Катеринѣ кровь опять бросилась въ голову Евдокима. Онъ засопѣлъ и, сверкая глазами, злобно зарычалъ:

— А вотъ што! Коли ты, братъ, отъ нашего спасеннаго согласы откачнулся и нашей «тайнѣ небесной» измѣнилъ, то хышь ты и другъ мнѣ, а проваливай, откелева пришелъ. Насъ поучать, братъ, нѣча: мы сами учены—веревки сучены. Намъ и безъ твоей мудреной чистоты тутотко, братъ, хорошо, и смутьянить да народъ Божій калѣчить я тѣ не позволю!..

— О-го-го! Давно-ль ты, Евдокишка, таки безумны рѣчи супротивъ меня дерзать почалъ? А?

— Давно-ль—недавно-ль, а ужъ коли на то пошло, то—такъ!

— Ну, а если я не послушаюсь?

— Не слушаешь,—худо будетъ: накостыляю по первому числу. Слышишь?

— Та-та-та-та-та!..

— А вотъ тебѣ и «та-та-та»!..

— Хссс!.. Эфто што жъ: грозить мнѣ удумаль? А?.. Да знаешь ли ты, рабъ богопротивный, что я начхать на тя хочу? А?.. Иль ты забыль—кто ты? Запаятоваль, кто тебя на такую высоту превознесъ? Эхъ ты, песь неблагодарный...

— Забыть—не забыль: все какъ есть помню. А только то было время, да прошло. Тогда и ты другой былъ. Ну, значить, и рѣчи другія были...

— А теперь?

— А теперь—особъ статья. Ты—не нашъ, и я—не твой. Пойло разно—и корыто врозь. Одно слово шабашъ—да и все тутъ!..

— Тэкъ-съ... Ну, а если насчетъ «качествъ» ¹, каки за тобой обрѣтаются? А? Какъ ты на этотъ счетъ полагаешь? А?..

Евдокима передернуло. На лицо его легла темная судорожная тѣнь. Онъ засопѣлъ еще больше и какъ-то славенно, тихо, съ разстановкой, точно страшный грозовой ураганъ предъ рѣшительнымъ натискомъ, прохрипѣлъ:

— А што-жъ «качества»? А? Кто ихъ будетъ доказывать? а?.. Ты?! Такъ сунься! Попробуй!.. Вѣдь я вмѣстяхъ съ тобой всѣ фокусы-то продѣлываль,—вотъ што! Да!.. И ты, братъ, не больно на меня глотку-то разѣвай, а нето я тѣ такъ разину, што живымъ манеромъ баньки ² на лобъ выскочать!..

И Евдокимъ съ силой ударилъ волосатымъ кулакомъ по столу и грузно поднялся со скамьи, красный, угрожающий...

— Ужъ не убить-ли ты меня замыслилъ?—вскакивая тоже изъ-за стола, визгливо вскрикнулъ Оома.

— Убить—не убить, а вотъ тебѣ мой сказъ: убирайся отсюдова вонъ, да помни, што коли ты Катерину и всамдѣлѣ

¹ «Качество» съ острожнаго: всякое плутовство, разбой, грабежъ.

² «Баньки — глаза».

испортилъ, то лучше ты и на глаза мнѣ не кажись! Понялъ?..

И, энергично покрутивши въ воздухѣ кулакомъ, Евдокимъ круто повернулся и неторопливо, медвѣдь-медвѣдемъ, вышелъ вонъ изъ бани...

Гроза разразилась...

XII.

Евдокимъ ушелъ, а Оома долго еще стоялъ на томъ-же самомъ мѣстѣ, на которомъ оставилъ его хлыстовскій кормщикъ, время отъ времени укоризненно покачивая головой.

Онъ шагъ за шагомъ припоминалъ такъ неудачно законченную бесѣду съ своимъ бывлымъ другомъ и, чѣмъ ближе подходилъ къ концу ея, тѣмъ яснѣе начиналъ сознавать, что онъ опять, какъ и въ Мѣдновѣ, не выдержалъ, смальчиствовалъ, поторопился. Онъ понялъ, что сдѣлалъ непоправимую ошибку прежде всего уже въ томъ, что слишкомъ круто, безъ всякой почти подготовки, раскрылъ предъ Евдокимомъ свои сокровенныя цѣли, ради которыхъ пришелъ сюда и такъ долго и сравнительно удачно работалъ здѣсь. Понялъ далѣе, что ему никоимъ образомъ не слѣдовало озлоблять Евдокима, попеременно дразня его сластолюбивую натуру то оскопленіемъ Катерины, то напоминаніемъ о его неблагодарности. Наконецъ, что касается этихъ несчастныхъ Евдокимовыхъ «качествъ» въ прошломъ, то указывать на нихъ, а тѣмъ болѣе какъ будто-бы даже грозить ими—и совсѣмъ ужъ было не къ чему: глупость одна, ребячество—да и все тутъ...

— Э-эхъ, Оомка, Оомка! Весь вѣкъ прожилъ, а ума не нажилъ. Вѣдь самъ же ты про осторожность твердилъ! Самъ же ты не спѣшить ладилъ, съ Евдокишкой ухо востро держать хотѣлъ! Гдѣ-жъ ты былъ? Чего-жъ ты всего этого не сдѣлалъ?.. Какъ мальчишка опять втюрился. Поучили разъ—нѣтъ, мало: еще захотѣлъ... Ну, вотъ и выпутывайся

теперь, умная твоя голова! Покипятился, поерепенился—и уноси себя, пока цѣль! Вѣдь Евдокишка-то—вѣ какой: ляпнетъ—мокренько только станеть...

— И въ головѣ Оомы, помимо его воли, вновь съ поразительной отчетливостью во всѣхъ мельчайшихъ складкахъ всталъ залитый кровью трупъ Абдулки.

— Бррр... Удирать надо. Безпремѣнно удирать, потому—пути не будетъ...

«Удирать?»

Но... какъ-же тогда Катерина-то? Какъ-же Игнатъ?...

Какъ! А очень просто: съ собой прихватилъ—да и баста! Вѣдь они совсѣмъ почти уже готовы. Вѣдь только и осталось показать имъ, какъ меня нелегкая дернула показать то Евдокиму, што съ ними слѣлаютъ,—вотъ и все. Вѣдь даже еслибы этотъ прохвостъ Ромашка съ этой кувалдой Маврой и не пронюхали о ночныхъ бесѣдахъ, если-бы онъ, Оома, даже и выдержалъ себя съ Евдокимомъ какъ слѣдуетъ—все равно дней черезъ восемь-десять уводить ихъ нужно-бы было. Значитъ, днемъ раньше, днемъ позже—въ этомъ только и разница...

Положимъ, и еще одна есть закорючка. И даже не одна, а цѣлыхъ двѣ.

Во-первыхъ, жалковато, что народу-то ужъ очень мало пришлось «оправить»: всего-на-всего два человѣка. Кабы еще немножко обождать, такъ можетъ—и больше удалось-бы. А во-вторыхъ, тогда увести и теперь увести—далеко не одно и то-же. Тогда всталъ ночью, снарядилъ какъ слѣдуетъ—да и пошелъ себѣ съ Богомъ, безъ всякой опаски! Ну, а теперь еще подумать нужно, потому сторожить, навѣрное, начнутъ, поглядывать усиленно, подслушивать...

Впрочемъ, о первомъ и вспоминать не стоитъ. Поздно. Приходится уводить столько, сколько есть.

Что же касается второго, то тутъ, дѣйствительно, пораскинуть умомъ слѣдуетъ. Надо обставить дѣло такъ, чтобы, какъ говорится, комаръ носа не подточилъ. А для этого

прежде всего нужно во что-бы то ни стало Игната съ Катериной предупредить, чтобы они тоже готовились, а главное—чѣмъ-нибудь опять дѣла не подгадили. Ну, а далѣе—и виду не показывай, что въ эту ночь—во путь во дороженьку! Напротивъ, если кто придетъ для бесѣды,—обязательно нужно сказаться больнымъ: застудило, моль, въ ребрахъ что-то покалываетъ да и сотрясенье во всемъ чувствую. *Завтра*, дескать, приходите. Авось царь-батюшка облегченье пошлетъ, тогда, то-ись *завтра-то*, и побесѣдуемъ..

Рѣшивъ все это, Оома тотчасъ же принялся за выполненіе.

Согнувшись въ три погибели, онъ какой-то развинченной походкой, поминутно кряхтя и передыхая, направился, якобы за хлѣбомъ, въ кухню.

Тихо, пусто было въ кухнѣ.

Словоохочая и любопытная Мавра, крайне заинтересованная всѣмъ происшедшимъ за минувшую ночь и утро, не утерпѣла: сначала бросилась къ своимъ, въ различныя подпольныя «келійки» и «спуды», а наговорившись вдосталь тамъ, полетѣла сообщить все «по секрету» своей сосѣдкѣ—хлыстовкѣ Оеклѣ. Двѣ ея помощницы, по примѣру Мавры, тоже разбѣжались кто куда...

— Вотъ и расчудесно,—прошептала Оома и, оставивъ притворный немощный видъ и схвативъ съ полки ковригу хлѣба, быстро юркнулъ знакомымъ ему темнымъ проходомъ между «братскими» кладушками—въ повалушу, въ которой жилъ со времени его прихода «пророкъ» Игнатъ.

Послѣдній понуро сидѣлъ на постели, обхвативъ руками колѣна и уставившись красными отъ бессонницы глазами въ небольшое, скупо пропускавшее свѣтъ, оконце-отдушину.

Невеселыя думы бродили въ его головѣ.

Почти три года прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ, бездомный странникъ-нищевроль, побираясь Христовымъ именемъ, пришелъ въ село Жигалево и поселился, подъ видомъ батрака, въ домѣ Харлова. Сладкимъ праздникомъ показалось

ему «братское» житіе послѣ голода и холода бродячей жизни. Онъ поправился, подобрѣлъ и мало-по-малу, благодаря своему покладливому характеру, звонкому голосу, умѣнью бойко читать и писать и особому увлеченію братскими радѣньями, вошелъ даже въ почетъ и силу: изъ безроднаго Игнашки сдѣлался «пророкомъ» и, вмѣстѣ съ Матвѣемъ, ближайшимъ совѣтникомъ самого батюшки-кормщика: Казалось, чего-же еще больше?

Живи да во святомъ кругу ходи,
Христу-батюшкѣ служи,
Всѣхъ праведныхъ люби...

И, однако-же, на дѣлѣ вышло совсѣмъ не то.

Пришелъ этотъ «серафимоподобный» Оома Захарычъ, повелъ свое «чудострашное» житіе въ банькѣ, заговорилъ свои дивныя, неслыханныя «богодухновенныя» рѣчи—и этого самодовольнаго хлыстовскаго житія какъ не бывало. Выработанная нищесбродствомъ, но дремавшая за эти три года страсть ко всему новому, случайному и необычному вновь заговорила съ прежней силой. А тутъ еще образовавшаяся, благодаря безумному «радѣльному» верченью, пророчествованью, пѣнью «священныхъ» распѣвцевъ и ежедневному разглагольствованію на разныя «душеспасительныя» темы, какая-то болѣзненная склонность ко всему мистическому и таинственному! Все это, разбужненное и разожженное Оомой, подхватило его, наполнило его душу и унесло въ какомъ-то вихрѣ, далеко, высоко...

Какъ въ туманѣ ходилъ онъ къ этому прищлому чародѣю и полной чашей, не отрываясь, пилъ его таинственные «небесные глаголы»...

И вдругъ—трахъ, та-ра-рахъ!

Самая грубая, надоѣдливо-мелочная дѣйствительность спугнула волшебный туманъ, окатила его своими грязными, зловонными помоями и, окативши, еще смѣется, издѣвается надъ нимъ...

— А-а-а, такъ ты такъ? Такъ ты съ Оомкой заодно?— съ пѣной у рта наскочилъ на него батюшка-кормщикъ послѣ своего объясненія съ Оомой.— Да знаешь-ли ты,—а? Да понимаешь-ли ты,—а?.. Вонъ, мр-р-разъ этакая! Чтобъ и духу твоего поганого здѣсь не было!..

Грозовые перуны долетѣли и до него...

И вотъ онъ сидитъ теперь на своей постели въ полутемной повалушкѣ, понурый, невеселый, растерянный..

Точно варомъ обдала его неприятная необходимость покинуть теплое, сытое мѣсто и вновь, какъ три года тому назадъ, идти на улицу, въ грязь, на стужу и голодъ...

А все чрезъ кого?—Все чрезъ него, чрезъ Оому...

И зачѣмъ только онъ пришелъ сюда? Зачѣмъ смутилъ его покой, завладѣлъ, какъ колдунъ, всѣми его помыслами?..

Да и вѣрно-ли еще все то, что онъ говоритъ? Существуетъ-ли на самомъ-то дѣлѣ то чудное «золотое» сионское царство, въ которомъ царствуетъ этотъ загадочный «тайный бѣлый царь»? А вдругъ какъ нѣтъ? Вдругъ какъ окажется, что это онъ только такъ, зря, лясы точить?..

— Э-эхъ, нехорошо!—тоскливо шепчетъ И:нать.—То-ись такъ нехорошо, такъ нехорошо, што и сказать невозможно!.. А все самъ. Распустилъ нюни, поддался весь—вотъ и ступай опять бирюка тянуть!¹ Разводи канитель по экой по слякоти!..

И недовольство на себя и на Оому все болѣе и болѣе разрасталось въ душѣ пригорюнившагося Игната.

— Ну, что носъ повѣсилъ?—раздался вдругъ негромкій хриплый окрикъ..

Игнатъ вздрогнулъ и поспѣшно сорвался съ постели: въ дверяхъ стоялъ Оома и зорко наблюдалъ за хлыстовскимъ пророкомъ.

Это внезапное появленіе Оомы какъ разъ среди думъ о

¹ «Тянуть бирюка» — просить милостыню, канючить, выпрашивать. Бродяжническое выраженіе.

немъ страшно поразило Игната. «Колдунъ и есть»—пронеслось у него въ головѣ, и онъ даже перекрестился.

— Чево, говорю, носъ повѣсилъ?—между тѣмъ, припирая дверь, повторилъ Оома.—Меня, поди, ругаешь да о лѣпости вздыхаешь? А ты полно, не ругай и не вздыхай, а Господа хвали, «иже извелъ ты изъ напасти и житейскія мечты, удалилъ ты есть отъ страсти и мірскія суеты»... Пусть ихъ здѣсь себѣ въ грѣхахъ ярятся, а наше дѣло съ тобой совсѣмъ другое: пора во путь во дороженьку отправляться, на бѣлый, храбрый конь сажаться ¹, да къ царю-батюшкѣ отправляться. Объ эфтомъ-то вотъ я и пришелъ переговорить съ тобой... Сегодня я ухожу. Коли хошь, такъ сряжайся! Или, можетъ, здѣсь надумалъ остаться, вмѣстяхъ съ Евдокишкой въ кипучую бездну пойти?

Оома сверкнулъ въ темнотѣ глазами.

— Што ты, што ты, милостивецъ! Што-ты!—быстро проговорилъ Игнатъ, замахавъ руками.

На душѣ его сразу полегчало, такъ какъ выходъ изъ непріятнаго положенія, благодаря предложенію Оомы, самъ собой нашелся. И выходъ прекрасный. Онъ уже не будетъ теперь по старому «бирюка тянуть», не будетъ по стужѣ и слякоти бродить отъ деревни до деревни въ поискахъ насущнаго куска хлѣба,—нѣтъ! Вмѣсто всего этого онъ пойдетъ въ залитое дивнымъ свѣтомъ сіонское царство, въ которое «сошлись и съѣхались со всѣхъ странъ, не боясь іудеевъ—черныхъ вранъ, всѣ единовѣрные и едиனுшные, всѣ таинственно возрожденные и по сердцу цареву избранные мужи». И, значитъ, есть оно, это сіонское царство! Значитъ, какъ ужасно несправедливъ былъ онъ, Игнатъ, когда за минуту предъ тѣмъ позволилъ себѣ усумниться въ справедливости рѣчей Оомы, этого великаго и святого прозор-

¹ «Бѣлый, храбрый конь»—необходимая принадлежность «полковъ премудрыхъ» и «кавалеріи духовной» и, слѣдовательно, есть детальная подробность этого любимаго скопцами символа.

ливца! Обязательно—«прозорливца». Ибо какъ иначе объяснить, что онъ узналъ его, Игнатовы, бранливыя мысли и явился какъ разъ во время ихъ?.. Нѣтъ, нѣтъ! Поскорѣй исправить, загладить все это!.. И вотъ онъ, смущенный, но вмѣстѣ и радостный, лепечеть торопливо:

— Што ты!.. Да я, кормилецъ, на край свѣта за тобой: куды поведешь, туды и пойду...

— А коли такъ,—облегченно вздохнулъ Оома:—то давай сряжаться, говорю. Коли што есть,—въ хатуль ¹ все свяжи. Въ него-жъ и ковригу вотъ эфту сунь: пригодится... Да безъ шуму, смотри! Осторожнѣй! Чтобъ никому и въ умъ не пало, што мы сегодня сей треклятый Содомъ покидаемъ!.. Да еще вотъ что: Катерину нужно предупредить. И она съ нами пойдетъ, потому и ей здѣсь теперича не житье. Сумѣешь эфто слѣлать?

— За первый сортъ, кормилецъ! На эфтотъ счетъ ты ужъ будь спокоенъ...

— Ну, вотъ и расчудесно... Выходить подъ самое утро, часа за два до вставанья, потому, навѣрно, сторожить сегодня будутъ. А тогда дуй во всю: уморятся—и, какъ мертвые, заснутъ, анаемы... Понялъ?

— Какъ есть.

— Ну, то-то! Да выходить-то, смотрите, выходите не въ калитку, а либо изъ подпольной хоронушки ², либо съ чердака на сарай чрезъ сѣновальну лѣсенку... Не спѣшите! Прислушивайтесь! А то, стоитъ вчерашняго, опять все дѣло испортите... Ну а теперь доглянь поди въ проходъ: нѣтъ-ли тамъ кого?.. Мнѣ и къ себѣ ужъ пора...

¹ «Хатуль»—узелъ, кошель.

² Изъ подпольныхъ «келеекъ» и «спудовъ» всегда имѣется нѣсколько выходовъ на волю. Эти выходы устраиваются хлыстами и скопцами на случай внезапнаго наѣзда «духоборнаго никоніанскаго суда», т. е. полицейскихъ властей.

Игнатъ вышелъ и, возвратившись чрезъ минуту, сообщилъ, что проходъ пустъ и въ кухнѣ тоже пока нѣтъ никого.

Пользуясь этимъ, Ома такъ-же незамѣтно, какъ и пришелъ, пробрался обратно къ себѣ, въ баню...

XIII.

Сверхъ всякаго обыкновенія, рѣшительно никто не поѣтилъ за этотъ день Ому. Очевидно, молва о всемъ случившемся успѣла уже облетѣть все село, и всѣ братья корабельщики и сестры-корабельщицы, не желая очутиться между двухъ огней, рѣшили за лучшее — остаться пока въ сторонѣ и терпѣливо выждать, чѣмъ кончится все это дѣло.

Но любопытство людское—точно клѣщъ. Оно подчасъ глубоко и больно впивается въ человѣка, зудитъ его, гложетъ, заставляя нерѣдко, за неимѣніемъ болѣе благороднаго матеріала для своего утоленія, заниматься подслушиваніемъ, подглядываніемъ, мелочнымъ пересуживаніемъ и тому подобными милыми вещами, и, при этомъ, нисколько не соображается съ тѣмъ, нравятся-ли сіи милыя вещи тому, надъ кѣмъ они продѣлываются, или нѣтъ. Жестоко это, обидно, но пока что... общераспространенно. И если подобное грустное явленіе сплошь да рядомъ наблюдается среди людей повидимому культурныхъ, то что-же сказать о жигалевцахъ, этихъ пасынкахъ культуры?

Благоразумно рѣшивъ не вмѣшиваться въ распрю между бывшимъ своимъ кормщикомъ и настоящимъ, «люди Божіи», тѣмъ не менѣе, никакъ не могли отказать себѣ въ удовольствіи хотя издали наблюдать за этой распрей.

По крайней мѣрѣ, изъ окна баньки Ома не разъ видѣлъ, какъ они то въ одиночку, то цѣлыми группами, таинственно перешептываясь о чемъ-то, словно-бы и за дѣломъ какимъ, шмыгали по саду съ жадно устремленными въ его сторону глазами.

— Ишь какъ ихъ разобрало!—злобно шепталь *Өома*, неторопливо складывая въ сумку свои пожитки.

Такъ прошелъ остатокъ дня, наступила долгая, темная жигалевская ночь. И *Өома* не ошибся въ своихъ предположеніяхъ относительно того, что въ эту ночь его будутъ сторожить.

Заложивъ на крюкъ дверь и забравшись на полокъ, онъ разъ пять слышалъ, какъ стучала садовая калитка, и кто-то крадучись, бродилъ въ темнотѣ вокругъ баньки, заглядывалъ въ окно и даже прикладывалъ голову къ стѣнѣ, силясь угадать такимъ путемъ, что за ней творится...

— Ромашка-подлецъ сторожить. Ну, да сторожи, сторожи! Посмотримъ, кто кого пересторожитъ...

И *Өома*, дѣйствительно, пересторожилъ.

Дождавшись того времени, когда въ ночной мглѣ закрубились сѣрыя туманные пятна разсвѣта и по крышѣ баньки съ силой забарабанилъ сучьями ветель предутренній сѣвернякъ, онъ тихо поднялся съ своего жестокаго ложа, зорко оглядѣлъ изъ оконца еще темныя безформенныя купы ближайшихъ кустовъ и деревьевъ, прислушался, а потомъ, одѣвшись и накинувъ на плечи клеенчатую сумку, тѣнью скользнулъ изъ баньки въ садъ.

Почти тотчасъ-же навстрѣчу ему поднялись изъ кустовъ лозняка двѣ закутанныя въ теплые шугаи фигуры: то были *Игнатъ* и *Катерина*. У обоихъ въ рукахъ было по объемистому узлу, оба ежились и нервно, мелкой и частой дробью, стучали зубами...

— А мы ужъ давно, милостивецъ, тутотко,—началь было *Игнатъ*.

— Тссс!—перебилъ его *Өома*.

Всѣ молча зашагали между плававшими въ предутреннемъ туманѣ деревьями къ ригѣ.

Правда, *Катерина* было не утерпѣла и всхлипнула, но «серафимоподобный» наставникъ, нагнувшись къ ней и тряся въ воздухѣ костьюлемъ, яростно прошипѣлъ:

— Ты чево?.. Или—домой захотѣла? Евдокишку жаль?.. Такъ ступай къ нему! Нечего и лѣзть было, коли съ грѣхомъ не можешь разстаться... Цыцъ!—говору. Изъ-за тебя мазики Иродіадиной, другимъ не пропадать!..

Катерина отъ испуга даже икнула и присѣла.

Перелѣзли тынъ, обошли одну ригу, другую, третью... Перешли по кладинкѣ рѣчку Жигалиху... Скоро и конецъ села... Какъ вдругъ изъ предпоследней риги послышался сонный окрикъ:

— Кто тутъ?

И еслѣдъ за этимъ на долонь ⁴ вышелъ, кряхтя и зѣвая, Ѳедотъ Лежебокъ.

Ѳома съ силой дернулъ за рукавъ Катерину и, какъ заяцъ, присѣлъ у копны, за изгородью. Отъ волненія все тѣло его похолодѣло и стало какимъ-то мягкимъ и безсильнымъ.

— Царь-батюшка, ужли опять сорвется? — беззвучно шевелилъ онъ побѣлѣвшими одновременно и отъ страха и отъ злости губами.—Сохрани и помилуй!..

Но все обошлось какъ нельзя лучше.

Ѳедотъ Лежебокъ послушалъ съ полминуты, поглядѣлъ на небо, потрогалъ рукой долонь, зѣвнулъ раза съ два и, почесываясь, лѣниво поплелся къ дому, бормоча себѣ подъ носъ:

— Скоро свѣтъ. Надо пойтить разбудить, поспѣдать малость да и на молотьбу пера..

— А провались ты и съ молотьбой-то своей!—чуть не вслухъ проговорилъ, отдуваясь и разминая отекишія отъ неудобнаго сидѣнья ноги, Ѳома.

Но вотъ, наконецъ, и околица. Вотъ хлѣбная «магазея», Митрохинская береза, Вавилина кузня, прудъ—все это осталось позади и точно расплылось въ предразсвѣтной мутн. Еще десятка два шаговъ—и до бѣглецовъ ясно донесся холодный металлическій гулъ рельсъ, по которымъ мчался гдѣ-то

⁴ «Долонь»—ладонь, токъ, на которомъ молотятъ.
Во тѣмъ вѣковой.

вблизи, должно быть—за этой вотъ гогулиной ¹ поѣздъ.

— Ну, слава-ти, государю-батюшкѣ!—остановившись и перекрестясь, въ первый разъ послѣ выхода громко проговорилъ Оома.—Возблагодаримъ-те, дѣтки, его, милостивца, за то, что онъ помогъ намъ своей благодатью избыть сѣтей вражійхъ. Дивенъ еси, ополчаяйся за вѣрныхъ своихъ!..

Потомъ, переждавъ немного и обратившись въ сторону Жигалева, онъ гнѣвно закричалъ:

— Сіоне скверный, Сіоне блудный, грѣхомъ гоморскимъ одержимый! Колькраты восхотѣхъ собрати чада твоя, якоже собираетъ кокошъ птенцы своя подъ крилѣ, и не восхотѣсте! И се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ. Глаголю бо вамъ, яко не имате мене видѣти отсель, дондеже придетъ дѣло ко аминю, егда наступитъ тако времячко—перебирать стануть всяко сѣмячко... И васъ не забудутъ тогда, іуды треклятыя! Въ огонь! Въ смолу!..

Мимо съ грохотомъ и лязгомъ пронесся желѣзнодорожный поѣздъ. Темнымъ многопозвоночнымъ чудовищемъ выскочилъ онъ изъ-за гогулины, на секунду покосился удивленно своими огненными зрачками на странную группу людей, стоявшихъ безъ шапокъ почти на самомъ его пути, крикнулъ имъ что-то грозное и неумолимо-жестокое, дыхнулъ на нихъ своей стальной грудью—и скрылся въ противоположной сторонѣ, страшный, торжествующій, звенящій...

Всѣ вздрогнули и невольно понятились.

— Ну, а теперь,—надѣвая шапку и глядя вслѣдъ промчавшемуся поѣзду, проговорилъ Оома,—теперь, отрясше прахъ отъ ногъ своихъ, на Божью дорогу! Къ свѣту! Къ убѣленью, дѣтки!...

И онъ быстро зашагалъ впереди Игната и Катерины по едва замѣтной тропкѣ, змѣйкой извивавшейся близъ самой желѣзнодорожной насыпи. Все болѣе и болѣе крѣпчавшій подъ утро вѣтеръ, какъ и въ тотъ разъ, когда онъ шель

¹ «Гогулина»—излучина, кривизна, поворотъ.

въ Жигалево три недѣли тому назадъ, немилосердно рвалъ съ его плечъ ветхій зипунишко; ноги, обутыя въ тѣ-же желтые тяжелые «осташи», скользили и разъѣзжались, а онъ, осторожно обходя вывороченные пни и беспорядочно сваленныя въ кучи бревна и доски, безъ устали шагаль все впередъ и впередъ, спѣша какъ можно скорѣе и дальше увести съ собой изъ «богоотринутаго» теперь жигалевскаго «вертограда», точно Лоть своихъ дочерей изъ обреченнаго на погибель Содома, двухъ новыхъ «бѣлыхъ овечекъ»¹.

— Туда, туда!—выкрикивалъ онъ, простирая время отъ времени въ промозглую бѣлесоватую мглу суковатый костыль.—За мной! Тамъ—душеспасенье. Тамъ—рай Христовъ! Тамъ, подъ великимъ градомъ Москвой, вы обрящете и покой, и чистоту, и безпечаліе голубиное! Тамъ подъ великимъ градомъ Москвой, вы обрящете и покой, и чистоту и безпечаліе голубиное! Тамъ—истинный «храмъ» Господень, въ немже вы узрите иконы «премудрыя и чудотворныя»! Туда и только туда слетятся во время свое цѣлыми тучами отъ всѣхъ странъ земли греческой и всѣ остальные бѣглецы-молодцы, всѣ голуби чистые, всѣ мужи именитые, ибо тамъ и только тамъ, по звону дивному небесному, будетъ батюшка являться, на престолѣ утверждаться. Туда придетъ въ кандалахъ и вашъ жиловинъ Евдокишка, ибо ни гдѣ въ другомъ мѣстѣ, а тамъ именно будутъ разбирать всякіе пороки «что гдѣ за кѣмъ есть—станутъ вездѣ чисто мечь»²...

И Игнатъ съ Катериной шли...

Невесело было у нихъ на душѣ. Назали—все родное, привычное, до мелочей извѣстное, а впереди—чужое, незнакомое и... страшное...

— Господи Боже мой, и что только будетъ?—со слезами на глазахъ шептала, спотыкаясь на каждомъ шагу и едва поспѣвая за Ѳомой, Катерина.

¹ «Бѣлыя овцы» — одно изъ любимыхъ названій между скопцами.

² Скопцы полагаютъ, что страшный судъ произойдетъ именно въ Москвѣ. Объ этомъ они поютъ и въ своихъ распѣвахъ.

— А тамъ видно будетъ!—какъ-бы въ отвѣтъ на ея мысли, думаль Игнатъ.

XIV.

Страшный кавардакъ поднялся въ Харловскомъ «кипарисовомъ саду», когда въ немъ узнали о бѣгствѣ Омы и съ нимъ—Игната и Катерины.

Самъ Евдокимъ, лишь только услышалъ объ этомъ, по обыкновенію, присѣлъ и по-бараньи вытаращилъ на окружающихъ глаза, какъ-бы не понимая всего страшнаго значенія этихъ трехъ маленькихъ словъ: «Нѣтъ ихъ! Ушли!» Но прошелъ мигъ—и онъ, словно бѣшенный волкъ, вскочилъ и, брызжа слюнявой пѣной, рыча и визжа, сталъ бить и ломать рѣшительно все, что ему ни подвертывалось подъ руку. Полетѣлъ на полъ самоваръ, только что поданный Маврой, зазвенѣла и съ грохотомъ выскочила на улицу высаженная скамейкой рама, запрыгали по столу осколки чашекъ и плошекъ... Пророкъ Матвѣй, какъ мячикъ, отлетѣлъ съ разбитымъ носомъ въ уголъ, а толстая Мавра безчувственнымъ пластомъ растянулась у порога. Глаза ея закрылись, внутри что-то екнуло и захрипѣло, а въ углахъ рта показалась темная, съ черными сгустками, кровь.

— А-а-а, такъ вы такъ сторожите? Такъ вы такъ исполняете мои приказанія?.. Такъ вотъ же вамъ, вотъ, лоботрясы вы этакіе!—точно полоумный хрипѣлъ, кроша направо и налево, осатанѣвшій Евдокимъ.

Безъ шапки, въ одной рубахѣ, съ окровавленными и разбитыми о стекло руками, онъ бросился въ баню. «Нѣтъ ихъ! Ушли!»—пропѣла ему опустѣвшая банька...

Онъ кинулся изъ баньки въ комнату Катерины. «Нѣтъ ихъ! Ушли!»—стыдливо пролепетала такъ много напоминавшая ему комната...

Закусивъ до крови губы, онъ спустился въ повалушу, обѣжалъ весь домъ, заглянулъ во всѣ углы, обшарилъ всѣ «спуды» и «келейки»—и всюду одна и таже эта ужасная,

тоскливо-безнадежная, точно буравъ сверлящая его въ темя пѣсны: «Нѣтъ ихъ! Нѣтъ!.. Ушли они, ушли!..»

«Ушли?!»

Но... какъ же такъ? И неужели *на-всег-да*? Неужели онъ больше такъ-таки ужъ и не увидитъ этихъ чудныхъ ага-товыхъ глазъ, не услышитъ этого пѣвучаго и то гнѣвно-рѣзкаго, то нѣжно-ласкающаго голоса?..

— О-о-о, Боже мой, Боже мой! Что же я, бѣдная головушка, теперь дѣлать-то стану?—простоналъ Евдокимъ и вдругъ, какъ то часто бываетъ съ неуравновѣшенными, хотя и сильными натурами, неожиданно не только для другихъ, но даже и для самого себя, громко, нудно, по-ребячьи зарыдалъ. Все громадное тѣло заколыхалось и задрожало, точно въ немъ порвалась и съ неудержимой силой стала разматываться какая-то упругая и до послѣдней возможности заведенная пружина...

Между тѣмъ вѣсть о загадочномъ исчезновеніи «Богородицы» и «пророка», вмѣстѣ съ «серафимоподобнымъ» Ѳомой Захарычемъ, съ быстротою молніи разнеслась по всему селу.

Всѣ братья-корабельщики и сестры-корабельщицы, побросавъ свои дѣла, въ тревогѣ и страхѣ поспѣшили къ своему батюшкѣ-кормщику.

Вмѣстѣ съ другими пришелъ сюда и Ѳедотъ Лежебокъ. Въ рукахъ у него зажатъ былъ бѣлый шерстяной платокъ и въ немъ—цѣлая связка дутыхъ стекольчато-зеркальных бусъ.

— Э-э, да вѣдь эфто никакъ нашей пресвѣтлой матушки, святъ-Богородицы? Такъ и есть!—заговорило разомъ нѣсколько «сестрицъ» при видѣ платка и бусъ.

Доложили Евдокиму.

— Гдѣ ты взялъ?—поперемѣнно впиваясь глазами то въ знакомые предметы, то въ Ѳедота Лежебока, буркнулъ Евдокимъ.

— А нашелъ, батюшка, нашелъ...

— Гдѣ нашель?

— А абапуль ¹ копѣнки, за изгородѣчкой...

— Абапуль копѣнки?!

— Ну, да. Копѣнки. У самой, почитай, риги у меня сложена копѣнка. Абапуль копѣнки эфтой, кормилецъ, и нашель...

— Когда?

— А сегодня утречкомъ. Обмолотилъ это я саженець, ² сталъ было другой заготовливать, анъ гляжу у копѣнки-то у самага что ни есть одонья ³, на землицѣ, все эфто и лежитъ вотъ такъ комочкомъ... Ну, я взялъ вотъ да и принесъ къ тебѣ, потому какъ бабы сказали, значить, што быдто эфто богородично...

— Гм... А ночью гдѣ ты былъ?

— А въ ригѣ эфтой на сушильѣ и былъ...

— Ничего не слыхаль?

— Да слыхаль, какъ быдто кто-то шлепать... А впрочемъ—Богъ ё знаетъ! Може, съ просонья такъ показалось...

— Съ просонья, съ просонья!—съ сердцемъ передразнилъ Ѳедота Евдокимъ.—Какъ тебѣ не «спросонья», балда ты еловая! Вѣдь эфто они какъ разъ, значить, и были! Доглядѣть было нужно, ловить было нужно! А ты... Эхъ ты, скотина сонливая!.. Да и всѣ-то вы—скоты, брандахлысты окоемные !.. Вѣдь поймите вы, дурачье вы набитое, што Ѳомка-то калѣчить ихъ повель! Вѣдь чистота-то ёво—вотъ што такое!

И Евдокимъ, постепенно вновь разгораясь бѣшенствомъ, размашисто выкинулъ предъ оторопѣлыми и изумленными «людьми Божиими» живописно-наглядный и въ своей наглядности — отвратительно-циничный жестъ.

¹ «Абапуль» — возлѣ, около.

² «Саженець» — все то количество сноповъ, которое «сидится» въ ригу для сушки.

³ «Одонье» — дно, основаніе; здѣсь — основаніе копны.

— Вѣдь онъ самъ мнѣ все эфто рассказалъ и показалъ! Вѣдь изъ-за эфтого только и грызня-то вся наша вышла! Вѣдь за такую музыку убить ево, анаѣему, мало!.. На осину ево! Вѣ каменя!..

— Правильно,—сначала робко, а потомъ все громче и смѣлѣй, разростаясь изъ края въ край, пронеслось въ толпѣ.

Люди Божіи плотнѣе сдвинулись вокругъ своего батюшки кормщика. Въ глазахъ большинства засвѣтилась злоба,—та опасная, мгновенно вспыхивающая, стадно-заразительная, слѣпая злоба, которая льетъ цѣлыя рѣчки часто совершенно неповинной крови...

— Што «правильно»?—какъ бы играя этимъ опаснымъ орудіемъ, тѣмъ временемъ продолжалъ Евдокимъ.—Правильно только то и есть, што проспали вы, сони вы этакіе, горбача ¹ треклятого! Вѣдь какъ говорилъ вчера, што сторожить нужно,—нѣтъ! По своему захотѣли!.. Намъ—што батюшка-кормщикъ? Мы сами себѣ господа. Сами лучше ево всяку заковыку уладимъ. Эхъ вы, Ироды понтійскіе!.. Вотъ и ищите теперь въ полѣ вѣтра! Вызволяйте свою преперорочную свѣтъ-матушку богородицу!..

— И вызволимъ!—зашумѣла точно вспугнутый рой, еще болѣе разоженная рѣчами Евдокима толпа.—То-ись, животовъ не пожалѣемъ, а вызволимъ! Потому какъ безъ матушки «Богородицы» намъ никакъ невозможно и за нее мы—во какъ!..

— Да какъ-же вы вызволите-то?

— Какъ вызволимъ? А на конь—во какъ! Всѣмъ опчествомъ на конь! Потому далече уйтить имъ по экой по распуть никакъ невозможно...

Мысль пришла по сердцу даже самымъ вялымъ, нерѣшительнымъ, осторожнымъ...

— На конь! На конь!—какъ бурливое море, заревѣла уже толпа, торопливо расходясь по своимъ домамъ.

¹ «Горбачъ»—бѣглый, разбойникъ.

Черезъ четверть часа до полусотни вершниковъ мчалось изъ Жигалева по всѣмъ направлѣнїямъ. Но впереди всѣхъ стрѣлой летѣлъ въ сторону желѣзной дороги самъ Евдокимъ. Надежда догнать бѣглецовъ, вернуть ихъ, захватить этого изверга Оомку казалась ему вполне осуществимой. Нужно только не терять попусту дорогого времячка. И вотъ онъ несется во весь опоръ, поминутно и каблуками, и толстымъ ременнымъ поводомъ нахлестывая сытую бойкую «братскую» лошаденку...

— Га! Такъ я-жъ тебѣ покажу, анаемѣ, какое такое есть «запаленіе»! Восчувствуешь ужю, што эфто за штука такая «уязвленіе»!.. Ухъ то-ись, всю душеньку вымотаю! Всю требуху выпущу! По каплѣ всю твою прескверную кровь вылью!..

Но напрасно и самъ Евдокимъ, и всѣ остальные жигалевцы-корабельщики до самой ночи сновали по всѣмъ дорогамъ, идущимъ изъ Жигалева: Оома, а съ нимъ и Игнатъ съ Катериной, точно въ воду канули.

— Хитерь песь смердящій! Ну да ладно: наша пѣсня съ тобой еще впереди,—угрюмо бормоталъ Евдокимъ, всю ночь напролетъ шагая изъ угла въ уголь по своей горницѣ, и то и дѣло прикладываясь къ пузатому графину съ водкой, которую ему, по секрету отъ братьевъ-корабельщиковъ, покупалъ на «кораблицѣнскія» деньги его ближайшій наперстникъ пророкъ Матвѣй, обыкновенно вмѣстѣ съ нимъ и уничтожавшій ее.

И цѣлыхъ двое сутокъ потомъ никто изъ постороннихъ, кромѣ пророка Матвѣя, не видѣлъ батюшку-кормщика. Онъ точно рехнулся: безъ сна, безъ ѣды, изрыгая на всѣхъ и вся дикія, бессмысленныя ругательства, онъ пилъ и пилъ, угрюмо, много, злобно пилъ. Наконецъ, на третьи сутки, какъ бы надумавъ что, опухшій, обрюзгшій, онъ отдалъ приказъ собраться всѣмъ на «духовную бесѣду».

Вновь поздней ночью, и улицей и задворками, потянули къ дому Харлова жигалевскіе братья-корабельщики и се-

стры-корабельщицы. Но нерадостно на этотъ разъ было у нихъ на душѣ. Всѣ смутно чуюли что-то неладное и съ видимой тревогой переступали порогъ своего «блаженнаго сіонскаго рая».

И дѣйствительно, предъ началомъ-же «бесѣды» Евдокимъ, долго хмуро сидѣвшій около стола, вдругъ поднялся и, обмѣнявшись быстрымъ многозначительнымъ взглядомъ съ тоже припухшимъ отъ чего-то пророкомъ Матвѣемъ, проговорилъ:

— Вотъ што, дѣтки! Вы сами знаете, какое великое искушеніе послалъ на насъ за наши грѣхи превышній Господь Богъ Саваоѣ. По Его неизреченному попущенію лютый врагъ исхитилъ отъ насъ нашу пречистую матушку Богородицу, и отъ того стали мы безъ нея сиры и безбогородичны... Не ладно это. Не ладно, говорю... Такъ вотъ я и собралъ васъ, штобъ покаяться, значить, постъ на себя наложить да на святой водѣ спросить, какъ же намъ быть таперича: нову-ли Богородицу избрать, или же стару вызволять...

Всѣ смиренно поклонились и хоромъ отвѣтили:

— Какъ укажетъ батюшка Святъ Духъ, такъ и будетъ. Его во всемъ святая воля...

— Аминь, --скрѣпилъ Евдокимъ.

Въ комнату послѣ этого внесли «священную силоамскую кумпель» или, по-просту говоря, —наполненный до верху водой чанъ. Пророкъ Матвѣй налѣпилъ крестообразно на края чана и зажегъ четыре восковыхъ свѣчи. Начался чинъ хлыстовскаго водосвятія, при чемъ всѣ хоромъ пѣли: «Во Іорданѣ крещающуся», а Евдокимъ троекратно погружалъ въ воду взятый со стола крестъ и шепталъ на память разныя молитвы, перемѣшивая ихъ словами «священныхъ» распѣвцевъ.

Когда же водосвятіе было кончено, всѣ братья-корабельщики и сестры-корабельщицы спустили съ плечъ по поясь свои «радѣльные» рубашки и, получивъ изъ рукъ батюшки-кормщика по свитому изъ полотенцевъ жгуту, стали

вокругъ чана въ два круга, мужчины ближе къ чану, а женщины позади ихъ, но тѣ и другія одинаково лицомъ къ чану.

Всталъ рядомъ съ пророкомъ Матвѣемъ и самъ Евдокимъ.

Съ минуту всѣ помолчали, а потомъ, по данному знаку, хоромъ загѣли священный стихъ радѣнья по случаю несчастія и желанія узнать будущее:

Хлышу, хлышу,
Христа ишу.
Сниди къ намъ, Христе,
Съ седьмага небесе!
Походи съ нами, Христе,
Во святомъ во кругу!
Сокати съ небесе,
Сударь Духъ Святой!..

И одновременно съ пѣніемъ этого стиха всѣ двинулись другъ за дружкой вокругъ чана, при чемъ внутренній кругъ, мужской,—по солнцу, а виѣшній, женскій,—противъ солнца. И это движеніе, сначала медленное, плавное, постепенно перешло въ безумное скаканье и бѣганье...

Вотъ взвился въ рукѣ Евдокима палкой скрученный жгутъ и со свистомъ опустился на обнаженную спину скакавшего предъ нимъ Максимки Главача. Максимка вздрогнулъ, взвизгнулъ и, съ своей стороны, изъ всей силы влѣпилъ свой жгутъ въ обнаженную спину бѣжавшаго впереди его Ѳедота Лежебока. Этотъ послѣдній хватилъ черезъ правое плечо Романа изъ Поросья, Романъ—Вавилу Кузнеца, Авдотья—Ѳеклу Миронику, Ѳекла—Ирину... Не прошло и двухъ минутъ, какъ всѣ, безъ исключенія, кружившіеся завертѣли, замахали, захлестали своими жгутами, изступленно приправляя каждый свой ударъ словами священнаго стиха: «Хлышу, хлышу, Христа ишу»...

Жгуты съ визгомъ впивались въ обнаженные вспотѣвшія спины; спины покраснѣли, побурѣли, вздулись, на многихъ показались кровавые просѣчки... А люди Божіи, какъ

безумные факиры-самоистязатели, все еще вертятся вокруг чана, все еще колотят друг друга... И чѣмъ дальше, тѣмъ ожесточеннѣе, тѣмъ больнѣе...

И вотъ одна изъ свѣчей, сбитая чѣмъ-то жгутомъ, съ шипѣньемъ упала въ воду. По водѣ одинъ за другимъ пошли легкіе, правильно расходящіеся отъ центра къ краямъ круги...

Всѣ, точно вкопанные, разомъ остановились и чрезъ минуту, съ крикомъ: «Сокатилъ! Сокатилъ! Нашу воду возмутилъ!» бросились на полъ и замерли въ благоговѣнномъ ожиданіи небеснаго «гласа».

— Начинай!—одними губами шепнулъ Евдокимъ рядомъ съ нимъ лежавшему Матвѣю.

И вотъ, какъ будто изъ-подъ чана, послышалось сначала тихое бульканье, а потомъ — гудѣнье и шопотъ, который постепенно росъ и крѣпчалъ, переходя въ глухой, полусдавленный голосъ, едва внятно, съ долгими промежутками между словами, говорившій:

— За грѣхи... ваши... покаралъ... Вызволяйте стару... Евдокимъ... Дома останется Мат... Мат...

Голосъ смолкъ.

— Возстаните! — послѣ напраснаго, почти получасоваго ожиданья новаго «гласа» проговорилъ, наконецъ, Евдокимъ.

Всѣ братья-корабельщики поднялись съ полу. Всѣ были блѣдны, взволнованы. На лицахъ сіяла торжественная и довольная улыбка.

— Сокатилъ! Самъ Богъ сокатилъ! Самъ Духъ возвѣстилъ! Небесну волю прорекъ!—радостно говорили, крестясь, «люди Божіи», искренно увѣренные въ томъ, что «гласъ», слышанный ими изъ-подъ чана, есть дѣйствительно «небесный» гласъ и что «сманили» этотъ гласъ съ «превышнихъ круговъ» единственно они, жигалевскія «птички Божіи», благодаря своему усердному, «съ сокрушеніемъ плоти», радѣнью.

Когда говоръ нѣсколько улегся и чанъ съ водою былъ вынесенъ изъ комнаты, Евдокимъ громко обратился къ присутствовавшимъ:

— Дѣтки, вы слышали волю небесъ? Слышали, што надо стару нашу пречисту матушку «Богородицу» найти и што на эфто дѣло я указанъ?... Ну, такъ вотъ я завтра-же и отправлюсь, а вы поститесь и молитесь, чтобъ удача была. Да смотрите, слушайтесь во всемъ пророка Матвѣя, который замѣсто меня до моего прихода вами управлять будетъ... Боже васъ упаси въ непослушанье или другое какое упаденье впастъ: тогда все дѣло наше пропало, и намъ не миновать гнѣва небеснаго...

Всѣ въ знакъ покорности трижды поклонились Евдокиму въ ноги, а на слѣдующій день рано по утру, когда нечестивый «шатоватый» міръ еще покоился въ объятяхъ «мракостуднаго» сна, со слезами проводили его за околицу и долго смотрѣли ему вслѣдъ, напутствуя пожеланіями удачи и скорого благополучнаго возвращенія, вмѣстѣ съ богородицей Катериной, въ свой осиротѣлый «небесный Арарат»...

— Ну погоди-жь теперя! — шепталъ съ своей стороны, широко шагая по шпаламъ только что проведенной желѣзной дороги, хлыстовскій кормщикъ. — «Изъ-подъ самой Москвы», — говоришь? — «Изъ подмосковныхъ божьихъ домовъ», — говоришь? Хорошо. Всѣ обойду, всѣ обшарю, а тебя ужъ найду! Го-ись скрозь землю пройду, сложну, поколѣю, а тебя, милый другъ, такъ не оставлю!.. И вотъ посмотримъ ужо, спасеть-ли тебя твоя «чистота» поганая! Такого чесу задамъ, што на томъ свѣтѣ тошно станетъ... Слышишь?.. И эфто — вѣрно, не будь я на то Евдокимъ Харловъ!..

XV.

А тѣмъ временемъ Оома съ Игнатомъ и Катериной былъ далеко.

Прошедши верстъ пять близъ желѣзнодорожной насыпи,

онъ, чтобы сбить погоню и окончательно замести свои слѣды, свернулъ въ лѣсъ и прямо цѣлиной, сквозь непролазную по мѣстамъ гущу молодятника, разросшагося у подножія громадныхъ сѣдостволыхъ елей и сосенъ, пошелъ на югъ, по корѣ и лишайнымъ раковиднымъ наростамъ безошибочно угадывая направленіе.

Въ Игнатѣ проснулась прежняя привычка къ нишебродству, и онъ бодро шагаль за Ѳомой, порой даже съ удовольствіемъ приглядываясь къ картинамъ знакомой, но цѣлыхъ три года невиданной имъ таежной жизни.

Не то было съ Катериной. Какъ ни склонна она была ко всему таинственному и необычному, — этотъ угрюмый хвойный лѣсъ, полный какихъ-то непонятныхъ, загадочныхъ звуковъ, часто неожиданно и рѣзко смѣнявшихъ другъ друга, невольно пугаль ее, еще болѣе увеличивая тягость переживаемого ею и безъ того тяжелого момента жизни. При каждомъ лѣсномъ шорохѣ, при каждомъ лѣсномъ гуканьѣ она вздрагивала, трусливо озиралась по сторонамъ и то и дѣло шептала запекшимися устами: «Господи помилуй! Царь-батюшка, спаси!..»

— А ты не робь, голубица! И не грѣши: не горюй!— не разъ принимался подбодрять ее «серафимоподобный» наставникъ.— Не на худое, чать, дѣло пошла, а на спасенье, на подвигъ, несумнѣнно приводящій къ видѣнію и общенію съ самимъ царемъ батюшкой Искупителемъ. О старомъ не вздыхай, а о новомъ помышляй, егда духъ въ тебя вселится и все естество твое обновится. Лѣсу этого не бойся и не страшись: въ немъ звѣри хоть и есть, а все же они не такіе страшные, какъ тѣ, отъ которыхъ мы ушли.. Лучше вотъ послушай-ка про то, какъ «вѣрные» во время оно жили...

И Ѳома, неумоимо шагая по лѣснымъ буеракамъ и привычной рукою раздвигая сцѣпившіеся между собой кусты можжевельника, лозняка-ѣрки и березы-сланки, затягиваль длинный стихъ про то «золотое» времячко, когда самъ

«многострадальный» батюшка, превышній «тайный бѣлый царь», открыто «далъ знать всѣмъ царскимъ родамъ, всѣмъ вельможамъ, сенаторамъ, господамъ» о томъ, что онъ-то и есть истинный «Христось и императоръ Петръ свѣтъ Θεодоровичъ»; когда—

Среди Питера встроень былъ домъ,
Самому Христу прибѣжище въ немъ;
Протекалъ тамъ живой воды тихій Донъ,
Разливалась тамъ Сладимъ-рѣка,
Евангелистами были Маркъ да Лука,
Стеречь всему дому мастера;

когда—

Сходились, сѣзжались туда со всѣхъ странъ,
Не боясь предателей—черныхъ вранъ,
Всѣ бѣлосвѣтскіе скопцы,
А садовнички были все духовные дѣльцы,
Торговали-продавали иноземные купцы...¹

¹ Рѣчь идетъ о томъ «счастливомъ» времени скопчества, когда Кондратій Селивановъ, осужденный въ 1775 году на ссылку въ Нерчинскъ, бѣжалъ оттуда и, послѣ пятилѣтняго (по опредѣленію императора Павла I), пребыванія въ Обуховскомъ домѣ для сумасшедшихъ, въ продолженіе цѣлыхъ потомъ 17 лѣтъ, вплоть до заключенія его въ суздальскій Спасо-Евфиміевъ монастырь (7-го іюня 1820 года), совершенно свободно и открыто жилъ въ Петербургѣ—сначала въ домѣ купцовъ Ненастьевыхъ, а потомъ въ домахъ Кострова и Солодовникова. Это было время наивысшаго развитія славы лжеискупителя и наибольшаго процвѣтанія его изувѣрнаго ученія. Въ это именно время было закончено точное и опредѣленное формулированіе главнѣйшихъ догматическихъ особенностей, отличающихъ скопческую секту отъ хлыстовщины. Никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняемые, скопцы открыто совершали тогда свои радѣнья, на глазахъ у всѣхъ воздавали своему «батюшкѣ-Искупителю» царскія и божескія почести, дѣятельно распространяли свое лжеученіе, сносились другъ съ другомъ, переписывались... Неудивительно, поэтому, что сами скопцы называютъ то время своимъ «золотымъ вѣкомъ», а Петербургъ того времени — «прибѣжищемъ Христу» и «зеленымъ райскимъ садомъ», въ которомъ привольно разливались «благодатныя» струи «тихаго Дона со Сладимъ-рѣкой», т. е. ихъ «богодухновеннаго» ученія.

Ѳома пѣлъ, но пѣніе это, столь необычное по обстановкѣ, требовавшей часто отъ пѣвца-вожака всего его вниманія, то и дѣло какъ-то само собой обрывалось.

Ѳома иногда вдругъ, на полусловѣ, смолкалъ и настораживался, а Катерина, глядя на его озабоченное лицо, начинала еще пугливѣе осматривать каждый темный кустъ и шептать съ трусливой дрожью въ голосѣ: «Господи, спаси! Царь-батюшка сохрани!..»

Шепчетъ, а въ головѣ ея невольно, какъ бы въ противоположность окружающей неприглядной дѣйствительности, встаетъ картина покинутаго ею хлыстовскаго гнѣзда.

Она силится забыть его, отогнать грѣшныя мысли о немъ, но оно, такое яркое, теплое, насиженное, назойливо вертится предъ нею и укоризненно твердитъ ей въ сотню голосовъ:

«И зачѣмъ ты вылетѣла изъ меня? Куда?.. Развѣ тебѣ худо было во мнѣ? Неуютно? Мало ласки, почету, довольства?.. «Грѣшно», говоришь, во мнѣ?—Хорошо. Пусть—грѣшно. Ну, а тамъ-то, куда ты идешь-то, думаешь, все праведные живутъ, святые?.. А что какъ да нѣтъ? А?.. А что какъ да тамъ-то еще хуже, еще грѣшнѣе? А?.. А вдругъ этотъ твой безгрѣшный Ѳома—разбойникъ? Развѣ ты не видишь у него за голенищемъ ножъ-то какой? Ну къ чему, скажи на милость, онъ ему? Душу спасаетъ, чистоту голубиную проповѣдуетъ — и вдругъ ножъ! Нехорошо... А что какъ онъ возьметъ заведетъ тебя въ самую что-ни-наестъ чашу—да и хлопъ этимъ ножищемъ?.. Полно, полно!.. Одумайся, вернись въ мое «братское», самимъ Христомъ завитое и освященное любовное ложе! Прикурни опять подъ крылышко моего батюшки-сокола! Вѣдь онъ хотя и грубъ, и бьетъ тебя, и мучаетъ, но онъ любитъ тебя, любитъ сильно, до самоизступленія... Вернись, говорю, пока не поздно!..»

Но Катерина не вернулась.

Да она и не могла вернуться: не таковъ былъ Ѳома За-

харычъ Кувалдинъ, чтобы выпустить изъ своихъ закорузлыхъ, но цѣпкихъ рукъ намѣченную жертву.

Цѣлый день, безъ отдыха, онъ велъ своихъ «бѣлыхъ овечекъ» по лѣсу. И только тогда, когда въ лѣсу почти совсѣмъ уже стемнѣло, онъ вышелъ съ ними на берегъ многоводной и порожистой рѣки, глухо бурлившей въ прибрежныхъ колтовинахъ ¹ объ острѣе обледенѣлые камни.

Нѣсколько выше того мѣста, гдѣ они вышли, прислонившись точно къ стѣнѣ все къ тому-же безконечному темному лѣсу, мигало полусотней огоньковъ село Шуй-Наволокъ.

— Ну, вотъ и отдохнуть теперъ можно, обогрѣться!— пробурчалъ Ѳома, обращаясь къ своимъ спутникамъ.— Только—чуръ, не балакать безъ толку! Помните, что я—не Ѳома, а Юна. Да и вы—не Игнатъ съ Катериной, а Андреянъ съ Василисой. Ходимъ, молъ, по святымъ мѣстамъ, по угодникамъ Божиимъ. Спрашивать что начнутъ,—глядите больше на меня. Ъсть что дадутъ,—ѣшьте, ничтоже сумняся, зане, страха ради іудейска, оскверненіе, и поганая нечисть звѣриная праведнику не вредить... Да не больно распоясывайтесь! Въ оба глядите: не дома..

Но прежде, чѣмъ войти въ село, Ѳома тщательно осмотрѣлъ задворки и намѣтилъ ту хату, зады которой всего ближе прилегали къ лѣсу.

Подошли. Постучались.

— Кто тамъ?— послышался изъ хаты недовольный голосъ.

— Страннички Божіи,—на богомольскій ладъ протянулъ Ѳома.—Отъ угодниковъ Соловецкихъ, отъ праведниковъ Зосимы и Савватія да Германа дальній путь держимъ...

— Табакъ, поди, курите? «Никоновцы», чай?

¹ «Колтовина»—вымоина въ нагорномъ скалистомъ берегѣ.

— А ты самъ по какой?—на вопросъ вопросомъ отвѣтилъ Оома.

— Намъ бояться нечего, мы народъ глухой, и сторона наша глухая: по «старой» идемъ, пока Богъ грѣхамъ терпитъ...

— Ну, вотъ и расчудесно, зане и мы тожъ... и мы тожъ... и мы по старой...

— Да сколько васъ?

— Трое.

— Многовато, да дѣлать нечего. Коли по старой,— идите: мѣсто найдется...

Въ хатѣ было жарко и душно. Пахло намокшей на сырости овчиной.

Но разбирать не приходилось.

Поговоривъ съ полчаса съ хозяиномъ, сѣдымъ старикомъ-дѣдомъ, и перекусивъ хлѣба съ квасомъ, Оома забрался на печку, а Игнатъ съ Катериной на полати.

Скоро въ хатѣ все успокоилось. Только въ прилубѣ¹ время отъ времени раздавался пискливый плачъ дѣдова внука, да Катерина ворочалась съ боку на бокъ.

Тяжелыя, точно нависшій прямо надъ головой потолокъ думы навалились на нее со всѣхъ сторонъ и давятъ, мучаютъ, далеко гонять прочь давно желанный сонъ. Спросить бы вотъ кого... Но кого? Развѣ Игната...

— Игнатъ! А Игнатъ!—осторожно шопотомъ позвала Катерина.

— Чево тебѣ?—повернулся къ ней послѣдній.

— Ты какъ думаешь, и взаправду онъ на «чистоту» насъ повель? А?

— А то куда-жь!.. Спи!..

Помолчали.

Игнатъ! А Игнатъ!..

¹ «Прилубъ»—отгороженная досчатой перегородкой небольшая комната въ избѣ.

Во тѣмъ вѣковой.

— Ну, чево еще?

— А для чево-жъ ножъ-то у него?

— Какой ножъ?

— А за голенищемъ?

— А Богъ его знаетъ!.. Спи, говорю...

Опять помолчали.

— Игнатъ! А Игнатъ!..

— Ну?

— А ты не боишься его?

— Кого?

— А Оомы-то?

— Будетъ тебѣ пустяковину-то болтать!..

Тихо.

— Игнатъ! А Игнатъ!

— Экъ тебя разобрало! Ну, говори скорѣ, што тамъ опять у тебя?

— А што-то теперь у насъ подѣлываютъ? Поди,— ищутъ? А?

— Знамо, ищутъ. Евдокимъ-то, чай, совѣмъ изъ ума изошелъ, потому вѣдь онъ тебя—во какъ поважалъ: страсти—да и только!..

Катерина тихо самодовольно размѣялась.

— А вѣдь хорошо тамъ было, Игнатъ? А?

— Знамо хорошо.

— Только вотъ ..

— Чево „вотъ?“

— Да грѣховъ-то ужъ больно много было!

— Это точно. А только, я полагаю, што и у Оомы на счетъ эфтихъ самыхъ грѣховъ, какъ онъ ни говоритъ, а, поди, та же самая оказія. Потому баба - такъ баба она и есть, а мужикъ—мужикъ. Кажинному своя линия указана, ну по ней, значить, и веди...

Опять тихо. Такъ тихо, что слышно, какъ перебирають своими клейкими лапками по потолку тараканы.

И вдругъ среди этой мертвой тишины раздался не то стонъ, не то вздохъ. Что-то зашуршало, завозилось...

А одновременно съ этимъ съ печки послышалось побряхтыванье и сердитый Ооминъ шопоть:

— Это што-жъ вы тутъ дѣлаете? А? Къ убѣленью готовитесь, въ пречистый царевъ садъ стопы держите, а сами рыломъ въ сквернѣ валяетесь?... Оле, смрадостѣнія окаяннаго! Оле, слабости грѣхоточивой! Доколѣ буду пратися съ вами? Доколѣ постомъ и молитвой изгонять васъ буду изъ малыхъ сихъ, тѣлеса и души своя царю-Искупителю обѣщавшихъ?.. Молитесь, дѣтки, молитесь, да отыдетъ отъ васъ крамола змиина! Да изсушатся во удѣхъ вашихъ потоки помысловъ лукавыхъ!.. Царь-батюшка, ты самъ былъ великій трудникъ и страсотерпецъ, самъ знаешь, какъ тяжело безъ благодати твоей противостоятъ прилохамъ вражимъ,— помоги же имъ и защити ихъ, да тобою спасутъ души своя многогрѣшныя!..

И долго еще говорилъ, долго еще громилъ хлыстовскаго «пророка» и хлыстовскую «Богородицу» серафимоподобный Оома Захарычъ. Только тогда, когда заворочался на лавкѣ старикъ-хозяинъ, разбуженный его постепенно усиливавшимся шопотомъ, онъ разомъ оборвалъ свою обличительную рѣчь и смолкъ.

Въ хатѣ снова водворилась тишина, на этотъ разъ ничѣмъ, кромѣ плача ребенка, не прерывавшаяся уже вплоть до самого утра. А лишь забрежжилъ свѣтъ, Оома вновь повелъ Игната и Катерину по лѣснымъ логамъ да перелогамъ въ ту «блаженную» страну, гдѣ нѣтъ ни «зимняго времени» ни «бурныхъ вѣтровъ»¹, гдѣ люди—не люди, а «чисто непорочные ангелы, таинственно спогребшіеся Христу въ смерть...»

¹ Т. е. ни грѣховныхъ привычекъ, ни бурныхъ страстей.

XVI.

На окраинѣ одной изъ подмосковныхъ слободъ, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ безконечными рядами грядъ капусты, свеклы, моркови и другихъ огородныхъ снѣдей, гордо возвышался въ описываемое время налъ прочими низкорослыми слободскими домиками каменный двухъ-этажный домъ ¹ еще и теперь памятнаго всей Москвѣ зеленщика и овощника Трифона Евстафьевича Барабашинова. Все въ немъ было прочно и основательно: и толстыя стѣны, только что подбѣлennыя минувшимъ лѣтомъ, и небольшія стародревне-«купецкія» оконца почти всегда плотно прикрыты въ нижнемъ этажѣ желѣзными ставнями съ желѣзными болтами-застежками, и тяжелыя наборныя байдачныя ворота о двухъ щитахъ и двухъ калиткахъ съ дубовыми засовами, и высокій бревенчатый заборъ кругомъ стараго плодоваго сада, съ острыми гвоздями вверху... Просто—калина съ малиной, а не домъ.

Самъ Трифонъ Евстафьевичъ, плотный дѣтина съ большой квадратной головой на короткой шеѣ, круглый годъ проживалъ обыкновенно въ самой Москвѣ, самолично завѣдывая своими овощными лавками и складами, и лишь изрѣдка наѣзжалъ въ свой слободскій домъ, да и то не надолго и притомъ всякій разъ какъ-то таинственно, по ночамъ, точно хоронясь отъ посторонняго взгляда: пріѣдетъ, бывало, позднимъ вечеркомъ, а къ утру, глядишь, его ужъ и нѣтъ опять. Въмѣсто же него всѣмъ слободскимъ хозяйствомъ безконтрольно управлялъ старый лысый Силантій.

Удивительно ловкій человекъ былъ этотъ Силантій. И къ тому же, какой-то особенный: все-то онъ вздыхаетъ, всегда такой елейный, всегда пахнетъ ладаномъ; одѣтъ во все черное; на рукахъ, словно у монаха, четки и говорить такъ важно, медленно поучительно и только о божествен-

¹ См. рисунокъ на 1 стр.

номъ. Даже о рѣпѣ съ морковью заговорить, и то какъ-то на божественное сведеть: сейчасъ про «кринъ сельный» упомянетъ. о «тыквѣ» ниневійской рѣчь поведетъ, или же— о «сѣкирѣ» при какомъ-то не приносящемъ добраго плода «корнѣ-плевелѣ», который ею посякается и, «яко насажденіе лукаваго», во огонь вметається...

Одно слово—«притрепетный (какъ про него говорили) и до всего душеполезнаго самый приблизительный и святой человѣкъ»...

Даже въ слободу—и въ ту онъ явился какъ-то необычно и особенно.

Стояла чудная благоуханная іюньская ночь. Съ огородовъ и полей тянулъ пряный аромат овощной зелени и цвѣтовъ. На старой липѣ въ саду «пѣялъ свои писни» залетний соловей-пѣвунъ,—дивныя, неподражаемая, полная глубокой манящей страсти «писни»...

Покончивъ свои дневныя огородныя работы, большинство барбашинскихъ работниковъ и работницъ давно уже прошло на другой конецъ слободы, въ веселый кабачокъ Ваньки Дериглаза, гдѣ они привыкли проводить чуть-ли не все свое свободное время и оставлять рѣшительно до послѣдней «манетки» весь свой заработокъ. Въ самомъ кабачкѣ они пили водку и пиво, шумѣли, кричали, бранились, а въ небольшомъ садикѣ сзади кабачка—мирились и шептали, подъ раскидистыя страстныя «писни» соловья, клятвы въ вѣчной (до первой зуботычины) любви.

Короче говоря, все обстояло такъ, какъ, по правиламъ и привычкамъ подмосковнаго рабочаго люда, и обстоять должно. .

Время уже перевалило за полночь, и на востокъ стыдливымъ румянцемъ вспыхнула красавица-зорька, но въ кабачкѣ стояла еще, какъ говорится, пыль коромысломъ. И вдругъ среди пьянаго шума и гама въ кабачокъ кубаремъ влетѣлъ привратникъ Спиридонъ и гаркнулъ во все горло:

— Эй вы, ж-живо!.. Хозяинъ прѣхаль!.. Требуется!..

Всѣ барбашиновцы, недоумѣвая, отправились во свояси. И вотъ тогда-то они въ первый разъ и увидѣли стараго лысаго Силантія. Поминутно вздыхая и при каждомъ вздохѣ закатывая глаза подъ лобъ, онъ смиренно топтался сзади хозяина на крыльцѣ каменнаго двухъ-этажнаго дома

— Ну что, всѣ собрались?—проговорилъ имъ Трифонъ Евстафьевичъ, когда они полукругомъ выстроились сколо крыльца.—Такъ, вотъ, слушайте. Управляющаго я къ вамъ привезъ. Вотъ онъ,—видите?.. Чтобъ у меня повиновеніе было ему, все равно какъ мнѣ. Поняли?.. Онъ и расчетъ вамъ будетъ давать, и на работы наряжать, и съ работы за лѣность да безобразія гонять... Поняли?.. Ну, то-то!..

Настало утро. На огородѣ закипѣла работа. Одни пололи, другіе поливали, третьи вытаскивали изъ земли, промывали и связывали въ пучки рѣдису, сельдерей, петрушку, морковь...

Новый управляющій похаживалъ между рабочими и со всѣми заговаривалъ и заговаривалъ какъ-то такъ, какъ съ ними до сихъ поръ никто еще не говорилъ. Всю ночь прображничавшему Ванькѣ Кулику онъ, напримѣръ, сказалъ:

— Ты, миленькій, кажись, боленъ? Поди, голубчикъ, отдохни! Послѣ доработаешь... Поди! Поди съ Господомъ, ступай!..

А Татьянѣ Ермачихѣ, грязной дѣвицѣ-поденщицѣ, внушительно бросилъ:

— А ты вотъ что, Божья дочка! Ты пѣсни-то дурацкія не ори, потому—не такое дѣло дѣлаешь, штобъ его въ сквернѣ можно было валять. Ты «траву сѣменную, яже есть вверху земли, человѣкомъ въ снѣдь уготовляешь». А это-то дѣло, самимъ Богомъ заповѣданное. и дѣлать его надлежитъ не съ пѣснями, а съ молитовкой и крестомъ. Самъ царь-батюшка благословилъ его, благоволивъ реши о себѣ:

«И дастся ему виды. цѣпь и пила ¹... Да. И ты это запомни и напредки воздержись...

Всѣ дивились и, глядя въ слѣдъ диковинному старичку, недоумѣнно крутили головами и шептали:

— Ишь, какой мудрецъ пріѣхалъ! Ну да ладно, обомнется. Поболтаетъ-поболтаетъ да и начнетъ по старому намъ шеи гнуть...

Но Силантій не «обмялся», и если, дѣйствительно, началъ потомъ «шеи гнуть», то совсѣмъ не «по старому», а по своему — *по новому*. И притомъ настолько удачно, что черезъ какихъ нибудь три года послѣ его прихода буквально все перемѣнилось въ слободскомъ барбашиновскомъ хозяйствѣ.

Точно по манію волшебника, исчезло за это время разгульное пьянство среди барбашиновскихъ работниковъ; работницы и дѣвицы-поденщицы перестали ежегодно «таскать» ребятъ; всѣ какъ-то затихли, присмирѣли; вмѣсто пустыхъ разговоровъ да пьяныхъ безшабашныхъ пѣсенъ появились елейные вздохи да духовные стихи, тоскливые, жалобные, хватающіе за душу: затянуть ихъ — вчужѣ слезы льются. Даже и по внѣшности всѣ барбашиновцы стали какими-то другими, точно выцвѣли, какъ старое, много разъ стираное тряпье. Не видно стало на нихъ ни форсныхъ «спинжаковъ» и «дипломатовъ», ни наборчатыхъ—въ гармонику—сапоговъ, ни ярко-цвѣтныхъ платьевъ и платковъ ²; лица у всѣхъ какъ будто жиромъ налились и стали желтыми, лимонно-охряными; у большинства меки поотвисли, бороды

¹ Къ этимъ словамъ Кондратія Селиванова скопцы относятся, какъ къ небесному благословенію на серьезный и упорный трудъ. И фактъ трудолюбія скопцовъ засвидѣтельствованъ многими очевидцами ихъ жизни. Любви къ трудолюбію они не покидаютъ даже въ мѣстахъ своей ссылки.

² Скопцы вообще чуждаются нарядовъ и различныхъ украшеній и считаютъ за грѣхъ гоняться за «модой». Платье любятъ носить темнаго и темно-красчатаго цвѣта.

съ усами какъ-то повылиняли, а голосъ у однихъ постепенно поднялся до юношески-свѣжихъ и высокихъ дискантовъ и альтовъ, у другихъ-же, напротивъ, спустился до хриплаго, сиплаго, точно надорваннаго и простуженнаго баса. Глаза у всѣхъ ввалились, какъ-то потускнѣли и только при видѣ постороннихъ вспыхивали какимъ-то недобрымъ загадочнымъ огонькомъ: не то зависть и злоба глядѣли изъ нихъ, не то безысходная грусть и тяжелое безнадежное отчаянье... И, вдобавокъ ко всему, за все это время хотя бы одинъ изъ нихъ попросилъ у хозяина надбавки или расчета! Ничуть не бывало: живутъ себѣ дружно семьей, всѣмъ довольные, безропотные, — да и все тутъ! Наоборотъ, многіе даже и прежніе гроши свои получаютъ отказались ¹...

И все это явилось благодаря старому лысому Силантію.

И явилось не потому, что Силантій былъ строгъ и выскателень, «гнулъ шею», не щадя «ранъ и скорпіоновъ», — нѣтъ! смиреннѣе да любовнѣе съ виду человѣка и найти было невозможно, — а просто потому, что онъ буквально за душу бралъ каждого своими «богодухновенно-усладительными» бесѣдами о «сіонскомъ соборѣ царя-батюшки Искупителя», о душевной и тѣлесной «чистотѣ» и о «лѣпости — грѣховной слѣпости»: *скопецъ* онъ былъ и за эти три года успѣлъ всѣхъ, не выключая и самого хозяина Трифона Евстафьевича, обратить въ скопчество, основавъ въ его слободскомъ домѣ настоящій скопческій корабль, пер-

¹ Изъ подражанія первенствующимъ христіанамъ, о которыхъ въ дѣянїяхъ говорится: «не баше бо нищъ ни единъ въ нихъ: елицы бо господіе селомъ или домовомъ бяху, продающе, приношаху цѣны продаваемыхъ и полагаху при ногахъ апостоль; даяшеса же комуждо, его же аще кто требоваше», каждый вновь вступающій въ общество скопцовъ обязанъ принести все свое имущество къ учителю того корабля, въ который онъ вступаетъ, такъ какъ, по мнѣнію скопческихъ учителей, «каждый, поступающій на путь Божій, долженъ отдаваться Богу душою и плотію». Въ силу этого немнѣніе частнаго имущества является въ средѣ скопцовъ какъ бы своего рода закономъ.

вымъ апостоломъ, учителемъ и кормщикомъ котораго и былъ самъ.

И—главное—все это онъ сдѣлалъ тихо, незамѣтно, безъ шума, — такъ тихо и незамѣтно, что даже бозпокойный и пронырливый слободскій кабатчикъ Ванька Дериглазъ, особенно недовольный на Силантія за то, что онъ отбилъ отъ него его прежнихъ завсегдатаевъ барбашиновцевъ,—и тотъ ничего не подозрѣвалъ.

Правда, однажды, замѣтивши, что къ Силантію довольно часто приходятъ по ночамъ какія-то загадочныя личности, онъ натравилъ на него полицію, въ надеждѣ хотя такимъ путемъ сбуть его со слободы, но полиція пріѣхала, перерыла все и уѣхала, ибо ровно ничего подозрительнаго найдено не было, никакихъ темныхъ личностей не оказалось, паспорта у всѣхъ на лицо¹, условія найма и расчетныя книги—тоже. Однимъ словомъ, все въ порядкѣ — да и баста! Въ резул татѣ самому-же Ванькѣ нагорѣло: богатый и имѣвшій въ числѣ своихъ знакомыхъ много важныхъ тузовъ и по питейной части, Трифонъ Евстафьевичъ, узнавши отъ Силантія про Ванькины «подвохи», такого ему феферу «по коммерціи» подсыпалъ, что онъ долго не могъ очухаться и только плевался да втихомолку посылалъ всѣхъ — и полицію, и Силантія, и Трифона Евстафьевича, и даже самого себя, — хотя и не въ столь отдаленныя, но зато въ очень неприличныя мѣста...

XVII.

Надъ слободой спустился студеныя октябрьскій вечеръ. Небо, словно старая запыленная декорация, было все въ

¹ «Страха ради іудейска», т. е. во избѣжаніе преслѣдованія, скопцы стараются исполнить всѣ законныя формальности, не выключая и видовъ на жительство. Если же у кого нѣтъ такового, то къ его услугамъ сейчасъ же найдется фальшивый, изготовленный въ ихъ же средѣ.

грязныхъ безобразныхъ пятнахъ. Вѣтеръ съ визгомъ вздымалъ съ промерзлой земли вороха сухого и иглистаго, точно мелко битое стекло, снѣга и, покрутивши его въ воздухѣ, съ бѣшеной силой гнѣвно бросалъ въ первое попавшееся на пути препятствіе.

Знобко, непогодливо было на улицѣ...

Всѣ слобожане давнымъ-давно покончили свои дневныя хлопоты и забрались по своимъ теплымъ хатамъ, готовясь повечерять и мирно отойти «на опочивъ». Во многихъ домахъ уже и огни погасли...

Какъ разъ въ это именно время къ дому Трифона Евстафьевича, плетясь нога за ногу, подошли три посинѣлые отъ холода путника. Калитка была уже заперта, но на стукъ скоро вышелъ привратникъ Спиридонъ.

— Кого Богъ даетъ? — окрикнулъ онъ стучавшихся.

— Голубей, голубей, Спира! Голубей!

— Ахъ ты, батюшка Царь Небесный! Да никакъ эфто вы, Ома Захарычъ?

— Я, я, Спира! Отпирай скорѣ! Студено, братикъ, очень студено...

— Ахъ, ты, милостивецъ нашъ! Да я сичасъ...

Спиридонъ засуетился около засова. Черезъ мигъ калитка, жалобно скрипя на петляхъ, распахнулась, и «серафимоподобный» Ома Захарычъ Кувалдинъ съ своими спутниками, хлыстовскимъ «пророкомъ» Игнатомъ и хлыстовской «Богородицей» Катериной, вступилъ на довольно обширный барбашиновскій дворъ. Въ глубинѣ его, прямо противъ воротъ, чернымъ расплывчатымъ пятномъ вырисовывался въ сгустѣвшихъ тѣмъ временемъ сумеркахъ деревянный, съ каменнымъ подвальнымъ этажомъ, флигель. Въ окнахъ флигеля кое-гдѣ мигали огоньки, прокладывая по двору бѣлесоватые колеблющіеся отъ снѣжной завихури блики.

Ома, очевидно, до мельчайшихъ подробностей былъ знакомъ не только съ расположеніемъ и устройствомъ бар-

башиновскаго дома, но и со всѣми его насельниками. Шагая черезъ дворъ къ флигелю, онъ буквально засыпалъ Спиридона цѣлымъ градомъ вопросовъ.

— Ну что, какъ батюшка? Во здравіи ли?

— Во здравіи, милостивецъ, во здравіи...

— А Макаръ? а Григорій? а Неонила?

— Всѣ какъ есть здоровы...

— Ну а Пармень еще не вернулся?

— Нѣтъ.

— И ничего неслышно?

— Да былъ слухъ, што быдто хорошу «заготовку» къ «опредѣленью» сдѣлалъ, да въ «руки» попался ¹...

— Гм... Нехорошо... Ну, а у васъ-то тутъ все ли «чисто» было?

— Все «чисто», кормилецъ! Все какъ есть «чисто», то-ись рѣшительно ни одного «гноуса» не заползало ²...

Въ флигелѣ стояла невыносимая духота. Пахло той особой, противной, отвратительной атмосферой, которая составляетъ специфическую принадлежность жилища скопцовъ.

Раскланиваясь направо и налево съ выглядывавшими изъ отдѣльныхъ келеекъ «голубями», Ома проводилъ Игната и Катерину въ отдѣльную комнатку, помѣщавшуюся въ концѣ

¹ Постоянные преслѣдованія, которымъ подвергаются скопцы отъ гражданскаго и духовнаго начальства, заставили ихъ быть очень осторожными въ письменныхъ и устныхъ сношеніяхъ другъ съ другомъ. Обыкновенно они употребляютъ въ такихъ случаяхъ особый, таинственный, иносказательный и мало понятный для не-скопца языкъ, на которомъ каждое слово имѣетъ особое, имъ только извѣстное, значеніе. Такъ, напр., «собака» означаетъ на этомъ языкѣ правительство, «масло горькое» — горькаго пьяницу, «масло затхлое» — распутника, «заготовка» — удачную пропаганду скопческаго ученія, «опредѣленіе» — самое осклепленіе, попасть «въ руки» — быть схваченнымъ полиціей и пр.

² «Все чисто» — все спокойно. «Ни одного гноуса не заползало» — ни одного посторонняго, враждебнаго сектѣ, лица не было.

длиннаго и узкаго корридора, а самъ тотчасъ-же направился въ двухъ-этажный каменный домъ, гдѣ въ нижнемъ этажѣ, въ двухъ чистыхъ просторныхъ горницахъ, окнами въ садъ, жилъ старый лысый Силантій, или какъ его здѣсь всѣ секретно величали, «государь батюшка Святъ Духъ Силантій Поликарповичъ»

— А, Омушка! — встрѣтилъ его послѣдній, поспѣшно вставая съ постели и натягивая на себя черное суконное полукафтанье.—Здравствуй, здравствуй, милый другъ! Садись да рассказывай,—откуда и что?

— Издалеча, батюшка Силантій Поликарпычъ, издалеча. Старо грѣховно хозяйство свое провѣдывать ходилъ...

— Это изъ Жигалева что ли, гдѣ, помнится, ты кормщикомъ-то былъ?

— Вотъ, вотъ.

— Экъ, куда тебя качнуло!.. Ну, и что-жь?

— Да сподобилъ таки царь-батюшка двухъ на праву дорогу повернуть. Привелъ. Тутотко вотъ они, въ моей келейкѣ сидятъ...

И Ома подробно рассказалъ о своихъ послѣднихъ подвигахъ. И по мѣрѣ того, какъ онъ рассказывалъ, лицо Силантія все болѣе и болѣе расцвѣтало въ радостную, фанатически-экзальтированную улыбку. А когда Ома кончилъ, онъ, поднявши глаза къ потолку и истово кладя на себя двуперстное знаменіе креста, торжественно проговорилъ:

— Хвала ти и слава, Омо, вѣрный соратникъ царевъ! Легко и радостно будетъ тебѣ, егда спуститъ батюшка десницу и катать будетъ въ колесницѣ по израильскому роду Святъ еси, и во святыхъ наречешься, зане многаши, не щадя живота своего, сѣялъ еси пшеницу и трудолюбно собиралъ ее въ цареву житницу ¹...

¹ «Сѣять пшеницу» и «собирать ее въ цареву житницу» значить совращать другихъ въ скопчество. И тотъ, кто пріобрѣтеть для секты десять новыхъ послѣдователей, почитается «святымъ», хотя-бы даже и не молился Богу.

— Да только вотъ, кормилецъ,—воспользовавшись минутой молчанія, ввернулъ Фома:—поспѣшить бы надеть съ «печатью»-го!

— А что?

— Да шатанье нѣкое зачалось въ нихъ. Сначала-то, какъ повель я ихъ, такъ кипнемъ такъ и горѣли: кажись, сами такъ бы все и вырвали... Ну, а потомъ, извѣстно, до рога... лишенья... холодъ... стара привычка... Въ одномъ мѣстѣ гляжу, — анъ промежъ ихъ и неладно: смѣшки да шопотки, а далѣ — и того болѣ... Ну я сичасъ ихъ образумилъ, епетимѣйку наложилъ, про «страды»¹ царевы рѣчь повель... Ничего, опять какъ встрепанные стали... А только есть еще закваска въ нихъ, есть! Бродить, грѣхолѣпостная, мутить жидовску кровь...

— Гм...

— Тѣмъ паче, кормилецъ, што Игнашка-то — старый воробей, изъ нищевродовъ..

— Гм... Такъ поспѣшить, говоришь, нужно?

— А што жъ? Скрутить поскорѣе---да и дѣлу конецъ: по крайности, безъ заботы будетъ...

— Такъ-то оно такъ, Фомушка! А все-же оно какъ-то неладно будетъ: не по закону... Самъ знаешь, что искусство еще нужно пройти, оглашенье исполнить²...

— Да што же «оглашеніе»! Оглашеніе по нуждѣ и сокращеннымъ чиномъ пройти можно...

— Вѣрно. Многіе святые такъ поступали. Даже и со всѣмъ безъ оглашенія «печатали»³... А только знаешь, Фо-

¹ «Страды»—повѣствованіе самого основателя скопческой секты о тѣхъ приключеніяхъ, какія ему пришлось испытать во время своей скипчальческой жизни.

² Обыкновенно, поступающій въ секту долженъ прожить нѣсколько недѣль у скопца, которому отдадутъ его въ наученіе. Это наученіе и называется у скопцовъ «оглашеніемъ».

³ Разумѣются случаи оскотленія насиліемъ. Такихъ случаевъ въ исторіи скопчества очень много.

мушка, я думаю што тутъ-то оно и ни къ чему, потому коли ежели къ намъ они попали, такъ нашихъ рукъ ужъ не минуютъ. Не бось,—не уйдутъ, не выскочатъ!.. Ты какъ полагаешь? А?

— Да эфто што и толковать!

— Ну, вотъ, то-то оно и есть. Вотъ раздѣлить ихъ нужно, — это точно. Игната-то ты къ себѣ возьми, а ту.. Какъ, бишь, ее?

— Катерина, милостивецъ, Катерина!

— Ну, а Катерину къ Неонилѣ сунуть надо. . Да нарядъ нарядить, чтобъ кажинно слово, кажинно дѣйство ихъ извѣстно было. Особливо по ночамъ сторожить покрѣпче. Да все эфто такъ, чтобъ невдомекъ имъ было, чтобъ и подумать не могли, что за ними денно и ночью во сто глазъ зорять... Вотъ тогда и можно все какъ слѣдовать произвести: и оглашенье, и все такое прочее... Завтра, къ примѣру, «сіонскій соборъ» ¹ назначимъ, а такъ черезъ недѣлку—«приводъ» ², опосля котораго ты Игнашку, а Неонила Катерину и «запечатаете»... Ладно?

— Ладно, ладно, кормилецъ! Ладно! .

— Ну, а коли ладно, то и разговору конецъ!.. Давай садись теперя да повечеряемъ вмѣстяхъ: въ дорогѣ-то не до ѣды. Немало, поди, туги всякой принять пришлось... Знаю я всю эфту музыку: самъ все произошелъ... Однажды вотъ, стоитъ тебя, забрался я въ лѣсную сторону да въ одной деревушкѣ и наладилъ было одного парнишку въ «ангельскій чинъ» оправить. Вотъ-съ. Хорошо. Напоилъ это я его «мачкомъ» на ночь ³, да, должно быть, обмишурился: мало-

¹ «Сіонскій соборъ» — одно изъ названій молитвенныхъ собраній скопцовъ.

² «Приводъ»—чинъ пріянія въ секту.

³ Для достиженія своихъ преступныхъ цѣлей скопцы нерѣдко пускаютъ въ ходъ различные одурманивающіе напитки, которыми опаиваютъ намѣченную жертву и которые извѣстны у нихъ подъ общимъ названіемъ «мачка»

като далъ Только что чиркнулъ малость, онъ и зареви! Ну меня сичасъ, раба Божьяго, сцапали да и давай колотить! То ись такъ отчехондрили, милый ты мой, что въ чемъ только душа жива осталась!..

И долго еще, сидя за сытнымъ ужиномъ, разговаривали между собою скопческій кормщикъ и его первый апостоль.

Между прочимъ Силантій подробно передалъ Оомѣ о томъ, какъ попался въ «царевой работѣ» второй его апостоль Пармень, какой переполохъ поднялся изъ-за этого въ корабль и что стоило Трифону Евстафьевичу его выкабальить.

— То ись сыпаль это онъ, сыпаль чрезъ разны руки— и все даромъ Наконецъ-таки нашлась одна добрая душа, помогла въ пересылкѣ «пауковъ» ¹ опоить... Ну дѣло-то и сладилось: брушлеты зубиломъ ² — да и айда!..

— Гдѣ-же онъ теперя?

— А Богъ его знаетъ! Охутился ³, должно быть. Выжидасть... А можетъ, и вновь сѣти въ море закинулъ, потому, стоитъ тебя, только о томъ и печется, чтобъ какъ можно больше царю-батюшкѣ свѣжихъ «бѣлыхъ рыбокъ» наловить ⁴..

XVIII.

На слѣдующій день Силантій съ утра-же отправилъ къ Трифону Евстафьевичу извѣстіе о томъ, что пришелъ Оома Захарычъ и привелъ съ собою двухъ новыхъ «названниковъ» и что по этому поводу имъ назначенъ сегодня, для ознакомленія новоприбывшихъ съ ихъ богомолениемъ, торжественный «сіонскій соборъ».

Настала ночь. Какъ и вчера, вѣтеръ заигрывалъ въ мя-

¹ «Паукъ» — конвойный солдатъ.

² «Зубило» — пила, подпилочъ.

³ «Охутиться» — спрятаться, скорониться.

⁴ «Бѣлыя рыбки» — одно изъ названій скопцовъ.

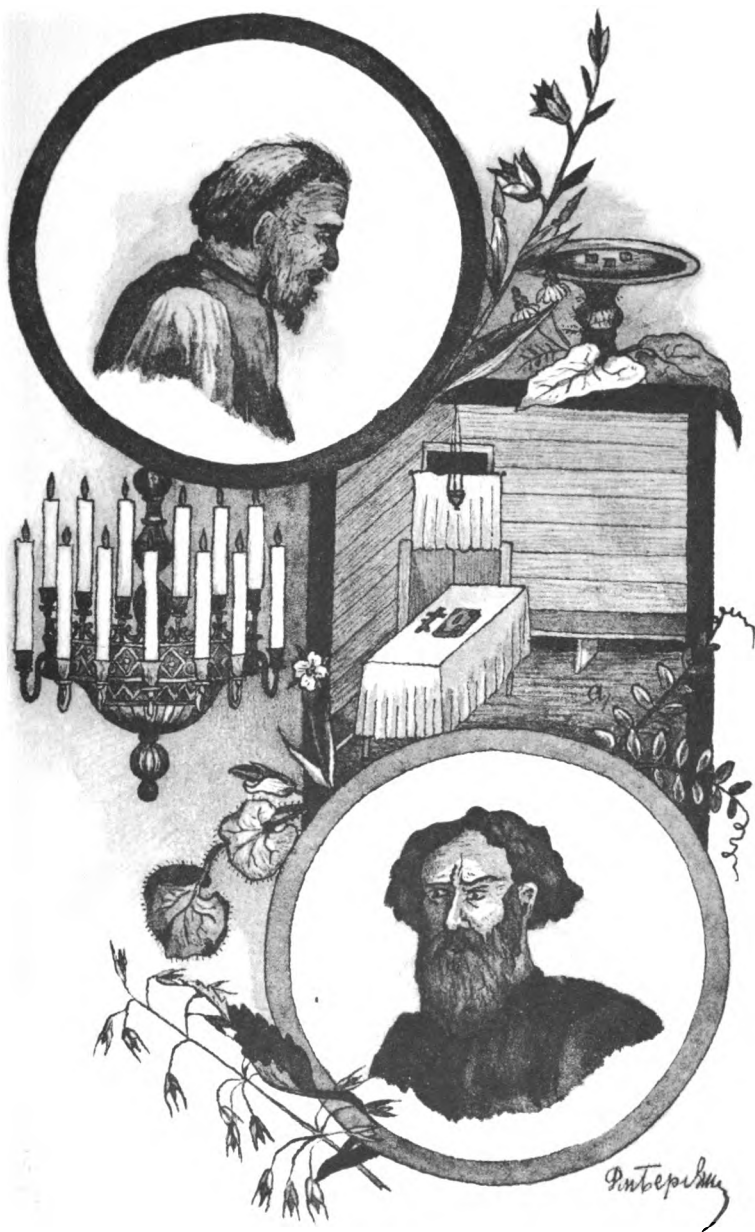
тель, съ адскимъ хохотомъ и стономъ кружа въ воздухѣ снѣжными крупинками...

— Слава ти, Христу,—и сторожить не надо!—радостно проговорилъ Силантій, прислушиваясь къ порывамъ вѣтра и, вмѣстѣ съ Трифономъ Евстафьевичемъ, пробираясь черезъ дворъ во флигель, гдѣ въ подвалѣ, за двумя кладовыми, съ полу до потолка заваленными разнымъ овощнымъ товаромъ, помѣщался скопческій «сіонъ».

Это была обширная комната, съ низкимъ сводчатымъ потолкомъ и двумя маленькими полуаршинными оконцами, наглухо забитыми извнутри войлокомъ и деревянными щитами. Убранство комнаты, въ общемъ, было то-же, что и въ хлыстовской «сіонской горницѣ»: тѣ-же скамейки вдоль стѣнъ, божница со старинными потемнѣвшими и завѣшенными пеленой иконами, накрытый бѣлой скатертью столъ съ крестомъ и евангелиемъ по срединѣ, люстра, свѣшивавшаяся съ потолка... Только все это, благодаря стараніямъ и усердію Трифона Евстафьевича, было здѣсь богаче, наряднѣе. Скамейки, напр., были обиты краснымъ сукномъ. люстра—серебряная, съ массой хрустальныхъ подвѣсокъ, радугой переливавшихся на огнѣ свѣчей...

Какъ на чисто-скопческую особенность, можно указать лишь развѣ на большую, въ богатой золоченой рамѣ, картину: «Изображеніе бездны и ключа ада»¹ и особенно — на два портрета съ возженными предъ ними въ золотыхъ стѣнныхъ подсвѣчникахъ свѣчами. На одномъ изъ этихъ портретовъ изображенъ изможденный, полусѣдой старикъ въ темно-голубомъ бархатномъ халатѣ съ черной соболиной опушкой и съ бѣлымъ галстухомъ на шеѣ, повязан-

¹ Справа на картинѣ изображена мрачная пещера съ адскимъ пламенемъ, пышавшимъ изъ ея отверстія. Изъ этой пещеры попарно выходятъ діаволы, неся на своихъ плечахъ нѣчто безформенное и отвратительно-циничное: «бездну адову». На цѣлую голову выше ихъ шествуетъ самъ сатана съ «ключами ада» въ рукахъ. Картина символическая, съ специально скопческимъ сюжетомъ.



Вверху—Ома Кувалдинъ. Внизу—Евдокимъ Харловъ.
а. Красный уголь скопческаго „Сіона“.

нымъ большимъ вѣрообразнымъ бантомъ. Старикъ сидитъ въ креслѣ, положивъ правую руку на красный обѣ одной ножкѣ столъ, на которомъ стоитъ корзина съ вѣткой винограда и двумя нето персиками, нето яблоками. Старикъ этотъ—самъ батюшка «единородный Сынъ Божій», самъ «второй Христосъ», «праведный судія» и «царь-Богъ израилевъ»—Кондратій Селивановъ. На другомъ портретѣ изображена «пречистая матушка» Кондратія Селиванова—«Богородица» и «приснодѣва» Акулина Ивановна.

Какъ на особенность-же скопческаго «сіона», сравнительно съ хлыстовскимъ «сіономъ», нужно указать еще на то, что описанная нами горница всецѣло предназначена была для однихъ лишь мужчинъ. Для женщинъ-же тутъ-же, рядомъ, устроена была другая такая-же комната, соединенная съ мужской посредствомъ широкой арки съ зеленой шелковой портьерой, свободно ходившей на кольцахъ.

Когда Силантій и Трифонъ Евстафьевичъ вошли въ этотъ «сіонъ», то всѣ «голуби» и «голубицы» давнымъ-давно были уже тутъ. На всѣхъ на нихъ былъ точно такой-же «уборъ Божій», какой мы видѣли на «людяхъ Божіихъ» въ Жигалевѣ. Разница заключалась лишь только въ томъ, что мужчины, помимо бѣлой «радѣльной» рубахи, имѣли еще бѣлыя-же широкія шаровары, да пояса у всѣхъ были не чисто бѣлые, а пестрые. У пророковъ же и апостоловъ—красные съ зеленымъ.

Вмѣстѣ съ другими были въ «сіонѣ» и Игнатъ съ Катериной. Первый сидѣлъ въ мужской горницѣ, рядомъ съ Ѳомой, а вторая—въ женской, рядомъ съ Неонилой. Скопческаго «убора Божьяго» имъ еще не полагалось, а потому они были въ томъ, въ чемъ пришли изъ Жигалева.

Началось обычное, какъ и у хлыстовъ, взаимное привѣтствіе.

Когда оно было кончено, Силантій возложилъ себѣ на плечи сплошь шитое золотомъ и серебромъ полотенце, нѣчто вродѣ омофора, взялъ кадильницу и началъ «трижды

по трижды» кадитъ предъ иконами и портретами. Потомъ, отдавши кадильницу, онъ подошелъ къ столу, взялъ въ одну руку крестъ, а въ другую—зажженную свѣчу и, проговоривъ: «Помолимся, дѣтки, за государя-батюшку¹, за избранныхъ его, сидящихъ въ темницахъ, сосланныхъ въ ссылку, живущихъ по разнымъ странамъ и иныхъ, хотящихъ волею пріити въ «повнаніе истины»,—затянулъ сначала «Царю свѣтъ небесный», а потомъ—«многое множество моихъ, Богородице, прегрѣшеній» и, наконецъ, извѣстный скопческій стихъ—«Царство, ты царство, духовное царство...»

Всѣ дружно подхватили, и вотъ тоскливая, полная по мѣстамъ непостижимо-чарующихъ звуковыхъ переливовъ, пѣснь поплыла по подвалю. Глубокая сердечная скорбь и слезы порой слышались въ ней,—слезы жгучія, накопившія, о чѣмъ-то далекомъ и на вѣки безвозвратно потерянномъ..

Царство, ты царство,
Духовное царство!
Стоишь ты, царство,
Во вѣки нерушимо.
Во тебѣ-ли, царство,
Благодать великая...
Во тебѣ-ли, царство,
Бѣлы голуби летаютъ;
Бѣлы голуби летаютъ,
Сизы горлицы витають...

Но вотъ съ затаеннымъ вздохомъ, съ невыплаканнымъ рыданіемъ, точно до высшей степени натянутая и вотъ-вотъ готовая лопнуть струна, замеръ послѣдній аккордъ. Высокіе, чистые и какъ-то особо пріятные скопческіе дисканты, альты и тенора залились-залились, зазвенѣли, задрожали—и

¹ Разумѣется Кондратій Селивановъ.

смокли, какъ будто растаявъ въ воздухѣ, какъ легкое, пушистое, прозрачно-кружевное юньское облачко ⁴...

Силантій, все время стоявшій лицомъ къ иконамъ, обернулся и громко привѣтствовалъ всѣхъ:

— Христось воскресе!

— Воистину царь-батюшка воскресе!—радостной волной прокатилось въ обѣихъ горницахъ.

Послѣ этого Силантій трижды осѣнилъ всѣхъ крестомъ и свѣчою и грузно опустился у стола на скамейку. За нимъ разсѣлись чинно, по достоинствамъ, и всѣ присутствовавшие и тотчасъ-же разостлали на колѣняхъ свои «покровцы».

Минуты двѣ продолжалось молчаніе. Всѣ сидѣли опустивши головы на грудь, грустные, строгіе, сосредоточенные. Казалось, радостное «воскресное» привѣтствіе скользнуло по нимъ, какъ осенній прощальный лучъ,—и скрылось, а вмѣсто него, одновременно съ наступившимъ тяжелымъ молчаніемъ, опять заползла въ душу и тоскливо зазвенѣла въ ней неслышными міру сердечными «гласами» только что предъ тѣмъ оконченная пѣснь: «Царство ты, царство, духовное царство»!..

И вдругъ всѣ вздрогнули и уставились на кормщика.

— Братіе!—какъ-то особо громко среди мертвой недвижной тишины началъ Силантій.—Братіе! велика милость царя-батюшки Искупителя. День отъ дня растетъ и множится его благовѣрное стадо. Отъ востока, сѣвера и моря текутъ въ него, яко каменіе самоцвѣтное, избранныя души,

⁴ Что скопческіе голоса, за исключеніемъ басовъ, отличаются особо чистотою, свѣжестью и пріятностью, это подтверждается уже тѣмъ, что въ Италіи до конца XVIII столѣтія лучшіе хоры пополнялись исключительно оскопленными. Говорятъ, число ежегодно оскопляемыхъ съ этою цѣлью простиралось до 4.000 человекъ. И насколько достигалась такимъ путемъ цѣль можно судить изъ примѣра знаменитаго пѣвца-скопца К. Броски (Фаринелли), заслуженно пользовавшагося въ свое время громадной извѣстностью.

суетную велелѣпность міра сего отвергшія. И съ каждою такою притекающею душою все ближе и ближе отъ насъ царство Христово, егда батюшка явится, красное солнце прикатится, въ домъ Давидовъ возвратится, на престолѣ воцарится¹... Вотъ и нынѣ собрахъ вы сюда, да увѣсте, что и нынѣ двѣ сироты хотять войти въ святы ворота, второе чистыми родиться, злой природы свободиться... Серафимоподобный апостолъ нашъ, святы Ѳома Захарычъ, пришель, дѣтки! Съ нимъ-же, благодаря его трудамъ и подвигамъ, притекли сѣмо и оные двое сиротъ, оные два будущихъ заграничныхъ воина царя небеснаго. И вы зрите ихъ: средѣ васъ они...

Всѣ невольно обернулись и оглядѣли Игната и Катерину, блѣдныхъ, взволнованныхъ и какимъ-то неприятно-рѣжущимъ темнымъ пятномъ выдѣлявшихся изъ среды одѣтыхъ во все бѣлое скопцовъ.

— Возблагодаримте-же, дѣтки, — продолжалъ между тѣмъ Силантій, — всемилостиваго Спаса за такое явное благоволеніе къ нашему зеленому сіонскому саду! Горѣ воздвигнемъ сердца, да снидетъ въ насъ сила Искупителя-отца! Да и у сихъ, притекшихъ, ея дыханьемъ, благодатнымъ напаянемъ, прозрѣютъ очи отъ темныхъ ночи, раскроются уши, отверзутся души, очистятся чресла отъ огня небесна и отпадетъ тьма отъ ихняго ума...

И потомъ, обернувшись къ Трифону Евстафьевичу, онъ съ низкимъ поклономъ закончилъ:

— Ну-ко-сь, господинъ хозяинъ, благоволи намъ съ государемъ-батюшкой повеселиться, небесною пищею насладиться, Богомъ-свѣтомъ завладеть и на святомъ кругу его покаты!

Неуклюжій, квадратноголовый Трифонъ Евстафьевичъ монотонно, какъ затверженный урокъ, отвѣтилъ:

¹ Разумѣется второе «славное» пришествіе лжеискупителя Селиванова и его воцареніе на російскомъ престолѣ.

— Родимый ты нашъ батюшка, вѣдь ты самъ знаешь: всѣ мы собрались не стѣнъ моихъ смотрѣть, а мягкихъ пи-роговъ ⁴ твоихъ покушать да слова Божьяго отъ тебя, го-сударя, послушать.

— Аминь,—произнесъ на это Силантій, и воздѣвши руки, къ потолку, затунулъ тотъ-же самый предрадѣльный гимнъ, какой мы слышали и въ Жигалевѣ:

„Дай къ намъ, Господи, дай къ намъ Иисуса Христа!“..

Началось такъ называемое «крестное» радѣнье.

Всѣ «голуби», а вслѣдъ за ними и «голубицы» въ своей горницѣ, одновременно производимыми прыжками разбѣжались по четыремъ угламъ «Сіона» и, повертѣвшись тамъ на пяткѣ правой ноги слѣва направо, такими-же прыжками принялись перебѣгать изъ своего угла въ расположенный накрестъ, а изъ него, послѣ такого-же верченья, опять въ свой и т. д.

Началась, однимъ словомъ, такая-же невообразимая ку-терма, какую мы видѣли и при хлыстовскомъ «круговомъ» радѣньѣ. Перебѣгая изъ угла въ уголъ, всѣ такъ-же, какъ и жигалевскіе братья-корабельщики и сестры-корабельщицы кривлялись, стонали и изступленно выкрикивали:

— Ай Духъ! Ай Духъ! Царь Духъ! Богъ Духъ! Накати! Благодать, сокати!..

И опять такъ-же, какъ и у «людей Божіихъ», благо-дать въ концѣ концовъ «сокатила», и объявились «пророки». Одни изъ нихъ прорекали «общую судьбу», другіе—«част-ную судьбу», но тѣ и другіе, точно по уговору, одинаково имѣли въ виду на этотъ разъ исключительно присутство-вавшихъ на соборѣ «названниковъ»—Игната и Катерину.

— Вонъ, вонъ! Ступай вонъ!—кропя кругомъ оторопѣ-лаго Игната освященной водой и точно отгоня отъ него кого-то невидимаго и враждебнаго, выкрикивалъ съ пѣной у рта пророкъ Макарь.—Нечего тебѣ здѣсь дѣлать! Не

⁴ Т. е. пророчествъ.

твой онъ теперь! Онъ—нашъ! Слышишь?.. Нашъ!.. Мы его давно тутъ поджидали! Онъ мнѣ, Богу и Духу святому, надобенъ. Онъ избранъ самимъ Христомъ, крестится святымъ мечомъ .. Святъ-святъ-святъ. Аллилуя!.. Себя скоплю, себѣ рай куплю... Вонъ!.. Аллилуя!..

— Возвеселися, молодица, изъ лѣсу темнаго дѣвица!— въ то-же время бормотала предъ запуганной Катериной суровая, страшная старуха, «пророчица» Неонила, ближайшая и вѣрная помощница Силантія на женской половинѣ.— Сама пресвятая Богородица, свѣтъ-матушка дѣвородица, со ангелы и архангелы уготовляетъ тебѣ пирь съ женихомъ нетлѣннымъ, царемъ неизреченнымъ. Иди-жь къ нему, иди! О мірской жизни не тужи! Тамъ радости поболь: жить будешь въ его волѣ, на него вѣчно взирать, цвѣты райскіе собирать...

Но вотъ духъ пророчества «изсякъ». Округа Божія пуста.

Окинувъ всѣхъ испытующимъ взглядомъ и убѣдившись, что «ходить въ словѣ» больше никто еще не будетъ, Силантій всталъ и запѣлъ: «Христокъ воскресе» ..

Всѣ «голуби» и «голубицы» красиво и стройно подхватили, а по окончаніи священной пѣсни другъ за дружкой принялись прикладываться ко кресту и къ «покровцамъ отца-Искупителя», а затѣмъ, земно поклонившись Силантію въ ноги, чинно усаживались опять на свои мѣста.

Сидѣли всѣ молча до тѣхъ поръ, пока въ обѣ горницы,—какъ мужскую, такъ и женскую,—не были внесены кораблиценскими стряпухами длинные столы на козельцахъ и на нихъ не была приготовлена, какъ и въ Жигалевѣ, послѣрадѣльная «вечера любви». Тогда всѣ помолились и, пропѣвъ стишокъ:

Богъ съ неба къ намъ скатилъ,
Намъ трапезу благословилъ,—

не спѣша уѣлись за «трапезу» и принялись съ аппетитомъ

поѣдать пшеничные пироги съ яйцами и рисомъ, моченые яблоки и прочую, не столько вкусную, сколько «купецки»-обильную, барбашиновскую снѣдь...

— Съ миромъ, съ миромъ, дѣтки!—послѣ насыщенія напутствовалъ всѣхъ на «нощный покой» старый лысый Силантій.—Милость и благодать да будетъ надъ вами!..

— И надъ тобой, батюшка Святъ Духъ! И надъ тобой, истинный царь-Богъ!—съ земнымъ поклономъ отвѣчали «бѣлыя овечки» и тотчасъ-же расходились по своимъ кельямъ.

«Сіонъ» опустѣлъ..

XIX.

Сама не своя вернулась съ «голубинаго» радѣнья хлыстовская «Богородица» Катерина.

Многое изъ того, что она видѣла и слышала на немъ, было ей хорошо знакомо по Жигалеву, но много было и совершенно новаго. И это новое произвело на нее сильное впечатлѣніе.

Страшная картина «бездны адовой», раздѣленіе «Сіона» на двѣ горницы, радѣніе мужчинъ отдѣльно отъ женщинъ, «вечеря любви» на двухъ столахъ—мужскомъ и женскомъ, полное отсутствіе послѣтрапезной «Христовой любви»— все это было нѣчто такое, что совершенно шло въ разрѣзъ съ хлыстовскими понятіями и привычками и какъ нельзя болѣе согласовалось съ тѣмъ, что проповѣдывалъ ей и Игнату Ѳома. Значить, не вралъ этотъ послѣдній. Значить, и впрямь у нихъ по хорошему, *по чистому*,— не то, что въ затерявшемся среди дремучаго лѣса Евдокишкиномъ гнѣздѣ, изъ котораго она такъ неожиданно-негаданно для самой себя упорхнула...

— Бррр... гадость!—при воспоминаніи о послѣднемъ неволью прошептала Катерина.

Но особенно потрясающее впечатлѣніе произвело на нее «пророчество» корявой, безобразной Неонилы.

— «Иди-жъ къ нему, иди!»—точно огненными звуками звучить въ ея мозгу и отдаетъ въ сердцѣ роковое, призывное, пророческое слово:

«Иди!»

«Вѣдь само небо чрезъ уста святой пророчицы объявило тебѣ, что ждуть тебя, что сама пресвятая Богородица, эта чудная, свѣтозарная Богородица, портретъ которой ты видѣла на стѣнѣ, *уготавливаетъ тебѣ брачный пиръ съ самимъ Господомъ Христомъ!* Чего же тебѣ еще болѣе? Какого указанія еще нужно?..

«Иди!...»

— Боже мой, Боже мой, неужели?! Неужели я, такая маленькая, грѣшная, недостойная, вдругъ стану невѣстой Христовой?—съ блѣдной растерянной улыбкой шепчетъ Катерина.

«А ты не сомнѣвайся и не разсуждай, а «иди!»—пѣло ей въ уши что-то властное и не допускающее никакихъ возраженій.—Не твое дѣло знать, въ комъ царю-батюшкѣ обитать!..»

— Судьба, значить, судьба!..

И предъ мысленными очами Катерины уже рисуется въ заоблачной голубой выси залитый дивнымъ неугасающимъ свѣтомъ райскій чертогъ. И въ этомъ чертогѣ—онъ, ея «божественный женихъ». На пречистомъ его ликѣ, истомленномъ искупительными «страдами», блуждаетъ радостная улыбка. И эта улыбка какъ будто говоритъ ей: «Ну иди-же ко мнѣ, иди!..»

И вотъ она вся трепещетъ, сама не своя. Сердце ея то замирало отъ чего-то сладкаго и невыразимо-пріятнаго, то, словно предчувствуя какую-то скрытую за всѣмъ этимъ сладкимъ бѣду, начинало биться съ страшной, невѣроятной силой. Временами казалось, что вотъ-вотъ, еще одна минута—и оно разорвется въ ея груди на мелкія клочья...

Подъ не менѣе сильнымъ впечатлѣніемъ оставилъ скопческій «Сіонъ» и пророкъ Игнатъ.

И его поразила невиданная имъ доселѣ обстановка радѣнья, а въ особенности — это, соединенное съ какими-то таинственными мистическими дѣйствіями, пророчество Макара.

Въ первое время, какъ послѣдній началъ кропить вокругъ него, онъ даже съежился отъ страха и, торопливо крестясь, безтолково зашепталъ: «Чуръ меня, чуръ! Наше мѣсто свято. Сгинь, пропади, вражья сила!» А когда немного успокоился и понялъ изъ словъ Макара, что онъ, Игнатъ, имъ, всѣмъ этимъ собравшимся здѣсь людямъ, для чего-то «надобенъ» и даже «избранъ» во что-то самимъ ихъ «Христомъ», — ему вдругъ стало очень весело и радостно. Въ головѣ его сейчасъ-же мелькнула гордая, самодовольная мысль, что вотъ, дескать, онъ каковъ: не успѣлъ придти, какъ всѣ уже встрѣчаютъ его съ распростертыми объятіями. Что же будетъ, думалось ему, послѣ этого дальше? А дальше, очень можетъ быть, и даже совсѣмъ можетъ быть, что, при его смекалкѣ, онъ и здѣсь, въ этомъ, повидимому еще болѣе тепломъ и сытомъ, чѣмъ въ Жигалевѣ, гнѣздѣ, будетъ далеко не послѣдней спицей въ колесницѣ. Кто знаетъ, можетъ — вотъ этотъ-же самый Макарь предъ нимъ шею будетъ гнуть... «Что-жь? Это очень хорошо. Прямо даже расчудесно»...

Но рядомъ-же съ этимъ, подмѣтивши въ устремленныхъ на себя глазахъ какой-то холодный и, точно у голоднаго волка, затаенно-недобрый и беспощадный огонекъ, Игнатъ почувствовалъ себя и не хорошо. Ему вдругъ стало чего-то жутко, чего-то боязно, чего-то безконечно и безотчетно, до слезъ, жаль. И это непонятное, тяжелое чувство не только не уменьшилось, когда онъ покинулъ «Сіонъ», а напротивъ — все болѣе и болѣе росло...

— И чево это они? Чево имъ нужно отъ меня? — ворочаясь съ боку на бокъ въ Оминой кельѣ, шепталъ про себя Игнатъ. — Вѣдь такъ, анаемы, кажись и слопали-бы!.. И всѣ точно съ одной колодки: и бабы, и мужики — не отличишь... Ужли и я такой-же стану? Вотъ такъ штука!.. Н-да, нечего сказать: попалъ таки въ уху...

Забрежжило утро. Во флигелѣ было еще темно, но Оома уже разбудилъ Игната и Катерину и заторопилъ ихъ въ каменный двухъэтажный домъ.

— Вставайте! Самъ государь-батюшка, Святъ Духъ Силантій Поликарпычъ, васъ возжелалъ видѣть. Да помните, какъ только войдете, сичасъ метанья нужно совершить да къ ручкѣ подойти. Поняли?..

И когда Игнатъ съ Катериной вошли и исполнили все такъ, какъ наказывалъ имъ Оома, — Силантій, одѣтый, по обыкновенію, во все черное, поучительно имъ сказалъ:

— Вотъ вы были вчера на нашей «вечери», слышали небесный «изволь» о себѣ, такъ смотрите: блюдитесь, да не преткнется нога ваша о камень. Врагъ силенъ. Онъ, яко тать-ношеглагольникъ, сторожитъ васъ, ежечасно занимая умъ срамными представленіями и ввергая тѣло и душу въ мятежъ и зловоніе богомерзкой лѣпости. Яко Далила любопрелестная, онъ хитеръ и коваренъ: приражая — сдружаетъ и плѣняя — губить. Бойтесь же его, зане «кто будетъ на угліяхъ, ногъ не сожжетъ-ли»? И, бояся, бдите, ибо токмо тѣ, иже «духомъ дѣянія плотская умерщвляють, живи будутъ». Не довѣряйте брению, а умерщвляйте его. Поститесь и молитесь: постъ и молитва — колесница, возносящая на небо, пресѣченіе разженія, освобожденіе отъ сонныхъ мечтаній, избавленіе отъ слѣпоты, дверь райская и утѣха «Искупителева». Помните,—путь къ чистотѣ тернистъ и скорбенъ. Но мужайтесь и держайте, ибо велика милость царя-батюшки небеснаго и многое множество у него уготовано радостей для ищущихъ его...

И вотъ потянулись для Игната и Катерины дни тяжелого предприводнаго искуса и оглашенія.

Ѣсть давали имъ только вечеромъ, да и то лишь хлѣбъ съ водой. Спать заставляли на голыхъ доскахъ. Каждый день часа два-три они проводили въ тяжелой батрачьей работѣ, а все остальное время то отбывали, подъ руководствомъ Оомы и Неонилы, положенное число поклоновъ, то

слушали «душеспасительную» повѣсть о томъ, какъ Георгій-воинъ «не велитъ ходить въ лѣса и марать тѣлеса, а пребывать въ садочкѣ, гдѣ летаютъ голубочки», или же о томъ, какъ «ради нечистоты и непотребныхъ въ жизни искушений» нѣкая жена и сама угодила, и мужа своего за собой утащила въ адское жерло, гдѣ ихъ съ хохотомъ и визгомъ встрѣтили ликующіе бѣсы...

Тяжело было «людямъ Божиимъ». Они похудѣли, поблѣднѣли. Не разъ въ душахъ ихъ просыпалось безотчетное жгуче-страстное желаніе разорвать тотъ заколдованный кругъ, въ которомъ они очутились, но всякій разъ этотъ кругъ захлестывалъ ихъ еще тѣснѣе, опутывалъ новымъ упругимъ звеномъ. И съ каждымъ такимъ новымъ звеномъ ядовитый туманъ, которымъ былъ пропитанъ барбашиновскій домъ, сгущался вокругъ нихъ все сильнѣе и сильнѣе, холодною погребною сыростью заползалъ въ ихъ души и, точно крѣпкая азотная кислота, вытравливалъ въ нихъ послѣдніе проблиски воли...

— Ты что же это прохлаждаешься? А? О чемъ это такое замечтала? А?—заставши какъ-то Катерину задумчиво сидящей около окна, подсѣла къ ней Неонила.

Далекая лѣсная сторона, любовныя рѣчи, родныя лица, почетъ, довольство во всемъ—все это, воспоминаніе о чемъ такой властной волной нахлынуло на нее,—все разлетѣлось и испарилось, какъ дымъ: предъ ней опять эта неотвязная и суровая Неонила, а вмѣстѣ съ ней—опять это страшное роковое слово: «Иди!..»

Катерина вздрогнула и почти съ ненавистью глянула на свою «духовную матушку-восприемницу».

— А ни о чемъ! — непривычно рѣзко буркнула она въ отвѣтъ.

— Какъ «ни о чемъ»?

— А такъ и ни о чемъ!

— Ой, дѣвонька, не ладное дѣло ты побаяла. Рази ты забыла, што я — твоя «приводница» и што ты мнѣ всяку

мысль свою, всяко помышленье свое раскрывать должна! Вѣдь кто за тебя отвѣтъ долженъ дать? — Я. Вѣдь не та мать, котора тебя по плоти родила, а та, котора по духу выростила. Помни это да брось все!.. Вотъ послушай—ко лучше, какъ приснопамятный и блаженный Иоаннъ Предтеча¹ звалъ всѣхъ праведныхъ на борьбу съ грѣхомъ...

И Неонила, подперевъ голову рукой, затинула своимъ старческимъ голосомъ:

„Воспряньте, дѣти Божьи,
Для радостной борьбы,
Сражаться всѣхъ, кто можетъ,
Сзываетъ звукъ трубы.
Воспряньте, дѣти Божьи,
И врагъ вашъ побѣдить
И къ царскому подножью
Главу свою склонить...“

Поетъ Неонила, а Катерина, нахмуривши глаза, глядитъ на нее, глядитъ... И такую-то невзрачной, безцвѣтной, до отвращенія отталкивающей показалась ей вдругъ эта представленная къ ней «мать-приводница». Ни осанки, ни мяса. Просто сморчекъ какой-то, настоящая баба-яга, костяная нога... И—главное—отчего это у ней, да и не у ней одной,

¹ Разумѣется знаменитый въ исторіи скопчества Александръ Ив. Шиловъ (иначе — Фомичевъ), крестьянинъ Тульской губ., Александровскаго уѣзда, села Маслова. Это былъ человекъ твердый, суровый и не менѣе самого Селиванова обладавшій способностью изворачиваться въ самыхъ запутанныхъ обстоятельствахъ. За свою преступную дѣятельность онъ былъ подвергнутъ наказанію палками и сосланъ сначала въ Ригу, а потомъ въ Динамидскую крѣпость и, наконецъ, въ Шлиссельбургъ, гдѣ и умеръ 5 января 1799 года. О томъ, что такое былъ Шиловъ для скопчества, можно судить изъ словъ самого лжеискупителя: «Онъ былъ, — говоритъ въ своихъ «Страдахъ» Селивановъ, — вѣрный другъ и великій помощникъ, и нѣтъ мнѣ нынѣ такого помощника, и нигдѣ не могу избрать—ни въ Питерѣ, ни въ Москвѣ, ни въ другихъ городахъ». За свою фанатическую преданность скопчеству и за громадныя услуги послѣднему Шиловъ былъ прозванъ скопцами «предтечей Господнимъ».

а и у всѣхъ здѣсь, рѣшительно никакого признака грудей нѣтъ? Точно кто взялъ обтесаль ихъ на одинъ досчатоплоскій манеръ да и пустилъ такъ гулять по бѣлу-свѣту...

— Тетенька!—проговорила Катерина и еще болѣе сдвинула свои соболиныя брови.

— Чего? — взглянувъ на нее и разомъ оборвавъ пѣніе, спросила Неонила.

— А отчего это, тетенька, у васъ у всѣхъ вотъ эфтого нѣтъ? А?

Скопческая «пророчица» даже позеленѣла отъ злости.

— Отчего, говоришь?—чуть не шопотомъ переспросила она. — А отъ того, милая, что когда «архангельскій чинъ» уставляли, такъ тебя, вѣрно, не спросили: нужно-ли еще эфто или ненужно!.. Эхъ ты, еретица! Рази можетъ у «чистыхъ» быть такое? а? Рази у Евы въ раяхъ-то до упаденья было?..¹ Ишь что выдумала!.. Давай молись! Молись, говорю, штобъ царь-батюшка такую твою дурость тебѣ простилъ! Бей тыщу поклоновъ да говори при каждомъ: «Во искушенье не введи, отъ лжеученья огради!» Бей! — говорю...

И перепуганная, дрожащая Катерина чуть не силкомъ была поставлена на опухшія отъ частаго стоянья колѣна и принуждена отвѣшивать поклонъ за поклономъ.

Въ глазахъ рябитъ, въ ногахъ жилы тянеть, а сзади такъ и подхлестываетъ кто-то:

— «Иди!» — говорить, — «иди!..»

И новая волна безпросвѣтнаго тумана скрыла въ себѣ несчастную «невѣсту Христову». И въ ней, въ этой волнѣ, тупо чувствуетъ она, все тухнетъ — все... Свинцовая она какая-то и держитъ ее въ себѣ крѣпко-крѣпко: не вывернешься...

Почти тоже самое творилось и съ Игнатомъ.

¹ По убѣжденію скопцовъ, Адамъ и Ева созданы были Богомъ съ особыми духовными—«эфирными»—тѣлами, и только послѣ грѣхопаденія у нихъ появились теперешнія плотскія, грѣховныя тѣла.

Однажды вечеромъ вздумалъ было онъ навѣстить Катерину, но Оома уже былъ тутъ-какъ-тутъ.

— Ты куды эфто, миленькій? — дернулъ онъ его за рукавъ въ темномъ корридорѣ.

— А такъ, прогуляться... Землячку навѣстить...

— Землячку навѣстить?!

— Ну, да. Ужъ больно тоска одолѣла. Соскучился, то-ись, до смертушки...

— Со-ску-чил-ся?! Гм... А тебѣ што-жъ, — веселья захотѣлось? Въ тары-бары поиграть?.. Стыдись! Къ «убѣленью» готовишься — и вдругъ такія непотребства въ мысляхъ держишь...

— Да вѣдь тутъ што-жъ особливаго? Дѣло простое, само што ни-на-есть обнакновенное...

— Какъ «простое»? Какъ «обнакновенное»?.. Это откуда у тебя?

— А ниоткуда. Изъ себя. Изъ моихъ, значить, собственныхъ помысловъ, потому какъ я воленъ въ себѣ... Ну и все прочее...

Оома даже остолбенѣлъ отъ удивленія. Но прошелъ мигъ — и онъ, гнѣвно сверкнувъ въ темнотѣ глазами, съ силой рванулъ Игната въ келью и словно звѣрь зарычалъ:

— На колѣна! Молись, нечестивая душа! Кайся! Воздыхай! Проси прощенья да очищенья отъ своего грѣховнаго томленья, зане весь пался еси и приложился скотомъ безсмысленнымъ и уподобился имъ...

И Игнатъ, стоитъ Катерины, молился, — тупо, безсмысленно, механически, но молился...

И надъ нимъ колыхнулся ядовитый туманъ, метнувъ ему въ лицо новый клубокъ смертоносныхъ мiazмовъ. И онъ чувствовалъ, какъ струйки этихъ мiazмовъ, точно гады какіе, длинные, скользкіе и холодные, заползали въ него и чрезъ глаза и чрезъ уши, и чрезъ носъ, и чрезъ ротъ и, заползая, какъ-то странно, безъ словъ, ногромко и ясно твердили ему:

— Ты нашъ, нашъ! Ты намъ надобенъ, надобенъ!..

И въ такихъ-то мукахъ Игнатъ съ Катериной прожили почти цѣлую недѣлю.

Но вотъ, наконецъ, и онъ — великій день «священнаго привода»...

XX.

Снова засіялъ огнями скопческій «Сіонъ». Сотни свѣчей ярко освѣщали обѣ горницы, поблескивая на золотѣ кіотовъ и на молочномъ глянцѣ изразцовыхъ печей.

Всѣ «голуби» и «голубицы» какъ-то особенно важно и торжественно возсѣдали кругомъ стѣны. Сразу было видно, что всѣ они собрались сюда не для обычной «бесѣды», а для чего-то бѣльшаго, что не такъ часто происходитъ въ ихъ повседневной «голубиной» жизни.

И правда.

— Братіе! — загремѣлъ вдругъ къ нимъ ихъ батюшка-кормщикъ, — приспѣ день свѣтлаго торжества. Силою благодати Спаса нашего возсіяша намъ изъ тьмы два новыхъ сосуда божественной тайны. Здѣсь, предъ дверьми храма стоятъ они, уповая на милость Господню. И азъ, властію данною мнѣ свыше, благословляю васъ сегодня-же воспріяти ихъ въ свое безгрѣшное лоно, занѣ довольно просвѣщени суть отъ воспріемникъ своихъ. Уготовьте же все ко святому чиноположному привоуду!..

И тотчасъ-же двое скопцовъ-прококовъ, препоясавшись крестообразно «священной вервой», вынесли столъ съ крестомъ и евангеліемъ изъ передняго угла на средину комнаты и на каждомъ углу его прилѣпили по самодѣльной желтой восковой свѣчкѣ; третій пророкъ, храмовой «параномарь», отдернулъ пелену, закрывавшую иконы, и разжегъ кадильницу; наконецъ, двое другихъ еще пророковъ: извѣстный уже намъ Макарь да Григорій Колченогій, московскій приказчикъ Трифона Евстафьевича, благоговѣнно сняли со стѣны портретъ Селиванова и осторожно положили его на раздвижной аналой передъ столомъ.

Когда все это было сдѣлано, всѣ поднялись съ мѣсть.

Силантій взявъ изъ рукъ «параномаря» кадильницу и сталъ кадить вокругъ стола, приговаривая на одной его сторонѣ: «Во имя Отца», на другой: «во имя Сына», на третьей: «во имя Духа Святаго» и на четвертой: «Аминь». Такъ онъ обошелъ кругомъ стола три раза, а потомъ, отдавши кадильницу и ставши по правую сторону аналоя, лицомъ къ двери тихо проговорилъ:

— Введите!

Дверь отворилась, и въ комнату, въ сопровожденіи Ѳомы Захарыча и Неонилы, робко вошли хлыстовскій «пророкъ» Игнатъ и хлыстовская «Богородица» Катерина.

Всѣ «голуби» и «голубицы» такъ и впились въ нихъ глазами.

— Зачѣмъ вы пришли сюда?—съ напускной суровостью встрѣтилъ ихъ Силантій.

— Душу спасти, — прошепталъ Ѳома Захарычъ на ухо Игнату.

— Душу спасти,—прошептала Катеринѣ Неонила.

— Душу спасти, — вслухъ проговорили дрожащимъ голосомъ «люди Божіи».

— Душу спасти? — переспросилъ Силантій. — Хорошее дѣло. Похвальное и въ сей юдоли плачевной само что-ни-на-есть заглавное. Но только знаете-ли вы, что у насъ вѣдь трудно,—не то, что въ вашемъ бусурманскомъ быту: нельзя ни суесловить, ни плоти уладить, а во всяко мѣсто и во всяко время молитовки да постъ чинить, о грѣхахъ сокрушенье имѣть да къ труду прилежанье и послухъ...

— Знаемъ. Оттого и пришли.

— Да хорошо-ли знаете-то? Твердо-ли вы рѣшились плоть свою возненавидѣть, отъ неистовства содомскаго истрезвиться?

— Твердо и неукоснительно.

— Это хорошо, коли твердо и неукоснительно. А только какъ-же намъ-то о томъ знать? Кого вы въ поруку словъ своихъ дадите?

— Самого Христа, царя небеснаго.

— Самого Христа, царя небеснаго? Ладно. Только помните, что васъ никто не неволилъ, — сами пришли; никто за языкъ не тянулъ, — сами сказали. Клятва теперь на васъ лежитъ. Онъ, Милостивецъ, все вѣдь видитъ и кажинное слово ваше записываетъ. Цѣлуйте Его!..

Игнатъ и Катерина послушно приложились къ потемнѣвшему лику Спасителя, образъ Котораго былъ снятъ съ божницы и поданъ Силантію.

Тотчасъ-же послѣ этого началось «небесное оболоканье» Игната «оболокали» во всю скопческую «радѣльную» одежду мужчины, а Катерину—въ сосѣдней комнатѣ женщины.

Минуть черезъ пять все было готово, и «люди Божіи», взволнованные и блѣдные, какъ полотно надѣтыхъ на нихъ «радѣльныхъ» рубахъ, вновь стояли предъ Силантіемъ, который, внимательно оглядѣвъ ихъ и взявъ въ лѣвую рукъ крестъ, а въ правую—зажженную свѣчу, проговорилъ:

— Повторяйте за мной!.. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь,—какъ эхо, повторили за Силантіемъ Игнатъ и Катерина.

— Пришелъ я къ тебѣ, Царь Небесный, на истинный путь спасенія не по неволѣ, а по своему желанію. И прими мя. Господи, прими мя, Сынъ Божій, прими мя, Мать Пресвятая Богородица! Обѣщаюсь Тебѣ, Господи, про сіе дѣло святое никому не повѣдать: ни отцу, ни матери, ни роду, ни племени, ни старцу, ни юношѣ, ни попу, ни другу своему мірскому. А буде повѣдаю,—побѣди мя, Господи, и въ семь вѣцѣ и въ будущемъ! Не поддержи мя тогда, матушка сыра-земля, не дай мнѣ тогда, батюшка солнце красное, свѣту бѣлаго! Пособи мнѣ, Господи, претерпѣть огонь и пламя, кнутъ и Сибирь, и вся страды, всѣ муки крестныя, а сіе дѣло не отложить и сохранить и съ пути Божьяго не сойти. Обѣщаюсь Тебѣ, Господи, пива и вина не пить, на родины,

Во тѣмъ вѣковой.

на крестины, на никольщины, на свадьбы¹ и на похороны² не ходить, табаку не курить, пѣсенъ мірскихъ не пѣть, словъ худыхъ не говорить и въ хороводахъ не плясать. Обѣщаюсь Тебѣ, Господи, сіи бѣлыя рубашечки грѣхомъ содомскимъ не сквернить, а жить не къ тому убо пристрастно, но, яко ангели, безстрастно, умерщвляя Духомъ Святымъ и огнемъ вся блазнящая и мракостудная. Клянусь Тебѣ, Господи, печать избранныхъ наложить и сію тайну неизглаголанную до конца живота моего носить безъ порока и безъ ропота, безъ отступленья и упаденья. И прости мя, Господи, прости мя, Мать Пресвята Богородица, простите, ангели, архангели, херувимы, серафимы и вся сила небесная! Простите, небо, солнце, мѣсяцъ, звѣзды, земля, озера, рѣки, горы, и вся видимая и невидимая, окрестъ мя лежащая и надо мною сущая! Простите и примите, зане до конца жизни обязуюсь служить царю-батюшкѣ вѣрой и правдой: во смиреніи и страстѣ идти туда, аможе послеть, творить то, елика восхошеть. Во знаменіе сего и лобызаю пречистое его лико...

Повторивши все это за Силантіемъ, Игнатъ и Катерина сотворили три земныхъ поклона и съ благоговѣніемъ облобызали сначала крестъ, а потомъ портретъ Селиванова. Вслѣдъ за ними, какъ свидѣтели даннаго ими «царю-батюшкѣ» обѣта, приложились ко кресту и портрету и всѣ присутствовавшіе.

Послѣ этого, при громкомъ пѣніи «Елицы отъ Христа во Христа креститесь, во Христа облекостесь», Силантій обошелъ съ «новопросвѣщенными» тоекратно вокругъ стола и тотчасъ-же приступилъ къ «причащенію» ихъ.

Для этой цѣли онъ досталъ изъ нижняго створчатаго шкафика божницы серебряную вызолоченную тарелку, сдѣланную въ видѣ церковнаго диска на высокомъ поддонѣ,

¹ Свадьбы, родины, крестины — все это, по убѣжденію скопцовъ, — дѣло врага Божьяго и злой „лѣпости“.

² На похороны скопцы не ходятъ потому, что за умершихъ, по ихъ убѣжденію, „не должно молиться“.

положилъ на нее изъ особаго ковчежца, хранившагося въ томъ-же шкафикѣ, два кубикообразныхъ сухарика бѣлаго хлѣба и со словами: «Приидите, ядите, сіе есть Тѣло Мое, еже за вы ломимое во оставленіе грѣховъ», чайной ложкой поддѣлъ эти сухарики съ тарелки и одинъ изъ нихъ положилъ въ ротъ Игнату, а другой въ ротъ Катеринѣ. Потомъ изъ того-же шкафика онъ вынулъ бутылку съ ранѣ освященной водой, налилъ изъ нея двѣ полныхъ серебряныхъ стопки и со словами: «Пійте отъ нея вси, сія есть Кровь Моя новаго завѣта, яже за вы и за многихъ изливаемая во оставленіе грѣховъ», одну стопку далъ выпить Игнату, а другую — Катеринѣ¹.

Всѣ «голуби» и «голубицы» съ благоговѣйнымъ «содраганіемъ» слѣдили за «священнодѣйствіемъ» своего батюшки-кормщика. И, при произнесеніи имъ вышеприведенныхъ словъ Спасителя, какъ одинъ человѣкъ опускались на колѣна и, бія себя въ перси, шептали:

— Аминь, аминь, аминь.

То-же самое продѣлывали вслѣдъ за другими и Игнатъ съ Катериной.

¹ Скопцы, собственно, отрицаютъ таинства православной Церкви, полагая, что они, кромѣ внѣшней обрядовой своей стороны, не имѣютъ будто-бы ничего болѣе, что совершеніе ихъ не сообщаетъ человѣку даровъ благодати и не очищаетъ его. Тѣмъ не менѣе, различнымъ своимъ богослужбнымъ дѣйствіямъ они, по странному противорѣчію, усвояютъ значеніе именно таинствъ православной Церкви. Такъ, обряду „привода“ и оскотленія они придаютъ значеніе крещенія; „частной судьбѣ“, когда пророкъ, предрекая судьбу того или другого члена корабля, въ то-же время обличаетъ его въ грѣхахъ,— значеніе таинства покаянія. На причащеніе свое они смотрятъ, какъ на благочестивый обрядъ, во время котораго причащающійся лишь аллегорически повторяетъ свою клятву служить своему „батюшкѣ-искупителю“ до конца своей жизни. Вещество для своего причащенія скопцы долгое время получали или изъ Суздаля и Петербурга, или же — изъ Шлиссельбурга. Въ Суздаль и Петербургъ оно освящалось самимъ Селивановымъ, въ Шлиссельбургъ же чрезъ опущеніе въ особыя отверстія, находившіяся въ плитѣ надгробнаго памятника Ал. Шилова. Теперь оно готовится и освящается самимъ кормщикомъ корабля.

Окончивъ причащеніе «людей Божіихъ», Силантій первый затѣмъ поцѣловалъ ихъ и поздравилъ съ «просвѣщеніемъ грѣшной души и освященіемъ бrenнаго тѣла».

— Се сопричислились къ духовному стаду и къ тому не согрѣшайте,—при этомъ наставительно проговорилъ онъ имъ.—Блюдите дѣвство и чистоту, зане токмо сто и четыредесять и четыре тысячи, иже тѣлесами не осквернишася, послѣдуютъ Агнцу, аможе аще пойдетъ¹. Да печать, печать на себя наложите: она, яко броня, яко щитъ Христовъ, укроетъ васъ отъ бездны грѣховной, отъ брани, во плоти вашей воюющей...

Кряду-же послѣ Силантія стали подходить и поздравлять Игната и Катерину и всѣ остальные, называя ихъ то «братцемъ и сестрицей духовными», то «богоданными сынчкомъ и дочкой царевыми», «голубочками чистенькими» и «агнцами непорочными, отъ горехищнаго міра утекшими».

И въ то время, какъ одни подходили и поздравляли, другіе радостно пѣли торжественный скопческій «приводный» гимнъ:

Да возрадуется земля,
Да возвеселятся небеса,
Вкупѣ человѣки
Всегда же и во вѣки...

Высоко-высоко лились и звенѣли въ горницѣ скопческіе дисканты, альты и тенора. Но это было уже совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ тогда, когда они пѣли, рыдая, «царство, ты царство, духовное царство»... Не скорбь, не тоска, не слезы слышались теперь въ словахъ побѣднаго стиха, а безумная радость человѣка, нашедшаго въ поступкѣ другого

¹ Скопцы вѣруютъ, что только тогда, когда число ихъ будетъ простирается до 144 тысячъ человѣкъ, наступитъ страшный судъ, за которымъ послѣдуетъ торжество ихъ секты. Это вѣрованіе скопцовъ основывается на одномъ мѣстѣ Апокалипсиса, гдѣ говорится объ Агнцѣ, Который стоитъ на горѣ Сіонской и Котораго окружаютъ 144 тысячи праведныхъ „съ именемъ Отца Агнца“, написанныхъ на челахъ ихъ (Апок. XIV, 1—4).

повторене своего собственного—втайнѣ, можетъ быть, проклятаго — безразсудства. И звуки пѣсни уже не дрожали, не замирали, не таяли въ воздухѣ, а твердо, увѣренно, по мѣстамъ даже съ какимъ-то неприятно-рѣжущимъ стальнымъ злораднымъ хохотомъ, рокотали по «Сіону». Даже испорченные, чуть слышные обыкновенно, сильные басы—и тѣ какъ будто вдругъ окрѣпли и густо-густо отчеканивали:

Избранная дѣвица чиста,
Дѣвственная душа,
Котора крещеньемъ
Грѣхи плотски обошла
И безъ всякаго порока
Къ царю-батюшкѣ пришла...

— Пришла! Пришла!—въ крайнемъ изступленіи «ликовствуетъ» наставница несчастной Катерины пророчица Неонила.

— Пришла! Пришла! — задыхаясь отъ избытка «духовной» радости, рычитъ Трифонъ Евстафьевичъ.

— Да, да! Пришла! Наконецъ-таки, пришла! — какъ молотомъ отдастъ въ вискахъ совѣмъ ослабѣвшей и съ головы до ногъ дрожавшей мелкой непрерывной дрожью Катерины.—«Пришла»... Только ладно-ли это? Къ добру-ли это?..

Она чувствовала, что скользить куда-то внизъ. Предъ нею какая-то наклонная плоскость гладкая-прегладкая. Уцѣпиться не за что. И кто-то больно толкаетъ ее по этой плоскости, и она летитъ по ней, и чѣмъ ниже, тѣмъ скорѣе—головокружительнѣе... А внизу тьма, мракъ. И мракъ какой-то одушевленный. Въ немъ ворочается кто-то, пыхтитъ, смотритъ на нее своими мертвыми глазными впадинами и съ неслышнымъ злораднымъ хохотомъ шепчетъ ей:

— Пришла! Пришла! Слава Богу—пришла!..

Но вотъ поздравленіе кончилось. Смолкла «приводная» пѣснь.

— Не задерживай!—нагнувшись къ Силантію, прошепталъ рядомъ сидѣвшій съ нимъ Ѳома.

Силантій одобрительно мотнулъ головой и, поднявшись, проговорилъ собору:

— Братіе! вы зрите предъ собою двухъ новыхъ поборниковъ за правую вѣру нашу: чрезъ холодъ и зной, тернія и пустыню, грѣховныя паденья и шатанья Богъ привелъ ихъ, яко древній народъ Свой на крилѣхъ орлихъ, въ нашъ тихій благодатный сіонскій садъ. Но еще не все dokonчено, еще шипить въ нихъ полупридавленная глава зміева... Голуби мои! Въ сію убо священную и всепразднственную ночь надлежитъ побороть и сіе адово средостѣніе. А посему, не изнуря новопросвѣщенныхъ братій нашихъ радѣльнымъ трудомъ, разыдемся съ миромъ по кельямъ своимъ, моля царя-батюшку, да поддержитъ ихъ, да сохранитъ ихъ, да безтрудно 'убѣлитъ ихъ и тако убѣленныхъ да сопричтетъ къ своему избранному небесному воинству!..

— Аминь. Милость его и покровъ да будутъ надъ ними!—хоромъ отвѣтила «братія» и, послѣ обычнаго «прощанья» съ отцомъ—кормщикомъ, тихо разошлась изъ своего «сіонскаго сада».

XXI.

Прошло часа съ два.

Гудѣвшая весь день метель постепенно стала стихать, и изъ темной бездны небесъ ласково проглянули на землю далекія, чудныя звѣзды.

Пусто и тихо въ слободѣ. Казалось, все мирно покоится предутреннимъ сладкимъ сномъ. Но это—ошибка.

Точно семья ушановъ—нетопырей, безшумно копошились во мракѣ барабашинскаго дома «заграничные воины царя небеснаго». Съ десятокъ ихъ, закутавшись въ теплые бараньи тулупы, неподвижно стояли въ различныхъ углахъ двора и

¹ Оскопленіе въ высшей степени бываетъ болѣзненно и даже опасно для жизни. По крайней мѣрѣ, въ исторіи можно указать не одинъ десятокъ случаевъ, когда лица, подвергавшіяся оскопленію, не выносили мучительныхъ страданій и умирали.

сада, чутко прислушиваясь къ малѣйшему ночному шороху. Остальные же легкими тѣнями скользили по всѣмъ помѣщеніямъ флигеля, таинственно шушукались о чемъ-то и то замирали въ нетерпѣливомъ ожиданіи услышать что-то особенное у лѣстницы въ подвалъ, то осторожно выбѣгали во дворъ и въ садъ. Мягко шурша по только-что выпавшему снѣгу, они подбѣгали къ находившимся тамъ сторожамъ и перемолвившись съ ними двумя-тремя фразами, спѣшили обратно во флигель, къ спуску въ «Сіонъ»,—съ тѣмъ, чтобы чрезъ минуту опять выбѣжать къ тѣмъ же сторожамъ за какими-то, очевидно, очень интересовавшими ихъ справками...

Но что-же такое сторожили, чего такъ напряженно и возбужденно ожидали въ этотъ поздній ночной часъ, «непорочные» обитатели барбашиновскаго дома?

А того, въ чемъ два часа тому назадъ «новопросвѣщенные» дали имъ на «соборѣ» клятвенное «увѣренье», подтвержденное въ «причащеньи»,—

Убить врага не, въ бровь, а въ глазъ,
Разомъ отсѣчь грѣха соблазъ:
Попрять тѣлесно озлобленье,
Разрушить ада средостѣнье...

И они скоро дождались...

Уже полчаса, какъ въ барбашиновской банѣ, что пріютилась на берегу небольшого прудка среди разукрашеннаго инеемъ сада, затопилась печка, и въ ней ярко горитъ пламя жадно облизывая красноватыми языками толстыя, сухія, смолистыя полѣнья.

Предъ печкой, въ одной холщевой рубахѣ съ засученными по локоть рукавами, точно гномъ какой, сидитъ на корточкахъ Оома и повертываетъ изъ стороны въ сторону между полѣньями за длинную деревянную рукоятку острый и до красна раскаленный ножъ.

Тутъ-же, въ двухъ шагахъ отъ него, на лавкѣ близъ стола, на которомъ предъ зажженной восковой свѣчей лежитъ

на бѣломъ полотенцѣ крестъ и евангеліе, раскрытое на словахъ Матѳея: «и суть скопцы, иже исказиша сами себе царствія ради небеснаго» ¹,—какъ мѣлъ блѣдный сидитъ пророкъ Игнатъ. Съ ужасомъ, близкимъ къ обмороку, смотритъ онъ въ огонь печки, безъ мысли, безъ звука перебирая синими, помертвѣлыми отъ страха губами. Въ банѣ жарко, въ банѣ душно, волоса хотъ выжми, дыханье жжетъ горло, а ему холодно, морозъ такъ и подираетъ по спинѣ отъ затылка до пятъ. И отъ этого противнаго мороза что-то странное происходитъ съ его головой: она вдругъ стала какой-то безмозгой и удивительно легкой и пустой, точно какой нибудь картонный футляръ. Все, что въ ней раньше было, что не далѣе какъ вчера его еще такъ мучило и беспокоило: и Оома, и тайга, и Катерина, и вольная нищесбродская волюшка, Евдокимъ, «чистота», Жигалево, Силантій—все это какъ будто вымерзло изъ нея и легкими пушистыми снѣжинками улетѣло далеко-далеко, и лишь издали то вспыхиваетъ какими-то разноцвѣтными искорками, то тотчасъ-же тухнетъ, то опять вспыхиваетъ и опять тухнетъ, словно прощается съ нимъ или же дразнить его, смѣется надъ нимъ, какъ смѣется надъ запоздалымъ путешникомъ поздней ночью коварный сатанинскій огонекъ бабы-водяники въ придорожной болотной засоси. Одно только сознаетъ онъ, и даже не сознаетъ, а какъ-то тупо ощущаетъ каждой частицей своего существа—это не знающее ни отдыха, ни покоя ожиданіе чего-то, что должно случиться съ нимъ сейчасъ, сію минуту, что подготавливается вонъ тамъ, среди золотыхъ узоровъ раскалившагося угля...

— Пора!—поднявшись на ноги, тихо обратился, наконецъ, къ нему Оома.—Пора, милушка, пора!..

Игнатъ вздрогнулъ, очнулся и, поспѣшно вскочивъ на ноги, въ упоръ глянулъ на своего учителя. И въ его взглядѣ на мигъ сверкнула острой сталью такая непримиримая вражда

¹ XIX гл. 12 ст.

къ этому полусѣдому, полуплѣшивому скопческому «апо-столу», а вмѣстѣ съ этой враждой—такое жгучее желаніе «садануть» его подъ самыя ребра и, саданувши, убѣждать безъ оглядки изъ этого проклятаго мѣста, что Оома даже попятился и мгновенно поблѣднѣлъ не менѣе самого Игната. Но прошелъ этотъ неуловимый и тяжелый мигъ—и взглядъ хлыстовскаго «пророка» вновь померкъ, вновь сталъ тупымъ, какъ у мертвой птицы.

— Ни къ чему! Все равно—не уйдешь. Не выпускать... Поздно!—точно погребальный звонъ, оглушительно-громко и безконечно-тоскливо прозвучало въ его головѣ, и тотчасъ же въ ней опять стало и холодно, и пусто...

«Поздно!..»

«Да и надобечъ ты. Надобень, надобень!»—слетѣло къ нему, словно совнѣ...

И вотъ онъ послушно, какъ автоматъ, опустился предъ столомъ на колѣна.

— «Царю Свѣтъ небесный»,—тихо заплѣлъ за его плечами успѣвшій оправиться отъ испуга Оома.

« .. милосердный нашъ Богъ»,—чуть слышно, прерывающимся голосомъ, сталъ подтягивать механически Игнатъ.

— А ты не робѣ, милушка!—послѣ того, какъ они кое-какъ дотянули молитву до конца, началъ сбодрять Игната Оома.—Дѣло божеское, благодатное. Одно слово — «Духомъ Святымъ и огнемъ»... И не больно! Повѣрь душенькѣмоей,— не больно! То-ись, понимаешь, ни на эстолько не больно!..¹

Игнатъ безотвѣтно, по овечьи, хлопалъ глазами.

— Встань, встань теперь, Игнатушка!—немного помолчавши, вновь началъ Оома.—Встань! Вотъ такъ... А теперь «парусикъ» раскрой, глазки закрой да «Христость воскресе»пой!..

— «Христость воскресе изъ мертвыхъ, смертію на смерть наступи», — затянулъ было почти шопотомъ Игнатъ и

¹ Обыкновенный обманъ скопческихъ „мастеровъ“, направленный къ тому, чтобы одушевить и поддержать малодушныхъ, готовыхъ подвергнуться осклопленію.

вдругъ дико, безумно закричалъ и рванулся отъ Оомы въ сторону.

По банѣ пошелъ удушливый смрадъ жженого мяса.

— Ну вотъ и все!—Швырнувъ въ лахань съ водой шипѣвшій ножъ и подбѣжавъ къ обезумѣвшему Игнату, проговорилъ Оома.—Все, говорю. Вишь? Смотри, вотъ она, твоя змѣя скорпіонова, грѣховной лѣпостью перевитая!..

И сквозь паръ и чадъ, поднявшійся надъ лаханью, онъ сразмаху бросилъ что-то, залитое кровью, въ печку.

Игнатъ заохалъ, застоналъ, зашатался...

— А ты лягъ, лягъ! Полежи теперички, отдохни!.. Я сейчасъ тебѣ пластырку приложу,—оно и пообмякнетъ, и перестанетъ щемить-то... ¹ Потерпѣть нужно, милушка,—ничего не подѣлаешь!.. Зато можешь теперь какъ есть реши: «азъ побѣдихъ мѣръ», ибо очистился еси, освятился еси, запечатался еси, оголубился еси. Теперь твой конь бѣлъ и смиренъ. Голубь небесный—одно слово...

* * *

— Ой-ой, батюшки, батюшки! Что вы со мной сдѣлали?.. Евдокимъ, голубчикъ! Господи!—почти въ это-же самое время пронесся по подвалю во флигелѣ нечеловѣческой крикъ Катерины.

Чудилось, что то кричить не горломъ, а какъ-то нутромъ разрываемый на части и заживо погребаемый мученикъ средневѣковой инквизиціи...

— А ты нишкни, нишкни, голубица! Нишкни!—шамкала, наклонясь надъ Катериной, наставница Неонила.—То и сдѣлали, што нужно. Убѣлилась во славу Божію, оголубилась—вотъ и все... Бога узришь теперь... Нишкни!..

* * *

¹ Такъ какъ человѣку оскопившемуся можетъ угрожать опасность истечь кровью, то скопцы, естественно, имѣютъ въ своемъ распоряженіи нѣкоторыя предохранительныя средства противъ этой опасности. Они употребляютъ въ такомъ случаѣ разнаго рода бинты, нѣсколькихъ сортовъ пластыри, мази, спуски, мѣдный купоросъ и пр. Всѣхъ врачевныхъ веществъ у нихъ насчитывается до 65 названій.

Да возрадуется земля,
Да возвеселятся небеса,
Вкупъ челоѵки
Всегда же и во вѣки,—

тѣмъ временемъ, какъ будто-бы въ отвѣтъ на нудные крики несчастныхъ истерзанныхъ жертвъ фанатическаго изуѵѣрства, загремѣла по всему флигелю торжественная «приводная» пѣснь.

Всѣ «голуби» и «голубицы» наконецъ-то дождались, наконецъ-то подслушали въ предутренней тиши этотъ послѣдній прощальный стонъ побѣжденной «богопротивной лѣпости». И вотъ они теперь поютъ, безумствуютъ, съ ума сходятъ отъ дикой, непомѣрной радости...

— Господи, праздникъ-то какой! Радость-то какая! Вѣдь цѣлыхъ двѣ души обратились на покаяніе! Цѣлыми двумя душами стало больше Спасово ангелоподобное стадо. Вотъ, поди, царь-батюшка-то ликуеть!.. Благодать—одно слово...

„Да возрадуется земля,
Да возвеселятся небеса,
Вкупъ челоѵки
Всегда и во вѣки“...

XXII.

Прошло послѣ всего описаннаго слишкомъ полгода.

Наступила весна, и подъ ея живительнымъ дыханьемъ полной грудью вздохнула истомленная зимними морозами и вьюгами мать сыра-земля. Она принарядилась, убралась яркой травкой-муравкой, зацвѣла цвѣтами лазоревыми и, трепещущая, радостная, женственно-стыдливая, тихо зашептала всему живому свою всепрошающую, матерински-нѣжную пѣснь любви и возрожденья. И все встрепенулось, слышавъ эту пѣсню, тысячеголосымъ хоромъ подхватило ее и поетъ, поетъ съ утра и до утра, безъ усталости и передышки безъ пресыщенія, каждый мигъ находя для ея выраженія все новые звуки, новыя трели. Поетъ ее, высунувъ головку

изъ своей норки, лѣсная землеройка; поетъ, присосавшись къ листу терновника, бѣлянка-боярышница; поютъ на разные лады—и зеленый кузнечикъ, и пѣночка-весничка, и тетеревъ-косачъ, безтолково выводя на корявой березѣ свое рѣзкое и монотонно надоѣдливое «дакъ—дакъ»...

Волшебная, дивная пѣсня!

На ея чарующій, полный нѣги призывъ очнулся отъ долгаго зимняго сна и барбашиновскій садъ. И здѣсь все ожило, одѣлось въ праздничныя благоуханныя ризы и радостно залепетало слова любви.

Даже самихъ «безстрастныхъ» обитателей барбашиновскаго дома—и тѣхъ, казалось, захватила собой эта дивная весенняя пѣснь. Какъ-то задумчивѣе стали они, лица еще больше побурѣли и потемнѣли, а въ глазахъ, провалившихся въ костякъ, еще сильнѣе, еще рѣзче засвѣтилась не то злоба и мутящая разумъ зависть къ этому дразнящему всеобщему весеннему шуму, не то безысходная грусть и тяжелое, какъ свинцовая гиря, отчаянье...

Стояло погожее красное майское утро. На небѣ ни облачка. Теплый, душистый вѣтерокъ чуть замѣтно колыхалъ лепестки травы, и отъ этого колыханья капельки росы дрожали на нихъ и переливались въ лучахъ солнца, точно рѣдкостные, дорогіе брилліанты...

Всѣ «голуби» и «голубицы» давнымъ давно уже были за работой. Одни поливали только что высаженную на гряды рассаду, другіе дергали изъ парниковъ молодую рѣдису и другую зелень, спѣша во-время отправить ее на московскій рынокъ.

Работали вмѣстѣ съ другими и Игнатъ съ Катериной.

И, Боже мой, какъ они измѣнились за эти полгода! Въ волосахъ засеребрилась сѣдина, и они стали какими-то жесткими, сухими и ломкими: кожа потемнѣла, поблекла и покоробилась, точно ее, какъ листъ бумаги, передержали надъ лампой; по шеѣ къ скуламъ пѣгота пошла, а въ глазахъ, обведенныхъ коричневыми кругами, залегла такая же,

какъ и у другихъ, затаенная невыплаканная грусть и холодное, безнадежно-мертвящее отчаянье....

Сдвинувъ черный крапчатый платокъ на самые глаза, понуро склонилась надъ крайнимъ заднимъ парникомъ Катерина. Сортируя вмѣстѣ съ другими «голубицами» выдернутую зелень, она тихо подпѣваетъ имъ священный стихъ о первыхъ шагахъ царя-батюшки въ корабль знаменитой Акулины Ивановны:

Какъ ты, нашъ государь,
Ликоваль, свѣтъ, на землѣ,
Во верховной сторонѣ,
Во славномъ городѣ Орлѣ...

Поетъ Катерина, а на душѣ ея, не смотря на яркое весеннее солнце, темно, какъ въ гробу... Именно въ гробу... Ни одного свѣтлаго луча, ни малѣйшаго намека на окружающій радостный весенній гимнъ... Напротивъ, и это весеннее солнце, и эта зеленая травка, и соловьиная пѣсня, что всю ночь раздавалась въ тѣнистомъ саду,—все это еще больше сгущаетъ ея душевную темень. Противное солнце! Противная зелень! Противная пѣсня! Они словно сговорились и нарочно будятъ въ ней близкое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безконечно далекое прошлое, которое она всѣми силами старается забыть, вычеркнуть изъ своей памяти—и не можетъ. Оно стоитъ предъ нею такое смѣющееся, беззаботно-молодое, полное любовной нѣги и тепла,—стоитъ и дразнить ее, мучаетъ ее, точно желая еще больше подчеркнуть своими розовыми тонами и безъ того тяжелую и темную дѣйствительность...

Во славномъ городѣ Орлѣ,
У матушки Акулины Ивановны на дворѣ ..

Поетъ Катерина, а на душѣ слезы, и сквозь ѣдкую пелену ихъ чудится ей жигалевская роща, Евдокимъ, пахучая, прозрачная, бѣлая ночь, легкій туманъ надъ рѣчкой Жигалихой... Какъ хорошо, привольно жилось тогда! Какъ

радостно и сильно билось въ одинъ тактъ съ природой ея юное, жадно тянувшееся, подобно вотъ этой зеленой травкѣ, къ ласкѣ и свѣту сердце! Безъ страха, безъ колебаній, безъ напрасныхъ сожалѣній и ложныхъ условностей, гордая сознаниемъ своей молодости и красоты, она шла на жизненный пиръ, какъ царица. И все ей улыбалось, все наперебой пѣло ей диѳирамбъ восторженнаго поклоненія и удивленія. А теперь? Теперь...

У матушки Акулины Ивановны на дворѣ,
Во большомъ ея кораблѣ...

— Господи, Господи, и гдѣ все это?— шепчетъ между словами стиха, все ниже и ниже склоняясь надъ парникомъ, бѣдная Катерина.—Куды дѣвалось? И зачѣмъ все такъ гадко и мучительно-больно оборвалось? Безъ остатка, безвозвратно... И что-то тамъ подѣлываютъ? Помнятъ-ли еще меня, или—нѣтъ? Что Евдокимъ?..

Шепчетъ, а на душѣ мракъ... безпросвѣтный, тяжелый... И въ этомъ мракѣ все сильнѣй и сильнѣй вскипаютъ слезы... И хоть бы вылились онѣ, проклятыя, вонь! А то накипятъ гдѣ-то тамъ, глубоко, внутри, подымутся, вырастутъ—да тамъ-же и прольются, горькія, соленыя и густыя и жгучія, какъ расплавленный кусокъ олова... И нестерпимо тяжело ей отъ этихъ невыплаканныхъ слезъ. Такъ тяжело, что хоть въ омутъ головой, такъ и то въ пору...

Но... что это? Кто это ее зоветъ? И чей это голосъ? Почему онъ такъ ей до странности и до щемящей сердечной боли знакомъ и дорогъ?.. Вотъ и опять... Чу!

— «Катерина!»..

Господи, да неужели?.. Нѣтъ, не можетъ быть! Это просто ей послышалось. Это ея собственное сердце коварно звучитъ въ ней, подъ наплывомъ весеннихъ воспоминаній, далекими жигалевскими отзвуками...

Катерина оправила платокъ, подняла голову, обернулась въ ту сторону, откуда послышался ей знакомый голосъ,—

и замерла: въ пяти шагахъ отъ нея, за плетнемъ, отдѣлявшимъ барбашиневскій огородъ отъ сосѣдняго участка, стоитъ дюжая, лохматая фигура съ сѣрыми, на выкатъ, глазами, упорно устремленными на нее съ выраженіемъ не то укора, не то недоумѣнія и страха. И эта фигура киваетъ ей головой, манитъ къ себѣ, зоветъ:

— Катерина!..

Бывшая хлыстовская «Богородица» вздрогнула всѣмъ тѣломъ, обмахнула лицо рукой, точно еще не вѣря своимъ глазамъ, и потомъ, красная, задыхающаяся, съ лихорадочно заблестѣвшими глазами, позабывъ все и вся на свѣтѣ, рванулась къ плетню, прокричавъ изступленнымъ голосомъ:

— Евдокимъ, — ты?..

— Я, я, я! — радостно отвѣтилъ Евдокимъ и, однимъ сильнымъ прыжкомъ перескочивъ черезъ плетень, сжалъ ее, трепещущую, въ своихъ могучихъ объятіяхъ.

— Что ты, что ты? — забилась Катерина, очнувшись отъ своего порыва и подмѣтивъ недоумѣнно-вопросительные взгляды своихъ товарокъ. — Рази можно такъ? Чистая я, «голубица»...

— «Чи-ста-я»? «Го-лу-би-ца»? — отступая на шагъ, медленно, по слогамъ, переспросилъ Евдокимъ. — Такъ, значитъ, вѣрно эфто?..

Катерина ни слова.

Точно приговоренная къ смерти, стояла она предъ своимъ былымъ повелителемъ съ вытянутыми къ нему руками. Сердце уже не билось въ ея груди, а какъ-то тихо и жалобно вздрагивало и ныло, словно у пойманной маленькой птички въ когтяхъ беспощаднаго хищника. Въ темя что-то давило. И отъ этого и огородъ, и Евдокимъ, и «голуби» съ «голубицами» — все заходило, запрыгало, закружилось въ какой-то непонятной, дикой пляскѣ...

— Значитъ, и взаправду успѣлъ обкарнать? А?

По прежнему — молчаніе. По прежнему — ни жеста, ни движенія. Только черный крапчатый платочекъ какъ-то без-

покойно задергался изъ стороны въ сторону на ея поникшей головѣ, да въ протянутыхъ впередъ рукахъ сухо хрустнули пальцевые суставы...

— Что-жъ ты не говоришь? Говори!..

— Об...кар...наль, — стономъ вырвалось у измученной женщины, и она, беспомощно взмахнувъ въ воздухъ руками, точно кто вырвалъ у нея изъ-подъ ногъ мостки, замертво грохнулась на-земь.

Лицо Евдокима перекопилось и моментально стало какимъ-то сѣрымъ, зловѣщимъ. На щекахъ появились синеватые впадины, и подъ ними ясно обрисовались очертанія до боли стиснутыхъ челюстей. А въ глазахъ съ приподнятыми бровями разноцвѣтными огоньками заиграла ничего добраго не предвѣщавшая злоба, — такая лютая, ненасытная злоба, что отъ нея пахнуло свѣже-раскрытой могилой...

— Га! Такъ я-жъ тебѣ покажу, анаемѣ! Небось, те-перя не уйдешь отъ меня! — скрипнулъ онъ зубами и бѣгомъ кинулся во дворъ.

Всѣ «голуби» и «голубицы», точно окаменѣлые, молча слѣдили вытаращенными отъ ужаса глазами за тѣмъ, какъ онъ гигантскими прыжками несся черезъ гряды, и только тогда очнулись отъ неожиданности всего происшедшаго, когда синій кафтанъ хлыстовскаго кормщика уже скрылся за входною дверью ихъ флигеля...

Гудя, словно вспугнутый рой, они бросились туда-же, но было уже поздно...

XXIII.

Почти носъ къ носу столкнулись у двери Оминой кельи два былые друга.

— Евдокишка,—ты?! — въ смертельномъ страхѣ вскрикнулъ Ома и, подобно волчку, отпрыгнувъ отъ незваннаго гостя въ сторону, икнувъ раза два, передернулся весь и бессильно, точно подкошенный невидимой рукой, опустился на полъ.

Мѣдновскій осинникъ, лепшинскій тайникъ, Абдулкаттаринъ — все это чернымъ саваномъ окутало его мозгъ и давить, давить...

— А то кто жъ бы ты думаль?—прошипѣлъ Евдокимъ и, оскаливъ зубы, звѣремъ накинулся на несчастнаго скопческаго «апостола».

На одно мгновеніе передъ нимъ мелькнуло жалкое, полное животнаго ужаса лицо, но потомъ все куда-то пропало, все скрылось, растаяло въ какихъ-то красныхъ кровавыхъ кругахъ...

Въ воздухѣ сверкнулъ страшный засапожникъ и съ злобѣщимъ чмоканьемъ впился по самую рукоять въ «очищенное отъ богомерзкой лѣпости» тѣло.

— Ой-ой! Батюшки, батюшки!.. Что ты, подлець, дѣлаешь?.. Ка-ра-уль!—завопилъ было на весь домъ Оома, но тотчасъ же и оскѣся: еще разъ мелькнулъ надъ нимъ залитый кровью ножъ, что-то тикнуло, забулькало, заплескалось, раздался какой-то свистящій хрипъ, пронесся не то стонъ, не то вздохъ, — и все было кончено...

Безжизненнымъ пластомъ растянулся на полу «серафимоподобный соратникъ царевъ». Опрокинувшись навзничъ и раскинувъ крестомъ руки, онъ смотритъ на своего убійцу изъ-подъ полусмежившихся, полуслипшихся отъ крови вѣкъ... Страшно, недвижно смотреть...

Но ничего этого не замѣчаетъ осатанѣвшій Евдокимъ. Весь въ крови, онъ наклонился надъ холодѣющимъ трупомъ своего былого друга и, точно кто посторонній водить его волосатой и сильной, какъ клешня у краба, рукой, продолжаетъ съ злораднымъ хохотомъ безъ счета тыкать въ него своимъ дьявольскимъ засапожникомъ...

— А-га, узналъ таки, анаеема!.., хлопая своими, готовыми выскочить изъ орбитъ глазищами, хрипитъ онъ. — Что, — испужался? присѣлъ?.. То-то! Ха-ха-ха-ха-ха!.. Вѣрно, не ждалъ, што я къ тебѣ въ гости препожалую? Не думаль, што я тебя въ твоей берлогѣ поганой накрою? Ха-ха-ха-

ха-ха!.. Ошибся, братъ, на этотъ разъ: не на такого напалъ. Евдокишка, вѣдь, я! Харловъ!.. И ужъ будь спокоенъ: такъ отполирую, такъ выпотрошу, што чистѣе чистаго станешь! Недаромъ вѣдь я всю околесицу обошелъ, всѣ углы перешарилъ, всѣ закоулки перерылъ да и здѣсь вотъ ужъ третьи сутки, какъ за тобою, братъ, слѣжу, распорядки твои разнюхиваю... Не уйдешь теперя! Баста!.. Ха-ха-ха-ха-ха!.. Не захотѣлъ по чести жить, такъ—на, получай! Ёшь! Давись своей чистотой голубиной! Проповѣдуй «уязвление» да «убѣление» свое дурацкое! Смирнствуй да калѣчь народъ Божій! Или что, — не хочешь? сытъ? не вкусно? не въ Жигалевѣ это?.. Ха-ха-ха-ха-ха!.. То-то, песья твоя душа! То-то, гадина подколодная!..

Тычетъ Евдокимъ, а кругомъ тишина... мертвая... зловѣщая... Безъ крика, безъ звука, точно охваченные какимъ-то страшнымъ колдовствомъ, толпятся въ дверяхъ и глядятъ на всю эту дикую, безобразную сцену «чистые голуби и голубицы». Холодный, какъ ледяная глыба, ужасъ сковалъ ихъ руки и ноги, перехватилъ ихъ горло. И рады бы крикнуть — да нѣтъ голоса, и рады бы убѣжать и не видѣть всего этого—да ноги не слушаются, не двигаются...

Конецъ этой невѣроятнo-тяжелой сценѣ положилъ слободскій кабатчикъ Ванька Дериглазъ.

— Издѣся, издѣся, вашеск—родіе! Издѣся — раздался вдругъ его рѣзкій и злорадно-самодовольный голосъ.—Вотъ на эфто крымечко пожалуйте! Тутотко они. Мой парнишка все какъ есть, значить, видѣлъ. Да и самъ я за эфти дни глазу съ эфтого молодца не спущалъ: подмѣтилъ, и какъ онъ похаживалъ кругомъ да около, и какъ ночью въ садъ ихній залѣзалъ, по подоконью подслушивалъ, бранился, грозилъ кому-то, Силантія да Ёомку все вспоминалъ, какую-то «чистоту» ихнюю приплеталъ... Издѣся!

Черезъ минуту въ сѣняхъ послышались бряцанье шпоръ и грозный начальническій голосъ, отрывисто и властно дававшій приказанія:

— Оцѣпить весь домъ, запереть ворота! Никого не выпускать!

Точно испуганное стадо барановъ, шарахнулись по сторонамъ, очищая дорогу, «заграничные воины царя небеснаго».

Въ комнату вошелъ приставъ и три бравыхъ урядника. И шумъ, произведенный ими, наконецъ, отрезвилъ Евдокима. Онъ выпрямился, провелъ окровавленной рукой по лицу, растерянно оглянулся кругомъ, точно недоумѣвая, гдѣ онъ и что надѣлалъ, но это продолжалось всего одинъ лишь неописуемый мигъ: прошелъ онъ—и Евдокимъ вздрогнулъ, злорадно покосился на распростертаго друга, какъ-то побычачьи нагнулъ шею и, блеснувъ на вошедшихъ налитыми кровью глазами, съ ножомъ въ рукахъ ринулся къ раскрытому настежъ окну.

— Не подходи! Убью! — зарычалъ онъ.

— Держи, держи! — прогремѣлъ въ отвѣтъ приставъ.

Урядники бросились на Евдокима. Завязалась неравная борьба. Черезъ минуту ножъ, выбитый тесакомъ изъ руки хлыстовскаго кормщика, со звономъ отлетѣлъ въ сторону, а самъ онъ, связанный по рукамъ и ногамъ, лежалъ на залитомъ кровью полу.

— Кто ты? — остановился надъ нимъ приставъ.

— А тебѣ зачѣмъ? — злобно окрысился на него Евдокимъ.

— Какъ «зачѣмъ»? Чай надо знать, какъ тебя звать-то, али нѣтъ?

— Какъ звать? А никакъ!

— Какъ «никакъ»?

— А такъ и никакъ! Звали Иваномъ, а потомъ Петромъ, а теперъ, надо быть, зовуть не то Сидоромъ, не то Поликарпомъ: хорошенько не упомяну...

— О-го-го! Да ты, я вижу, птица-то ученая!

— А ты думалъ, — дуракъ?

— Ну, да ладно... Паспортъ есть?

— Есть.

— Гдѣ жъ онъ у тебя?

*

— А дома позабылъ: въ полиціи сіонской, у самого Христа-батюшки въ небесахъ...

— Ловко... Ну, а этого-то ты за что?—указаль приставъ на трупъ Оомы.

— А за то, што много стараго зашло. Анаеема онъ, народъ Божій калѣчить. Ты вотъ огляди ихъ кругомъ, тогда и узнаешь — за што!..

Въ комнату слѣшно вошли участковый врачъ и судебный слѣдователь.

Началась обычная судебно-слѣдственная процедура: подробный осмотръ тѣла и барбашиновскаго дома, допросъ захваченныхъ скопцовъ...

Между прочимъ, въ огородѣ, у крайняго задняго парника, подняли полумертвую Катерину, но когда хватились Силантія и самого хозяина дома, Трифона Евстафьевича Барбашинова, то ихъ и слѣдъ простылъ.

Вмѣстѣ же съ ними исчезъ безслѣдно и бывший хлыстовскій «пророкъ» Игнатъ.

Примирившись, по необходимости, съ тяжелой, безотрадной долей «оскопленнаго», онъ всю силу своей нищербродской находчивости и изворотливости направилъ на то, чтобы занять, по крайней мѣрѣ, въ барбашиновскомъ «благодатномъ саду царя-батюшки» не послѣднее мѣсто. И дѣйствительно, за эти полгода онъ настолько успѣлъ войти въ довѣріе Силантія и заручиться его расположеніемъ, что съ нимъ принужденъ былъ считаться не только уже «пророкъ» Макарь, но даже и самъ «серафимоподобный» Оома Захарычъ. Это была съ его стороны по отношенію къ послѣднему своего рода месть. Упорная, скрытно-жгучая, до бѣшеныхъ слезъ...

— Ты меня такъ чикнулъ, ну а я тебя—такъ!—самодовольно шепталъ онъ себѣ подъ носъ, съ каждымъ днемъ забирая все больше и больше силы въ кораблѣ.

И трудно сказать, чѣмъ бы все это кончилось, если бы надъ «голубинымъ Сіономъ» не разразилась неожиданно-негаданно страшная катастрофа.

Когда Евдокимъ появился въ огородѣ, Игнатъ въ первое время ему даже обрадовался. Онъ сразу почувствовалъ въ немъ сильнаго союзника противъ этого «треклятаго Оомки», такъ какъ сразу же понялъ, что онъ явился сюда не для него, Игната, и даже не столько для Катерины, сколько именно для Оомы.

— Го-го! Вотъ такъ антимонія! Посмотримъ, какъ-то они теперича повстрѣчаются!..

Но когда Игнатъ бросился, вмѣстѣ съ другими «голубями» и «голубицами», вслѣдъ за Евдокимомъ въ «братскій» флигель и сквозь растворенную дверь въ Оомину келью увидѣлъ, какъ Евдокимъ сталъ «полировать» своего бывшего друга,—радостнаго чувства его какъ не бывало. Напротивъ, ему теперь стало жаль Оомы, и даже, собственно, не Оомы, а потерянной для себя возможности вести дальше противъ Оомы свои тайны, такъ скрашивавшіе и наполнявшіе его однообразную и скучную жизнь подвохи...

— Аминь, значить... Покуралесилъ... Буде... А жаль, что теперички нельзя его еще побѣсить... Очень жаль!— какъ мѣлъ блѣдный, думалъ Игнатъ, безъ звука, безъ движенія толпясь вмѣстѣ съ другими въ дверяхъ Ооминой кельи.

Но чрезъ мигъ и это низкопробное чувство жалости куда-то улетѣло, уступивъ мѣсто одному холодному, какъ ледяная глыба, ужасу предъ этой жестокой, нечеловѣческой бойней. Онъ даже зажмурился, чтобы не видѣть этого цѣлаго моря крови, и одно время чуть было не упалъ...

И вдругъ его точно варомъ что обдало.

«Ты что же тутъ глазѣешь? А? Или захотѣлъ вмѣстѣ съ другими въ кутузку угодить? Арестантскихъ «шуримурей»¹ отвѣдать? Вдоль да по сибиркѣ прогуляться?.. Удирай! Удирай, тебѣ говорятъ, пока еще есть время!»— точно не въ немъ самомъ, не въ его душѣ, а гдѣ-то извнѣ,

¹ „Шуримури“—арестантскія щи. Нищевродское выраженіе.

гдѣ-то вонъ тутъ, рядомъ, въ комнатѣ, вонъ съ того, должно быть, мѣста, гдѣ лежитъ эта безформенная, истыканная какъ рѣшето кровавая масса, гукнуло ему въ сотню голосовъ...

Игнатъ вздрогнулъ, оторопѣло оглянулся кругомъ и чуть не вслухъ крикнулъ:

— «Удирать»?! Но—куда? Опять—въ нищebroды? На холодъ, на голодъ?

«Зачѣмъ въ нищebroды? Зачѣмъ на холодъ? Зачѣмъ на голодъ?—опять слетѣло къ нему откуда-то.—А Силантій-то на что? А хозяинъ-то на что? Думаешь, — у нихъ денегъ-то мало? О-го-го, не безпокойся!.. Прихвати ихъ и удирай!..

«Удирай! удирай!..»

И вотъ Игнатъ почти безсознательно, точно подталкиваемый кѣмъ-то, скользнулъ изъ флигеля во дворъ, а со двора—въ каменный двухъэтажный домъ.

Силантій, нисколько не подозрѣвая того, что творилось во флигелѣ, спокойно сидѣлъ около стола и неторопливо попивалъ чаекъ.

— Ты что?—дую въ блюдечко съ чаемъ, кинулъ онъ запыхавшемуся Игнату.

— Гоненье, батюшка святъ Духъ, Силантій Поликарпычъ! Гоненье!

— Какъ? гдѣ? что?—вскочилъ, разомъ измѣнившись въ лицѣ, Силантій.

Блюдечко со звономъ выпало изъ рукъ и разлетѣлось на мелкіе осколки.

— А у насъ, здѣсь, во дворѣ, въ братскихъ келійкахъ! Сейчасъ, надо быть, фарисеи поналѣзутъ!..

И Игнатъ вкратцѣ сталъ рассказывать все происшедшее. Но не успѣлъ онъ даже какъ слѣдуетъ закончить рассказъ, какъ Силантій выхватилъ изъ-подъ подушки довольно объемистую шкатулку, сунулъ ее въ мѣшокъ, накинулъ на голову картузь и, крикнувъ: «идемъ!» кинулся вонъ изъ дома.

Черезъ садъ и огородъ, мимо безчувственной Катерины, они выскочили на задворки и изо всѣхъ силъ зашагали въ еще только просыпавшуюся Москву.

При самомъ входѣ въ нее имъ попались навстрѣчу врачъ и судебный слѣдователь, на извозчичьей пролеткѣ спѣшившіе, очевидно, въ слободу.

— Да гдѣ это? Далеко еще?—донеслось до нихъ.

— А чертъ ихъ знаетъ! Тутъ гдѣ-то... Перепились, вѣроятно, мерзавцы, да и давай другъ друга утужить...

Силантій плюнулъ и злобно посмотрѣлъ имъ вслѣдъ. Но вотъ, наконецъ, и хозяйскій домъ.

Трифонъ Евстафьевичъ еще нѣжился въ постели, когда ему доложили, что пришелъ слободскій управляющій и еще какой-то мужчина и оба просятъ его, чтобы онъ сейчасъ-же, нисколько не медля, ихъ принять.

— Въ чемъ дѣло?—встрѣтилъ онъ ихъ чрезъ минуту тревожнымъ вопросомъ.

— Гоненье, милостивецъ, гоненье!—пролепеталъ весь мокрый отъ быстрой ходьбы Силантій.

— Гоненье, гоненье!—какъ эхо, повторилъ за нимъ Игнатъ.

— Гоненье, гоненье!—побѣжало по всѣмъ ходамъ да переходамъ большого московскаго барбашиновскаго дома, гдѣ, начиная съ дворника и кончая первымъ приказчикомъ, все были «агнцы непорочные», «первенцы земли искупленные»

— Гоненье, гоненье!—перекинулось изъ дома въ лавки и склады.

И вотъ все зашевелилось, забѣгало, заторопилось, словно въ развороченномъ предательской рукой муравейникѣ. А черезъ часъ, когда нагрянули полицейскія власти, весь домъ оказался пустымъ, брошеннымъ: всѣ его «голубинные» обитатели точно въ воду канули.

Поговаривали стороной, что будто бы многихъ изъ нихъ видѣли потомъ въ той же самой Москвѣ, но даже тщательные розыски не привели рѣшительно ни къ чему.

XXIV.

Началось громкое хлыстовско-скопческое дѣло. Оно захлестнуло въ себя до полусотни захваченныхъ въ слободскомъ барбашиновскомъ домѣ лицъ, протянулось около двухъ лѣтъ и кончилось, по обыкновенію, тѣмъ, что отъ «зеленаго сіонскаго сада царя батюшки» осталось, какъ отъ дурного сна, одно лишь тяжелое, неприятное и недоумѣнно-грустное воспоминаніе: далеко-далеко улетѣли темные и легковѣрные послѣдователи изувѣрной «чистоты голубиной» и не вернуться имъ оттуда въ свои теплыя насиженные гнѣзда...

Безъ слезъ, безъ покаянія, точно каменные, отбыли они около двухъ лѣтъ тюремнаго заключенія; безъ слезъ, безъ покаянія, точно каменные, выслушали судебный приговоръ и такими-же нераскаянными грѣшниками-фанатиками пошли въ далекую студеную Якутскую область. Впрочемъ, это и не удивительно...

«Пособи мнѣ, Господи, огонь и пламя, кнутъ и Сибирь, и вся страды, всѣ муки крестныя претерпѣть, а свою вѣру не отложить и сохранить, и съ пути Божьяго не сойти», — точно огненными звуками слышатся въ душѣ каждаго изъ нихъ слова «священной» приводной клятвы. И ему-ль, грѣшному, «шатоватому» и «вороватому» міру, сбить ихъ съ нихъ, когда они, «точно древнія мвроносицы», идутъ по той же «святой голгоѣской» дороженькѣ, по которой во время оно шель своими «пречистыми стопами» и самъ царь батюшка искупитель, претерпѣвая и не такія еще муки!..

Да, притомъ, и совсѣмъ не страшно. Не въ невѣдомую, чай, сторону идутъ, не на пустое мѣсто, а къ своимъ, роднымъ,—туда, гдѣ живутъ такіе же, какъ и они, «пречистые голуби» и живутъ болѣе свободно и привольно, чѣмъ здѣсь, въ «перевитой лѣпостью Россіи».

Еще сидя въ тюрьмѣ, они получили чрезъ «вѣрныя руки» небольшую «цидулку», въ которой, между прочимъ,

было сказано, чтобы они «рыбу не тушили и денегъ разнымъ пьяницамъ не давали, а съ собой бы захватили, когда пойдутъ на дальній промыселъ, гдѣ ихъ давно ждутъ», т. е. чтобы они «чистоту не оставляли и тайны Божіей правительственнымъ чиновникамъ не открывали, а про себя держали и безъ всякаго смущенія шли въ далекую Якутскую область, гдѣ ихъ встрѣтятъ съ распростертыми объятіями»¹.

И вотъ они пошли на этотъ «дальній промыселъ» безъ всякаго колебанія, безъ всякаго сожалѣнія и робости, такими же злобными изувѣрами, какими захватили ихъ въ слободскомъ барбашиновскомъ домѣ...

Вмѣстѣ съ «голубями» залетѣлъ далеко и хлыстовскій кормщикъ Евдокимъ Харловъ,—туда, гдѣ бушуетъ—

Славное море, привольный Байкаль,

гдѣ—

Сидятъ все буйны головы,
Сидятъ-то во поимани,
Во той ли во немшоной клѣточкѣ,
Рѣзвы ноженки ихъ во опуточкахъ“...

Онъ тоже не просилъ себѣ ни пощады, ни сожалѣнія, а угрюмо, молча несъ свой «терминъ».

По временамъ въ сырой затхлой камерѣ, особенно когда кругомъ все забывалось тяжелымъ арестантскимъ сномъ и густая тьма окутывала его со всѣхъ сторонъ, ему начинали мерещиться то въ томъ, то въ другомъ углу чьи-то слипшіяся мертвыя губы, чей-то блѣдный заострившійся подбородокъ, чьи-то неподвижные, остановившіяся, неморгающіе глаза... Они смотрятъ на него изъ-подъ синеватой ткани вѣкъ своими застывшими стеклянными зрачками... Долго, пристально смотрятъ... А потомъ вдругъ что-то шелкнетъ, точно челюсть о челюсть,—и все это пропадетъ... И когда пропадетъ, то на томъ мѣстѣ, гдѣ только что были эти мертвыя губы, этотъ подбородокъ и глаза, какимъ-то чудомъ появляется толстый распоротый вдоль и поперекъ животъ, и изъ него

¹ Скопческое иносказательное письмо.

клубокъ за клубкомъ тянутся, точно змѣеныши, кровавыя кишки... А то вдругъ рука какая-то протянется, помашеть-помашеть ему—и скроется, растаетъ въ окружающей тьмѣ..

Евдокимъ глядитъ на все это, но не со страхомъ, не съ ужасомъ, а съ злораднымъ хохотомъ.

— А-га, пришелъ-таки!.. Ну, што,—ловко я тебя раздѣлалъ? А? Ишь трубуха-то какъ выпятилась! То-то!.. Поди не будешь теперь про «запаленье» да «истрезвление» трезвонить? А?.. Еще подожди, дай «обонполь» ¹ до пересылки добраться да «стремя избыть» ², такъ я еще и все гнѣздо твое поганое разнесу. То-ись, гдѣ только прослышу про «облегченіе» твое коновальское, тутъ ты и икнешь у меня... Червями изойдешь, въ песокъ разсыпешься, а икнешь!..

— Святъ, святъ, святъ!—шепчетъ бѣдный караульный солдатикъ, вслушиваясь въ эти бѣшеные злобные крики «рѣшеного», гулко отдающіеся въ полутемномъ мрачномъ корридорѣ.—Ишь ты, вѣдь, какой зловредный! Кажись, притихнуть бы пора, о душѣ спокаяться, а онъ—на-ко-ся: о новыхъ каверзахъ помышляетъ!.. Ну и народецъ!.. Каторга—одно слово...

А въ то время, какъ «рѣшенный» Евдокимъ, въ ожиданіи пересыльной партіи, злобствовалъ такъ въ одной изъ московскихъ тюремъ,—надъ могилой его возлюбленной, блѣднолицей и черноокой когда-то красавицы Катерины, бывшей хлыстовской «Богородицы», успѣла уже дважды вырасти и завянуть зеленая травка муравка.

Почти безъ признаковъ жизни подняли ее въ барбашиновскомъ огородѣ и, по настоянію врача, тотчасъ же отправили въ ближайшую больницу.

У нея открылась сильнѣйшая нервная горячка.

Обложенная подушками, никого и ничего не узнавая, никого и ничего не слыша и не видя, вся въ огнѣ, мечется

¹ „Обонполь“ на специально каторжномъ языкѣ значитъ „по ту сторону Урала“.

² „Стремя избыть“—бѣжать съ каторги.

Катерина на больничной койкѣ, въ клочья рветъ свою сорочку и бредить, бредить безъ конца...

— Чистая я! Голубица!—съ раздирающимъ душу воплемъ вырывается изъ ея груди. Мигъ—и безумный истеричный хохоть съ обрывками отдѣльныхъ фразъ смѣняетъ рыданія.— Ха-ха-ха, ха-ха-ха!.. Кто? Евдокимъ?.. Ай, духъ!.. Царь духъ! Я люблю Саваооа въ небесахъ. Ей-ей люблю! Ха-ха-ха!.. Люблю...

И такъ въ продолженіе цѣлыхъ полутора мѣсяца: прояснѣетъ на минуту взоръ—и вновь потухнетъ; выглянетъ изъ-подъ тумана разумъ—и вновь спрячется, вновь уйдетъ куда-то, въ какую-то темную, безобразную, бездонную пропасть, изъ которой доносятся наружу одни лишь безсвязные, безумные звуки...

— Ой-ой! Батюшки, батюшки! Что вы съ мной сдѣлали... Евдокимъ, голубчикъ! Господи!—были ея послѣдними словами.

Тѣло вздрогнуло, потянулось; съ головы до ногъ пробѣжала какая-то болѣзненная судорога, подъ глазами вѣками что-то забилося, затрепетало—и замерло...

Ты прости-прощай,
Тѣло бѣлое!
Я въ тебѣ жила,
Тебя тѣшила,
А сама себя
Въ муку сверзила...
Мимо раю шла—
Раю лишилася,
Мимо муки шла—
Муки не обошла...

Бѣдная, запутавшаяся въ сѣтяхъ тьмы душа!..

* * *

А что же въ Жигалевѣ?

А въ Жигалевѣ по старому—

Слово Божіе не гнушается,
Въ сердцахъ воплощается,
На-кругу открывается,
Въ существѣ является,
Въ людяхъ Божьихъ обитаетъ
И ихъ наставляетъ...

Евдокимъ не пожалѣлъ красокъ для обрисовки предъ судомъ изувѣрной «голубиной чистоты», но онъ ни однимъ словомъ не обмолвился о жигалевскомъ «вертоградѣ царя Давида». Вслѣдствіе этого «гоненье» его не коснулось, и въ немъ какъ и прежде,—

Другъ на друга всякъ взираетъ.

„Кого Духъ укажетъ—того и поважаетъ“...

Только вмѣсто Евдокима кормщикомъ состоитъ Матвѣй, а вмѣсто Катерины явилась новая «Богородица», новая—

Молодая юница,
Богу милая пѣвица,
Чистая отроковица,
Красная дѣвица,—

какая-то Василиса Андюшкина изъ деревни Игуменки.

Ей такъ же, какъ и Катеринѣ, всѣ братья-корабельщики и сестры-корабельщицы воздаютъ почести и поютъ на радѣньяхъ «похвалу»:

Во чистомъ полѣ, при дорожкѣ, стояла свѣтлица.

Эта свѣтлая свѣтлица—дѣвственное тѣло;

Краснѣй солнца, свѣтлѣй свѣта, бѣлѣй она снѣгу...



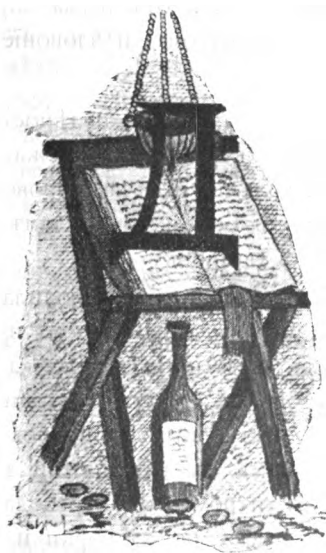
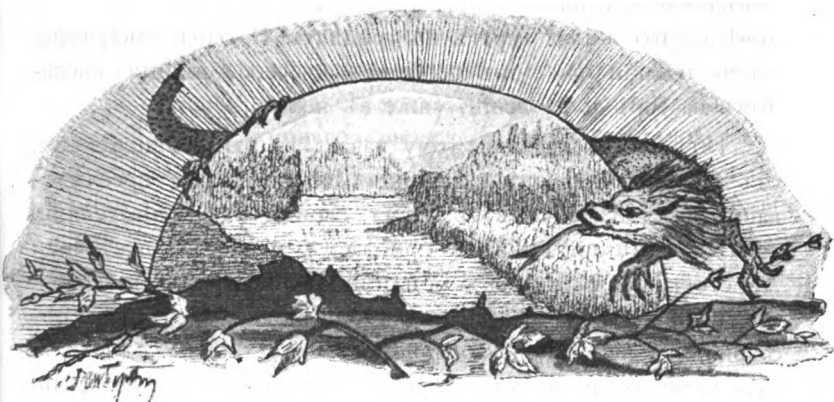
Въ Изосиминой
пустынькѣ.

РАЗСКАЗЪ ИЗЪ БЫТА СЕКТАНТОВЪ БѢГУНОВЪ.

* * *

*„Вмѣсто прелести и славы
Зрю я въ темные лѣса“...*

Бѣгунскій стихъ.



I.

огораль теплый июльскій вечеръ. Солнце еще не сѣло, но въ дремучемъ хвойномъ островку, подъ навѣсомъ раскидистыхъ елей и сосенъ, легли уже сѣрпя ночныя тѣни. Мириады мошекъ и комаровъ носились надъ болотистой мшариной, окружавшей островокъ со всѣхъ сторонъ. Въ воздухѣ пахло осокой, лѣснымъ перегноемъ, цвѣтомъ рудожелтаго либиста и хохлатаго бильца...

Пустынно, дико кругомъ...

Казалось, развѣ только одни завзятые любители-охотники на краснаго звѣря могли заглянуть порой въ эту за-

„Во тьмѣ въковой“.

повѣдную медвѣжью тайгу, удаленную отъ ближайшаго человѣческаго жилья верстъ на тридцать. И, однако же, здѣсь жили люди и при томъ особенные, съ своеобразнымъ взглядомъ на міръ и на вещи, «яже въ немъ»...

Лѣтъ около двадцати тому назадъ въ эти «чащи темныя, отъ мірскихъ грѣховъ удаленныя», бѣжалъ отъ преслѣдованія властей, вмѣстѣ съ двумя своими послѣдователями, рабами Божиими, Іуной да Ермолаемъ, и двумя «невѣстами Христовыми», рабами-жъ Божиими, Евдокіей да Параскевой, бѣгунскій наставникъ Изосима. Общими силами бѣглецы поставили на небольшой полянкѣ, среди островка, односкатную хатку о трехъ оконцахъ, устроили подъ ней, на всякій случай, тайничекъ и, при помощи оставшихся на міру «христілюбцевъ», снабжавшихъ ихъ всѣмъ необходимымъ, зажили себѣ припѣваючи среди окружавшаго ихъ со всѣхъ сторонъ моря хвойныхъ великановъ, вдали отъ шума «прелестныхъ вавилоновъ», кипящихъ «смрадомъ и зловоніемъ антихриста».

Благодаря удачной «ловитвѣ» наставника, «нелѣпно» простирившаго слово увѣщательное во вся окрестъ лежащія вѣси, въ продолженіе перваго же года пришли на островокъ для жительства пять новыхъ «рабовъ Божіихъ», а тамъ и еще потянули — то парами, то въ одиночку.

И вотъ мало-по-малу Изосимина община расплодилось, разрослась, обстроилась, да такъ, что къ описываемому времени насчитывала въ себѣ уже до 30 человѣкъ мужеска и женска пола и имѣла двѣ просторныхъ свѣтлыхъ хижины съ цѣлой системой подпольныхъ «затворныхъ прирубовъ», «келескъ» и «спудовъ», соединенныхъ съ наружными постройками и между собою разными хитроумными переходами и лазейками, съ нѣсколькими выходами на задворки и въ лѣсъ.

Около хижинъ появились постепенно амбаруши, клады да повалуши, въ которыхъ, благодаря заботливости и усер-

дію «жиловыхъ» радѣтелей ¹, лежали цѣлые склады разной провизіи: муки ржаной и пшеничной, греча, проса, масла, яицъ, рыбы, да не какой нибудь, не вонючей, лежалой трески съ противной костлявой зубаткой, а настоящей пещорской семги, жирнаго онежскаго лоха, лекшмозерскихъ сиговъ, серебрястой пеледи, лососи... Тутъ же стояли кадлушки непереволившихся круглый годъ красныхъ каргопольскихъ рыжиковъ и бѣлыхъ, съ хрустомъ, груздей, цѣлые боченки и моченой и топленой медовой морошки, куманицы, брусницы... А въ самодѣльныхъ «лубняхъ» ² да «скрыняхъ» ³ припрятаны были цѣлые куски «портна» ⁴, «сукманины» ⁵, темносиней китайки, черныхъ гладкихъ ситцевъ, разныхъ позументовъ и лентъ...

Хорошо жилось рабамъ Божиимъ!

Безъ печали, безъ труда, коротали они день за днемъ среди «молитовокъ» да усладъ земныхъ, славя окружавшую ихъ «дивную пустыню, свѣтозарную частыню», гдѣ «древа, цвѣты кудрявые и листвіе зеленое». Ни податей, ни докучливаго начальства, ни тяжелой заботы о насущномъ кускѣ хлѣба: любота да и только! Живи да Бога хвали, «иже извелъ тя изъ напасти и житейскія мечты, удалилъ тя есть отъ страсти и мірскія суеты»...

И слава объ этой святой общинѣ, объ этой «свѣтозарной» пустынкѣ разнеслась далеко не только по погостамъ и деревенькамъ суровой Олоніи, но перешагнула и за предѣлы ея, въ сосѣднія—Архангельскую, Вологодскую и Ярославскую губерніи: и тамъ знали про дремучій, хвойный островокъ, окруженный со всѣхъ сторонъ болотистой мшариной,

¹ «Жиловыхъ», т. е. жившихъ на міру полнымъ крестьянскимъ хозяйствомъ.

² «Лубень»—берестяной кузовъ.

³ «Скрыня»—сундукъ, окованный желѣзомъ.

⁴ «Портно»—домотканное деревенское полотно.

⁵ «Сукманина»—домотканное деревенское сукно.

слали въ него черезъ вѣрныя руки свои «поминки» и благожеланія и помалкивали, боясь накликать на новоявленный «священный вертоградъ Божій» наѣздъ духоборнаго никоніанскаго суда, «въ немъ же возсѣдаютъ, самому незримо кознодѣйствующу Титину, губы жаренныя и табакомъ носы набитые»...

Лѣтъ за пять до начала разсказа, основатель пустыньки, «доблій свѣтильникъ и крѣпкій поборникъ за правую вѣру», рабъ Божій Изосима умеръ, и во главѣ общины всталъ ярославецъ Ѳедоръ, изъ бѣглыхъ солдатъ. Это былъ маленькій, худенькій, съ виду немощный, согнутый въ дугу старичекъ, съ рѣдкими грязновато-желтыми волосами на головѣ и бородѣ, съ заскорузлой, морщинистой, точно плохо выдубленная овчина, кожей, вѣчно охающей и вздыхающей, на самомъ же дѣлѣ зоркій, юркій, ловкій и опытный застрѣльщикъ своего дѣла и преотчаянный волокита и бабій сластоѣдъ. Нырять по домамъ и скрываясь по подызбицамъ разныхъ «христіолюбцевъ», онъ во всякій свой выходъ изъ пустыньки на міръ успѣвалъ такъ обставить дѣло, что всегда возвращался домой съ обильнымъ подаваніемъ. А тамъ, глядишь, и «богоданная сестрица» сзади плетется, да не старая какая нибудь, не корявая, не безобразная, какъ смертный грѣхъ, а сытая, красивая молодуха, а нѣтъ — такъ и вся дивчина: любилъ и умѣлъ старый грѣховодникъ уловлять въ свои сѣти лакомые кусочки...

Вотъ и теперь, въ описываемый теплый іюльскій вечеръ, привычной рукой раздвигая хвойную «дрему» и наметавшейся ногой нащупывая во мшаринѣ лишь немногимъ изъ «христіанъ» извѣстныя жердочки и полусгнившія колодины, перекинутыя черезъ заплывшія зеленью ржавыя и глубокія засосы—«пачки», Ѳедоръ не одинъ и не съ пустыми руками возвращался въ свой благословенный «предѣлъ». Слѣдомъ за нимъ, кряхтя подъ тяжестью довольно объемистаго «хатуля»¹, шагаль давнишній знакомецъ его и вмѣстѣ съ

¹ «Хатуль» — кошель, мѣшокъ, узелъ.

тѣмъ «благочестный креститель» рабовъ Божіихъ—Несторъ, крестьянинъ изъ подгородной деревни Малой Горохты, а за Несторомъ, боязливо оглядываясь по сторонамъ, все болѣе и болѣе тонувшимъ въ вечерней суетени, ковыляли три только-что вновь испеченныя «христіанки» — раба Божія Маланья (въ міру—Улита Сіятелиха) да раба Божія Варвара (въ міру—Василиса Баландина) съ своей дочкой-красавицей Глашей.

Какъ и всегда, удаченъ былъ и на этотъ разъ выходъ на міръ ловкаго бѣгунскаго наставника.

И однако, не смотря на удачу, невеселъ, нерадостенъ былъ старикъ Оедоръ. При взглядѣ на новообращенныхъ, самодовольная улыбка на минуту скользила по его изрытому морщинами лицу, но тотчасъ же, не успѣвъ какъ слѣдуетъ расцвѣсти, и сбѣгала, смѣняясь угрюмой, озабоченной складкой между нахмуренными бровями; недобрый, плотоядно-хищный огонекъ на моментъ блеснетъ въ его острыхъ, сѣрыхъ глазахъ, обдавъ, точно варомъ, съ ногъ до головы красавицу Глашу, но сейчасъ же и потухнетъ, и замретъ подъ торопливо опущенными сумками вѣкъ...

Не по себѣ было пустынскому настоятелю.

Да оно, положимъ, и неудивительно послѣ всего того, что пришлось ему увидѣть и услышать въ тайничкѣ у христіолобца Доната, въ деревнѣ Ряпусихѣ.

Окрестивъ Глашу съ матерью и сытно потрапезовавъ по этому случаю, онъ съ Несторомъ только-что расположились было «позалоговать»¹ малость, какъ вдругъ — на, поди! крикъ, шумъ, гамъ!.. Оказывается, изъ сосѣдней деревни Пойкайя спѣшно, «нимало не опрятавшися», прибѣжалъ отъ тамошнихъ христіолобцевъ гонецъ съ вѣстью, что къ нимъ, сущимъ въ Пойкайѣ, понаѣхали слуги антихристовы, роютъ все, осматриваютъ, печати свои погибельныя кладутъ, что многихъ уже захватили, отитловали и теперь пытаются

¹ «Позалоговать» — поспать послѣ обѣда, отдохнуть.

и о томъ, куда схоронили они рабу Божію Анисью, что два мѣсяца тому назадъ привезена была къ нимъ изъ деревни Шуй-Лахты вся избитая, изуродованная, окровавленная,—и о томъ, гдѣ скрывается теперь рабъ Божій Филатъ, что, ономнясь, бѣжалъ изъ острога, и о многомъ другомъ прочемъ, что, казалось, сошло вполне благополучно и давнымъ-давно было забыто...

Какъ громъ небесный, поразила эта вѣсть старика Ѳедора, Нестора и всѣхъ находившихся съ ними.

Поднялась невообразимая суматоха.

— «Гоненіе, гоненіе!»—раздалось во всѣхъ углахъ Дона-товой пристани.—«Дьявольскій комитетъ, судія сатанинъ, змій седмо-главный, возсталъ на насъ, сирыхъ и убогихъ! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ниспосли намъ благодать, чтобъ безропотно страдать!»...

Исключая двухъ-трехъ «видовыхъ»¹, большинство, схвативъ, что попало подъ руку изъ пожитковъ, бросилось разными переходами въ лѣсъ, въ устроенныя тамъ, въ укромныхъ мѣстахъ, хоронушки; нѣсколько изъ тѣхъ, что особенно сильно чувствовали за собой «многое другое прочее», тотчасъ же рѣшили пробраться стороной въ отдаленныя пристани и даже перейти въ сосѣдній уѣздъ...

Вмѣстѣ съ другими снялся съ мѣста и старикъ Ѳедоръ. Захвативъ съ собой новокрещенныхъ и нагрузивъ на Нестора цѣлый «хатуль» съ особенно цѣнными приношеніями, онъ рѣшилъ покамѣстъ «охутиться»² въ своей пустынкѣ, полагая, что туда не скоро еще заглянуть, а, можетъ, и совсѣмъ минуютъ «фарановы колесницегонители», какъ миновали пять лѣтъ тому назадъ, когда было подобное же гоненіе.

И вотъ онъ шагаетъ теперь сквозь лѣсную трещу, про-

¹ «Видовые», т.-е. живущіе у «жиловыхъ» по паспортамъ подъ видомъ работниковъ, прохожихъ, странниковъ, богомольцевъ и т. п.

² «Охутиться»—спрятаться, схорониться.

буеть подбодрить себя и своихъ спутниковъ, занять свою мысль пріятной перспективой того, какъ онъ начнетъ «отчески внѣдрять» и «лѣпозарно возвращать» въ завѣтахъ правой вѣры красавицу Глашу, но это ему плохо удается: раскаленнымъ гвоздемъ засѣла въ его головѣ непріятная вѣсть о гоненіи, давить его, гнететь и далеко гонить прочь пріятныя мысли объ «уладахъ» пустыньскихъ...

— А вдругъ найдутъ, вдругъ разыщутъ,—что тогда?.. Вѣдь за пять-то лѣтъ куды много воды утекло! Да поди, не дурушлепы тоже и тѣ-то, христораспинатели-то антихристовы: народъ ой-ой какой достремливый ¹, тонкій да мазуристый сталъ! Можетъ, того же Сеньку, измѣнника треклятаго, съ собой захватили, а Сенька-то, вѣдь, все знаетъ, богоотступникъ любодѣйный... Да, нехорошо... То-ись вотъ какъ нехорошо, вотъ какъ нехорошо: у-у — да и только!.. Безпримѣнно надеть съ Макаромъ обо всемъ эфтомъ столковаться да пока что «упахать» ² все по пустынь-то, чтобъ значить, тово... не втюкаться какъ нибудь да въ лапы имъ, окоёмнымъ ³, не дасться...

Уже совсѣмъ стемнѣло, когда Федоръ со своими спутниками подошелъ къ пустынькѣ. Надъ мшариной закрубился туманъ, еще болѣе сгущая пряный запахъ либиста съ ѣдкой горечью болотной ржавчины. Оглушительный концертъ сверчковъ и лягушекъ, то замирая, то разростаясь, повисъ въ воздухѣ, а снизу, со дна глубокихъ засосей, кто-то пыхтѣлъ—недужно, протяжно...

«Никто моей могилушки никогда не посѣтитъ, развѣ пташечка лѣсная на ней сядетъ-посидитъ», — вдругъ донеслось до путниковъ изъ густой заросли олешиника на опушкѣ острова. Пріятный, молодой женскій голосъ тихо, какъ-то неувѣренно и тоскливо-тоскливо, точно сквозь сдерживаемыя рыданія, зазвучалъ было гдѣ-то справа—и оборвался,

¹ «Достремливый» — смысленный, хитрый.

² «Упахать» — уладить, устроить.

³ .Окоёмный» — проклятый, ненавистный, упрямый.

тренькнувъ на концѣ, какъ жалобно лопнувшая отъ натуги струна...

— Домна, дура, плачетъ,—пронеслось въ головѣ Ѳедора.—И чего ей, право?..

«Ку-вить, ку-вить, гу-гу-гу-гу!»—покрывая всѣ ночные звуки, загукала и раскатилась дикимъ смѣхомъ старая лѣсная неясность въ окутанной туманомъ трущобѣ гдѣ-то слѣва.

— Съ нами крестная сила! Тьфу! Сгинь, пропади, нечисть поганая! Святъ, святъ, святъ—аллилуія, аллилуія! — въ страхѣ зашептали женщины, невольно останавливаясь и тропливо кладя на себя двуперстное знаменіе креста.

— Ишь залопотала, непутева утроба! И откеля взялась?! Эхъ, не хорошо! Не къ добру эфто!—сквозь зубы пробормоталъ, въ свою очередь, бѣгунскій наставникъ, неодобрительно потряхивая головой и вступая на полянку, гдѣ пріютилась пустынька.

Въ окнахъ одной изъ хижинъ свѣтился огонекъ: то начетчикъ и замѣститель Ѳедора, Макаръ, при свѣтѣ сальной свѣчи домашняго изготовленія, трудился надъ переписываніемъ «зѣло знаменательной» и «вѣрнымъ калянія вавилонскаго ради вельми потребной» главы «о злополучіи временъ антихристовыхъ» изъ «Вопросовъ старообрядцевъ къ крыющимся христіаномъ и отвѣтовъ на нихъ». Наклонившись надъ столомъ и беззвучно шевеля толстыми, красными губами, онъ букву за буквой выводилъ полууставомъ:

— «И глаголется антихристь отступленіе, глаголется звѣрь седьмоглавный и десяторожный, глаголется ересь и мерзость запустѣнія, и мірская роскошь, и столпъ киченія зміева, его же зримый образъ суть власти богоотступныя и нечестивыя»...

На заваленкѣ, около другой хижины, пустынской канонархъ и уставщикъ Меѳодій въ десятый разъ рассказывалъ извѣстную повѣсть «о царскихъ близнецахъ». Съ десятокъ слушателей и слушательницъ окружали Меѳодія, неторо-

пливо, съ ежеминутнымъ (вслѣдствіе «зѣвотнаго обдержанія») «препятіемъ гласу», говорившаго:

— «И повелѣ царь уготовати ту огонь велій и привести царицу изъ темницы и съ чады ея. Посланніи же, скоро шедше въ темницу, обрѣтоша царицу ниць лежащу предъ образомъ Господнимъ и истомленну зѣло отъ поста и печали... Вземше же ю и чада ея, приведоша предъ царя... И возопи царица, со слезами глаголя: помилуй мя, владыко мой царю, погибающу нынѣ душею и тѣломъ, а невѣдущу, чесо ради прииде на мя напасть сія смертная»...

Изъ кладуши доносилась возня пустынской стряпухи, припрятывавшей остатки отъ вечерней трапезы: рабы Божіи уже поужинали, и большинство ихъ разошлось на «опочивъ».

— Господи Ісусе Христе, Сыне Боже, помилуй насъ!— тихо проговорилъ Ѳедоръ, незамѣтно подходя въ темнотѣ къ разговаривавшимъ.

— Наставникъ! Наставникъ пришелъ!—раздались голоса.

Все проснулось, встрепелось, вскочило на ноги. На новопривывшихъ посыпались вопросы и разспросы, и не прошло пяти минутъ, какъ вѣсть о гоненіи облетѣла уже всѣ закоулки пустыньки. Рабы Божіи забѣгали, завозились, заголосили, и если бы не пустынской настоятель, то и в. дремучемъ островкѣ повторилась бы, пожалуй, та же разруха, что произошла въ Донатовой пристани. Окинувъ всѣхъ своимъ острымъ взглядомъ, точно выросшій весь, онъ властно и рѣзко крикнулъ своей мятущейся паствѣ:

— Въ моленную!

Черезъ полчаса въ просторной комнатѣ той хижины, подъ окнами которой пустынской канонархъ и уставщикъ Меѳодій рассказывалъ предъ этимъ повѣсть «о царскихъ близнецахъ», вспыхнули огни. Съ десятокъ длинныхъ желтыхъ восковыхъ свѣчъ, изготовленныхъ изъ боязни «мірскаго оскверненія» здѣсь же, въ пустынькѣ, и, вѣроятно, поэтому сильно чадившихъ и трещавшихъ, освѣтили своимъ неров-

нымъ вздрагивающимъ пламенемъ встревоженныя лица «сущихъ о Христѣ братій и сестеръ»...

— Христіане!—«прошедши по собору», т.-е. поклонившись всѣмъ по два раза въ землю, началъ среди гробовой тишины старикъ Оедоръ:—за грѣхи наша зыска насъ Богъ праведнымъ гнѣвомъ Своимъ: по Его неизреченному изволенію и попущенію узы и скорби и темницу воздвиглъ на ны звѣроличный и богомерзкій антихристъ. Съ вои, лжепопы и всяческими демоноговѣйными злохитрости приидоша бо уже служи его въ весь, яже глаголется Пойкайя, и почаша тамоди всяческая ухищренія, пакости и гоньбы на вѣрныхъ творити... Страшенъ Богъ въ гнѣвѣ Своемъ, но, чаща мои возлюбленніи, великъ и предивенъ Онъ, Милостивый, и въ щедротахъ Своихъ! Наказуя и искушая насъ, якоже злато въ горнилѣ, Онъ укажетъ намъ и путь во еже избѣгнути прелести содомстей... Помолимся же Ему, да вразумитъ ны, да наставитъ и управитъ высокою мышцею Своею, да покрываетъ и оградитъ неизглаголаннымъ промысломъ Своимъ отъ козней любострастныхъ вавилонской любодѣицы и сквернявой чародѣицы... Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ, сердца наша горѣ въ сей часъ полунощный къ Нему возносяще!..

Началась полунощница. Всѣ принялись спѣшно, короткими шейными поклонами, съ какими-то особыми покачиваниями и вздохами, молиться каждый предъ своимъ складнемъ, которыми сверху донизу была уставлена глухая стѣна хижины.

— «День онъ страшный помышляюще, душе моя, побди, жжигающе свѣщу твою»,—гнусливымъ голосомъ затянулъ по одной изъ старопечатныхъ книгъ канонархъ Мееодій.

— «Побди, побди!»—подхватили во всѣхъ углахъ моленной склоненныя въ сокрушенной молитвѣ головы.

«Побди, не вѣси бо, егда приидетъ къ тебѣ женихъ твой!»..

Своеобразная, полная труднопередаваемыхъ древле-крю-

ковыхъ звуковыхъ сочетаній, тоскливая, жалобная, хватающая за душу мелодія поплыла по переходамъ и келейкамъ пустыньки, вынырнула на поляну и, то замирая, то разростаясь, понеслась по мшаринѣ въ дремучую трещу...

«Всѣ друзья мои бывше не вспомнятъ обо мнѣ; не погустятъ мои родные тамъ, въ далекой сторонѣ»,—откликнулся ей изъ олешины рыдающій голосъ Домны и, странно переплетаясь съ нею, затерялся подъ иглистой шапкой заснувшихъ великановъ...

Кончилась полунощница. Послѣдній аминь «зааминень», а рабы Божіи не расходятся, какъ въ бывшее время, «тихими стопами» по своимъ «ложницамъ», а все еще стоятъ, все ждутъ чего-то, вздыхаютъ, охаютъ...

— Братіе!—вторично обратился къ нимъ настоятель Федоръ,—пять лѣтъ тому назадъ бысть сицевая же тягота на вѣрныхъ. Якоже и днесъ, вооружися тогда антихристъ на вѣру правую, но, по милости Божіей, мимоиде вся сія вертограда сего, въ немъ же бдѣхъ и молихся азъ съ вѣрными чадами своими. Мню, яко и нынѣ ткожде будетъ: за молитвы отецъ нашихъ изсушить Господь жилы лжецерковныя и развѣтъ, яко прахъ предъ лицемъ вѣтра, мучителей нашихъ... А посему изыдите съ миромъ по кельямъ своимъ и не смущайтесь и не упадите ни духомъ, ниже тѣломъ, зане, толику поздну сущу, никтоже возможетъ сегодня прийти на ны скрозѣ облежачія насъ частыни, ихже насади десница Божія для святыхъ своихъ, да укрыются въ нихъ отъ крамолы сатанинстей... Заутра же, на соборѣ послѣ обѣдницы, паки совѣтъ сотворимъ, сразсуждающе о еже дѣяти подобаеть намъ въ належачая испытанія, яже нашла на ны, грѣхъ ради нашихъ, всесвятая Троица...

Твердыя, самоувѣренныя съ виду, бодрящія рѣчи наставника, которому привыкли всѣ слѣпо вѣрить и повиноваться, быстро возстановили спокойствіе въ душахъ «пустыннолюбцевъ», какъ любили иногда величать себя послѣдователи старца Евѣимія. Отвѣсивъ уставной поясной поклонъ Федору

и получивъ отъ него «благословящій отпустъ», они одинъ за другимъ разошлись по своимъ прирубамъ и келейкамъ, обсуждая на всѣ лады полученныя новости. Огни въ обѣихъ хижинахъ погасли, и скоро всепобѣждающій сонъ охватилъ пустыньку...

Только въ олешинѣ, на опушкѣ островка, еще долго время отъ времени раздавался мучительно-тоскливый напѣвъ Домны:

„Буйны вѣтры, полетите
Въ мой любимый край родной,
Обо мнѣ вѣсть отнесите,
Что случилось здѣсь со мной“...

О чемъ-то плакала, надъ чѣмъ-то мучилась, на что-то горько жаловалась и тяжело-тяжко вздыхала молодая душа... Да порой настоящимъ лѣшимъ раскатывалась въ ночной тиши старая лѣсная неясность, сидя на вершинѣ толстой дуплистой сухарины...

II.

Отпустивъ свою паству на покой, Ѳеодоръ вмѣстѣ съ начетчикомъ Макаромъ спустился въ свой «спудъ». Это была небольшая подземная комната, проникнуть въ которую изъ хижины можно было лишь только изъ «подпечника»¹, черезъ вертикально идущій изъ него узкій срубъ-люкъ съ деревянными планочками на стѣнкахъ вмѣсто лѣстницы. Стѣны комнатки были сколочены изъ грубоотесанныхъ досокъ, забранныхъ по угламъ въ толстые кругляши-столбы, служившіе вмѣстѣ съ тѣмъ опорой и для бревенчатого потолка. Земляной глинобитный полъ былъ устланъ домотканымъ ковромъ. Въ углу, налѣво отъ входа, стояла маленькая жаровня-печка, а рядомъ съ ней, по стѣнкѣ, на двухъ

¹ «Подпечникомъ» называется пустое пространство, образуемое подъ русской печью деревяннымъ фундаментомъ, на которомъ стоитъ печь.

вплотную сдвинутыхъ широкихъ скамьяхъ, была послана мягкая перина, прикрытая ватнымъ стеганымъ одѣяломъ съ верхомъ изъ разноцвѣтныхъ ситцевыхъ лоскутьевъ. За постелью была еще дверь куда-то, низкая, тѣсная, наглухо обитая соломеннымъ щитомъ. Въ красномъ углу висѣлъ большой старинный восьмиконечный мѣдный крестъ съ литымъ изображеніемъ Спасителя, съ копіемъ и тростью по бокамъ, Адамовой головой у подножія и надписью: «Сынъ Боже, Царь славы, Иисуъ Христе, симъ побѣдиши». Предъ крестомъ стоялъ сдвижной, въ видѣ буквы «Х», аналой съ раскрытымъ на немъ цвѣтникомъ Евѣимія и перекинутой черезъ уголъ лѣстовкой. На полу лежалъ небольшой коврикъ—«подколѣнникъ». Столомъ служила широкая сосновая, сбитая въ захмыль, доска, вставленная въ стѣнной пражикъ. Надъ столомъ, подъ самымъ почти потолкомъ, висѣла полка, на которой, въ небольшихъ берестяныхъ тюрючкахъ, лежали книги, деревянныя дощечки—графильники, бумага и черные неуклюжіе счеты. По правую руку отъ стола въ стѣну былъ наглухо вдѣланъ небольшой шкапчикъ, запиравшійся висячимъ замкомъ съ винтовымъ ходомъ. Въ комнатѣ было жарко, душно, кисло; пахло гнильемъ, прѣлымъ наземомъ и пушистой зеленой плѣсенью...

Вошедши въ эту комнату, Ѳедоръ чиркнулъ спичку, зажегъ толстую восковую свѣчу на столѣ и въ изнеможеніи опустился на деревянную, некрашенную табуретку. Тяжелая утомительная дорога и все переиспытанное имъ за послѣднія полтора сутокъ настолько утомили его, что даже сознание того, что онъ, наконецъ,—у себя, дома, вдали отъ всякихъ хлопотъ, сидитъ съ своимъ другомъ закадычнымъ Макашей, съ которымъ онъ вмѣстѣ пробродяжничалъ цѣлыхъ 20 лѣтъ и съ которымъ, поэтому, не къ чему «мельзить», т.-е. притворяться и скрываться и въ рѣчи и въ поступкахъ,—не радовало его, какъ въ былое время: дума о «гоненіи» просто извела его.

— Что, братъ Ѳедя, нерадостенъ? а?—присаживаясь рядомъ съ нимъ, спросилъ начетчикъ Макаръ.

— Да что, братъ! Дѣло—труба, вотъ что...

— Ну?!

— Да какъ же! Анисью, братъ, ищутъ...

— Не-у-же-е-ли?

— Ей-Богу, пра!

— Вотъ тебѣ и клюква!.. Дрянъ дѣло, дрянъ...

— Это-то я и безъ тебя, братъ, знаю, что дрянъ: не въ эфтомъ и дѣло, а въ томъ, что намъ теперечки предпринять прикажешь? Потому, ежели найдутъ да поразнюхаютъ все, какъ слѣдуетъ, такъ впору, пожалуй, и пожитки собирать да, какъ допрежъ, лататы запузыривать—вотъ что!

— Да раздолбай ¹ ты толкомъ, какъ эфто они натолкнулись-то?

— А такъ и натолкнулись! Васька-то, вишь, мужъ-то Анискинъ, жениться, дуракъ, вѣдумаль...

— Ну?!

— Ей-Богу, пра! Высваталь себѣ Машутку изъ Поросья да къ попу и бухъ: такъ, молъ, и такъ, этакъ и вотъ этакъ...

— Ахъ, дуракъ, дуракъ!

— Ну, попъ-отъ сичасъ и насѣлъ: «какъ жениться? а Анисья гдѣ? Анисью куды дѣвалъ?»—Да померши, говоритъ, батюшка!—«Какъ померши? гдѣ померши? кто хоронилъ? Я ничего не знаю. Представъ, говоритъ, свидѣтельство о ея смерти, тогда и повѣнчаю»...

— Та-акъ...

— Ну, онъ туды-сюды, ачъ и шишъ: ничего и не вышло... А сродственники-то Анискины, разузнавши всю эфту штуку-то, сичасъ къ Васькѣ и нахлынули: «говори, курицынъ сынъ, гдѣ Анисья померла?» А тотъ вертѣлся-вертѣлся да сдуру-то и шлепнулъ: пошла, молъ, въ Соловки, да по дорогѣ-то, въ Онегѣ, и померла...

— Тссс...

¹ «Раздолбай»—растолкуй, расскажи.

— Ну, они, не будь дураки, сичась въ Онегу-то чрезъ полицію запрось: была ли, молъ, такая-то и такая-то, отъ чего померла и гдѣ похоронена?

— Та-акъ...

— Ну, само собой, отдедева—кикъ! И не была, и никто Анисью не видалъ, и не зналъ, и не хоронилъ...

— Хссс ты, штука какая!

— Ну, опять сичась къ Васькѣ, да не одни ужъ, а съ приставомъ да урядникомъ. Пошли опросы да запросы. Одна какая-то душа проклятушая и донеси, вишь, во время опроса-то, что Васька-то дюже, молъ, Аниску-то дулъ и завсегда отдѣлаться отъ нея хотѣлъ, что онъ со скрытными, вишь, знался да шептался и что, молъ, многіе видали, какъ онъ ее, всю избитую, къ нимъ въ подызбицу въ Пойкайю стащилъ...

— Ай, ай!..

— Ну, сичась въ Пойкайю и бросились... И слѣдователь эфтотъ самый при нихъ, и дохтуръ... Пыль коромысломъ, говорятъ, подняли: шарятъ, шнорятъ, кажинно мѣстечко осматриваютъ, кажинну бабу болтливую выпрашиваютъ...

— Скверно...

— На что сквернѣе! Сквернѣе и выдумать нельзя... Особливо да ежели Сенька-прохвостъ при нихъ: бѣда! за милу голову выдасть, шамарганъ звѣрливый¹ !..

— Это какъ есть! Безпримѣнно выдасть! Потому какъ онъ теперички сердить на насъ, а знать-то все знаетъ: и какъ хѣрили, и какъ што...

— Да, да.

— Уххххъ, да ежели-бъ таперича онъ мнѣ въ лапы попался!

Въ глазахъ ссыльно-каторжнаго Еремѣя Бровкина, а

¹ «Шамарганъ»—мошенникъ, «звѣрливый»—злой. «Шамарганъ звѣрливый»—опасный, бѣдовый человекъ.

теперь—начетчика бѣгунскаго Макара, заигралъ, переливаясь то синеватыми, то красно-желтыми искорками, адскій огонь. Волосатая рука его сжалась въ огромный кулакъ и съ такой силой опустилась на столъ, что мѣдный поставецъ со свѣчей запрыгалъ и зазвенѣлъ.

— Да, достань его, поди! Раньше объ эфтомъ нужно было думать... А теперя онъ, братъ, держись только! Коли выкладывавать зачнетъ, такъ и про «блинки» ¹, пожалуй, выложить...

— У, чтобъ его!

— А Домна—дура? а Филатка—прохвостъ?

— Да-да, все знаетъ, чихирь кабацкій!.. ². Онъ, пожалуй, и сюда ихъ проведетъ, а? Какъ ты думаешь? а?

— Да коли что, такъ ужъ удружить: въ эфтомъ будь спокоенъ...

— Такъ какъ же быть-то?

— А вотъ и я тебя спрашиваю: какъ быть?

— Д-а-а-а... Оно, пожалуй, и овзабыль ³ пожитки-то надо сложить да приготовиться на всякъ случай... Гдѣ у тебя финтирплюй-то? ⁴.

Федоръ поднялся съ табуретки, откинулъ полу синяго суконнаго кафтана, пошарилъ въ штанахъ и, доставъ оттуда ключъ, отперъ имъ шкапчикъ: на нижней полкѣ его правильными рядами стояли стопки новенькихъ, свѣтленькихъ «мурземацкихъ» ⁵ рублевиковъ. Тутъ же лежали куски свинца, олова, самодѣльные формы, плавильникъ...

— Давай, свѣти!—ссылая все это въ полу, проговорилъ начетчикъ Макарь.

— Ты куда эфто?

¹ «Блинки»—бродяжническое названіе фальшивой монеты.

² «Чихирь кабацкій»—пьяница, развратникъ, гулящій человекъ.

³ «Овзабыль»--вправду, безъ шутокъ.

⁴ «Финтирплюй»—форма для чеканки монеты.

⁵ «Мурземацкій»—подпольный, поддѣльный, фальшивый.

— Куды! Охутить¹ надуть... Аль забыль, што за эфто полагается?

— Да «блинки»-то зачѣмъ?

— А ты что-жь, самъ ихъ сбывать станешь, что ли?... Полно. Давай бери свѣчку да свѣти, говорю!.. Про насъ, братъ, и настоящихъ хватить...

Черезъ полчаса за дверью «спуда» была вырыта въ землѣ ямка, непримѣтно скрывающая въ себѣ всѣ слѣды фабрикаціи фальшивой монеты.

— Такъ-то-съ лучше буде!—старательно уминая глину надъ ямкой и прикрывая ее сверху пескомъ и старой охоботиной, бурчалъ себѣ подъ носъ бѣгунскій начетчикъ.—На-ко-сь, найди теперя? Шалишь, братъ!..

Когда дѣло съ предательскими рублевицами было покончено, два друга, люди по-своему весьма умные, но проиодохи и плуты, прошедшіе огонь и воду, принялись пересчитывать и зашивать въ тульи шапокъ и полы кафтановъ «настоященскіе» кредитные билеты, отчасти вымѣненные на фальшивые рублевики, а главнымъ образомъ—награбленные ими съ простодушныхъ послѣдователей «правдой» вѣры.

— Итого, у тебя двѣ тыщи пятьсотъ сорокъ да у меня близъ тыщи... О-го, недурно вѣдь, Оедя? а? Ты какъ полагаешь? а?

— Такъ-то оно такъ, а все-же жаль... Подумай только, вѣдь какъ хорошо намъ здѣсь-то жилось! а?... Всяка штука къ твоимъ услугамъ: и власть, и почетъ, и жратва первѣющая, и уголь теплый, и все, все... А теперъ что? Опять темные сюземки², стужа, слякоть, шлянье изъ погоста въ погость, недоѣданье, недосыпанье...

— Э, полно, Оедя, не горюй: не въ первой намъ съ тобой эфту катавасью зачинать... Вспомни-ко, въ какихъ-какихъ передѣлкахъ мы съ тобой не бывали, а выходили

¹ «Охутить»—спрятать, схоронить.

² «Сюземокъ»—дремучій хвойный лѣсъ.

же цѣлы и невредимы. Вывернемся и теперь... А что касательно власти да почету, такъ рази мы теряемъ ихъ? Нисколичко. То-ись вотъ, понимаешь, ни на эстолько! Напротивъ, теперя еще сильнѣе къ намъ лнуть зачнуть, потому—«страдальники», одно слово. А гнѣздо... Ну, гнѣздо—не здѣсь, такъ въ другомъ мѣстѣ совьемъ...

— Такъ-то оно такъ, а все же...

— Ну, пошелъ! Терпѣть не могу, какъ это ты бирюка тянуть ¹ зачнешь!.. А все бабы твои, все женолюбіе твое подлое! Рази такимъ ты былъ? Молодецъ молодцомъ: огонь—одно слово. А теперя? Взглянь-ко-сь на себя, на что ты сталъ похожъ? Тряпка, братъ, совсѣмъ какъ есть тряпка! Весь измочалился...

— Ну-ну! А самъ-то?

— А что самъ? И самъ я зѣвка не даю, а все же предѣль соблюдаю, потому очинно хорошо тоже понимаю, что баба такъ баба она и есть: свяжись съ ней покрѣпчае, такъ живо размякнешь... Поди, опять каку ни на есть кралю завель? а? Ужъ не энту ли? не Глашку ли?

— А тебѣ-то что?

— Та-та-та-та-та!.. Ой, Ѳедька, смотри: не доведеть тебя до добра трапизониха-дурафья ². Вспомни мое слово: совсѣмъ окислишься...

— Ладно, ладно! Разговаривай!.. А ты лучше вотъ что: за суматохой-то даве я совсѣмъ и позабылъ, что жрать тошнехонько хочется; такъ какъ бы оно того—почавкать малость? а?

— Вотъ эфто дѣло! И я съ тобой чекалдыкну малость... Ты тутъ изъ створа-то ³ достань что слѣдуетъ, а я сейчасъ закуски тебѣ припру...

¹ «Бирюка тянуть»—хныкать, ныть, жаловаться на что.

² «Трапизониха — дурафья» — презрительное выраженіе, употребляемое въ смыслѣ: бабья юбка, бабья привязанность.

³ «Створъ» — шкапчикъ.

Черезъ четверть часа на столикѣ стоялъ цѣлый ворохъ закусокъ. Тутъ были и грибки, и семга, и севрюга разварная, и пшеничныя «наливки» съ просомъ ¹, и житныя «сгибеньки» съ творогомъ... ².

— Ну, Одея, выпьемъ что ли?

— Выпьемъ, Макарь!—проговорилъ бѣгунскій наставникъ, наливая изъ бутылки себѣ и начетчику по объемистому стаканчику казеннаго.

Дѣло пошло ходко. За бутылкой казеннаго была распита бутылка черносмородиновой, а за ней—кувшинчикъ морошки. Друзья пили равномѣрно много, не уступая другъ другу ни на волосъ. Лица ихъ раскраснѣлись, глаза заволоклись пьяной дымкой, языкъ заболталъ вмѣстѣ съ дѣломъ бездѣлье...

— Одея, другъ ты мой сердечный, поцѣлуемся что-ль? То-ись, понимаешь, мошенникъ ты...

— А самъ-то?

Надъ сире-е-бря-ной рико-о-й...

— И самъ я... и я тоже...

— Макаша! а Макаша! куды же мы теперя? а?

— Куды? Къ Анюткѣ Тетерихѣ пойдемъ,—вотъ куды! Тамъ, подъ Шенкуркой, пока что и притулимся... Понялъ?..

Надъ сире-е-бря-ной рико-о-й...

— А тамъ насъ... то-ись... понимаешь... не сцапаютъ? а?

— Эфто у Анютки-то?

— Ну, да, у Анютки. Помнишь, у насъ тамъ тоже что-то въ родѣ чего-то?..

— Ха-ха-ха!.. Полно! Анютка, братъ, не таковская. Она, братъ, баба хышь и наваристая и толстотрапезная, иначе развѣрнѣющая, што твой песь приворотный: глаза выцарапаетъ, а насъ въ обиду не дастъ... Давай, чиркай ³ лучше!

¹ «Наливка»—ватрушка съ просомъ вмѣсто творога наверху.

² «Сгибень»—тонкая лепешка, согнутая вдвое, сочень, пирожокъ.

³ «Чиркай»—пей.

На злато-омъ пи-со-о-чкѣ...

— Я думаю, въ дорогу-то намъ кой-чего захватить не мѣшаетъ: жратвы, цвѣтничковъ, крестиковъ...

— Ну, расконечно...

Тамъ вичее-е-р-ні-ю поро-о-й

Я иска-аль сли-до-оч-ковъ...

Жутко Глашѣ. Съ открытыми глазами лежитъ она гдѣ-то подъ землей, въ какой-то канурѣ, куда свели ее «на опочивъ» послѣ полунощницы двѣ старицы. Тусклый, синевато-блѣдный огонекъ лампадки едва освѣщаетъ, мигая, голыя стѣны, лежанку въ углу, дверь, въ которую она вошла, еще дверь куда-то...

— Боже мой, да гдѣ же это я? И почему мамки нѣтъ со мной? Аль искусь это?.. Господи, помилуй! Господи, помилуй!.. Я отъ міра удалилась, жизни скорбной посвятилась... Господи помилуй!..

Прошелъ часъ, прошелъ другой. А кругомъ все та же таинственность, все тѣ же мигающія, ползущія съ предмета на предметъ тѣни, тѣ же звуки, которые несутся къ Глашѣ со всѣхъ сторонъ, точно въ этомъ странномъ мрачномъ подземельѣ самый воздухъ наполненъ ими, то протяжными и едва уловимыми, то отрывочными и рѣзкими... Вонь—чу!—гдѣ-то скрипнула дверь, шаги какіе-то въ коридорчикѣ раздаются... Слѣва какъ будто полуслова, полувосклицанія долетаютъ; обрывки какой-то пѣсни звучать... Надъ самой головой что-то ухнуло, завозилось и жалобно-прежалобно запищало... И духота, вонь, мерзятина...

Ворочаясь съ боку на бокъ и шепча про себя молитвы, долго прислушивалась Глаша къ тому, что кругомъ ея творилось, но утомленіе взяло, наконецъ, и ее: сладко заснула она, свернувшись калачикомъ на мягкой перинѣ...

Спитъ Глаша и не чувствуетъ того, что бѣгунскій наставникъ стоитъ надъ ней, покачиваясь изъ стороны въ сторону и бормоча заплетающимся языкомъ:

— Ишь какъ раскинулась, ангелочекъ мой пресвѣтлый!
Смарагдъ мой изумрудный! Голубица моя всенепорочная!..

III.

На востокѣ, точно полуоткрытый глазъ просыпающейся въ сладострастной нѣгѣ красавицы, вспыхнула багрянцемъ полоска утренней зорьки. Ночная тьма, завидя ее, побурѣла отъ злости и, цѣпляясь за каждый пенъ, за каждый кустъ, изъ всѣхъ силъ старалась хоть на мигъ продлить еще свое господство надъ грѣшной землей, но, пронизываемая насквозь смѣющимся розовымъ лучомъ, въ клочья рвала въ безсильномъ гнѣвѣ свое темное покрывало и все глубже и глубже забиралась отъ ненавистнаго и безошаднаго врага въ заповѣдную чашу вѣковаго бора...

Въ это раннее время, по рѣкѣ Волошкѣ, змѣей извивающейся среди столѣтнихъ елей и сосенъ, быстро скользили три лодки, держась гусемъ, одна за другой: то пробирался въ Изосимину пустыньку «наѣздъ духоборнаго никоніанскаго суда» — полицейскій приставъ Михаилъ Власевичъ Деризубовъ, судебный слѣдователь Никтополіонъ Киндеевичъ Корниловъ, экспертъ Пансофій Гордіевичъ Оеократскій, человекъ шесть урядниковъ и десятка полтора понятыхъ.

— Эй, какъ тебя? — раздался вдругъ со второй лодки грозный окликъ пристава, поручика въ отставкѣ и яраго преслѣдователя и противника всяческихъ «странно-скрытно-раскольническо-подпольныхъ бредней», какъ онъ самъ любилъ выражаться объ ученіи послѣдователей старца Евѣимія.

— Сенька, вашеское благородіе! — откликнулся ему съ первой лодки юркій мужичонко въ сѣромъ дырявомъ балахонѣ и въ Богъ вѣсть откуда свалившейся ему фуражкѣ съ краснымъ околышемъ. Это и былъ тотъ самый Сенька, бывший бѣгунъ, котораго такъ побаивались наставникъ Оедоръ и начетчикъ Макарь.

— Скоро что ли будетъ это воронье гнѣздо?

— Скоро, вашеское благородіе! Вотъ таперичка за эфтой самой гогоулиной ¹ потянемъ самую што-ни-на-есть малость, да и на берегъ айда!

— Ну, а тамъ-то?

— А тамъ, значить, еще версты съ три будетъ, потому спервоначаль «корба» ² пойдетъ, за корбѣй — болотина, а средь болотины - то, на небольшой такой «оргѣ» ³, какъ разъ и будетъ эфта самая пустынь, гдѣ, значить, Оедька съ Макаркою эфти самые и обрѣтаются... Я раза съ два бываль у нихъ, вашеское благородіе, а потому, значить, не извольте беспокоиться: еще «до встани» ⁴ подъ саму пыху ⁵ къ нимъ подлѣземъ...

— Ну, такъ вали, вали скорѣе, чтобы не проснулись да стрекача не задали! Знаю я ихъ! Точно собаки гончія по вѣтру чуютъ... Чуть сплеховаль что — и слѣдъ простылъ: точно сквозь землю провалятся, анаемы этакіе!..

Гребцы поналегли на весла, и лодки, обогнувъ излучину и стрѣлой промчавшись съ полверсты, со всего маху, шурша и «гложа» дно, врѣзались въ прибрежную остролистую осоку.

Всѣ вышли на берегъ, оправились, поразмяли онѣмѣнія отъ долгаго сидѣнья ноги и вошли въ лѣсъ.

Дикъ и угрюмъ стоялъ лѣсъ. Сплошной стѣной вытянулись къ небу сѣдые великаны — то больные, старые, изъѣденные ракомъ и обглоданные короѣдами и долгоносиками, то сильные, могучіе. Ихъ узловатыя, оплетенныя мохомъ лапы сплелись между собой, образуя по мѣстамъ совершенно непроницаемый для солнца иглистый щитъ. На каждомъ шагу

¹ «Гогоулина» — излучина рѣки.

² «Корба» — низкое прирѣчное мѣсто, поросшее густымъ хвойнымъ лѣсомъ.

³ «Орга» — сухой островокъ среди болота, покрытый лѣсомъ.

⁴ «До-встани» — до вставанья отъ сна угрюмъ.

⁵ «Пыха» — носъ.

груды бурелома, непролазная чаща молодятника, рытвины, вывороченные пни... И сыро, нагноино...

Но вот стѣна великановъ раздалась и какъ-то разомъ помельчала.

Между кустами лозняка глянула болотина, а среди нея, какъ и говорилъ Сенька, открылся тотъ самый хвойный островокъ, на которомъ расположилась извѣстная уже намъ Изосиминына пустынька.

Сквозь легкую дымку совсѣмъ готоваго растаять въ воздухѣ тумана червоннымъ золотомъ отливали въ лучахъ только-что показавшагося солнца вершины красныхъ пустыньскихъ сосенъ. Гдѣ-то на одной изъ такихъ вершинъ, вѣроятно, уже успѣвъ позавтракать болотными мошками, звонко «ги-лягиликала» красноглазая иволга, а внизу, танцуя вокругъ ствола толстокорой сухарины, время отъ времени тенькалъ, точно телеграфистъ за аппаратомъ, бѣлоспинный дятель...

— Вотъ тутотко, вашеское благородіе, они и сидятъ!— указывая рукой на островокъ и обращаясь къ приставу, шопотомъ проговорилъ Сенька.

— А—гà-а-а!

— Теперички потише надуть, вашеское благородіе, чтобъ, значить, и всамдѣлѣ дичину не сполохнуть... Потому, сами изволите видѣть, близь... Ну, и чухъ¹ у нихъ, двистительно, преотмѣнный и пѣвѣтеръ² тянетъ, и все такое прочее...

— Вали, вали!..

Одинъ за другимъ, осторожно ступая за Сенькой, длиннымъ шестомъ нащупывавшимъ въ «тытапахавшейся»³ мшаринѣ бездонныя окна засосей, потянулись на островокъ неожиданные и незванные гости...

Вотъ и олешина...

¹ «Чухъ»—слухъ, чутье.

² «Пѣвѣтеръ»—попутный вѣтеръ.

³ «Тытапахаться»—качаться, осѣдать подъ ногами

— Э-ге-ге, да тутъ, вашеское благородіе, никакъ есть кто-то!

— Гдѣ?

— А вонъ — видите?

На шелковистой муравѣ прогалины, среди раздвинувшихся кустовъ олешника, лежала на спинѣ молодая женщина. Черный ситцевый сарафанъ, съ мѣдными шаркунчиками по передней трестѣ, сбился кверху, обнаживъ до колѣнъ ноги, обутыя въ красные шерстяные чулки и толстокожіе съ подковками башмаки. Черный коленкоровый платъ, съ бѣлой нашивной каемочкой по краямъ, развязался, и изъ-подъ него выбились и беспорядочно рассыпались по плечамъ и груди пряди темнорусыхъ волосъ. Лежавшая женщина крѣпко спала, чуть-чуть скрививъ верхнюю губу въ какую-то страдальчески-горькую, точно чѣмъ-то насильно выдвленную складку.

— А-а-а, да это Домна никакъ? Она и есть!—осторожно подкрадываясь къ лежавшей, прошепталъ Сенька.

— Какая Домна?—шопотомъ же спросилъ его приставъ.

— А изъ-подъ Кучепилды, вашеское благородіе! Что за прошлой осенью ребеночка-то похѣрила да изъ арестантской-то бѣжала!

— А-га-га-а-а! Попалась-таки, голубушка!..

— Такъ какъ же таперички быть-то съ ней, вашеское благородіе?

— Давай, буди!

— Домна! а Домна! Домн-а-а! —наклоняясь и дотрогиваясь до откинутой наотмашь руки лежавшей, позвалъ вполголоса Сенька.

Домна открыла глаза, съ минуту бессмысленно, не шевелясь, поглядѣла прямо передъ собой, а потомъ, обмахнувши лицо рукой и убѣдившись, что то, что она видитъ, происходитъ не во снѣ, а наяву, поспѣшно вскочила на ноги, оправила привычнымъ жестомъ волоса, обдернула сарафанъ и съ испугомъ и недоумѣніемъ уставилась на окружавшихъ ее людей.

— Кто ты?—обратился къ ней съ вопросомъ приставъ.

— Христіанка.

— Да какъ звать-то тебя?

— Христіанка.

— Тьфу, дура! Я не о томъ тебя спрашиваю: христіанка ты или нѣтъ, а имя? имя-то какое у тебя?

— Христіанка.

— Ну, заладила сказку про бѣлаго бычка!..

— Позвольте,—выступилъ впередъ и, оправляя очки на носу, проговорилъ экспертъ Пансофій Гордіевичъ: — позвольте! Дайте мнѣ побесѣдовать съ ней.

— Послѣ, послѣ, голубчикъ, побесѣдуете! -- перебилъ его приставъ.—Теперь некогда... нельзя... тѣ учуютъ да удерутъ... Понятые, взять эту дуру и айда впередъ!..

Несмотря на то, что солнце окончательно уже выплыло изъ-за лѣса, въ пустынкѣ всѣ спали еще мертвымъ сномъ. Да оно, положимъ, и не къ чему было тревожиться. Ни пахать, ни сѣять, ни косить, ни жать — ничего этого не нужно было дѣлать, а обѣдница раньше девяти часовъ, какъ «указано» то въ «типиконѣ», не начнется; значить, спи всласть, сколько душенька захочетъ, сколько тѣлушко ссяжетъ...

Самолично разставивъ кругомъ обѣихъ хижинъ понятыхъ и строго-настрого приказавъ имъ хватать всякаго, кто захочетъ улизнуть отъ нихъ, приставъ громко постучалъ въ окно моленной.

Всѣ замерли въ напряженномъ ожиданіи.

Прошла минута, двѣ, пять, десять...

— Ишь раздрыхались, бездѣльники этикіе! Эй вы, ироды, отпирайте что-ль? — барабаня кулакомъ по рамѣ и никакъ не подозрѣвая, что онъ со всѣми своими спутниками давно уже открытъ обитателями хижинъ, ревѣлъ во все свое полицейское горло ярый преслѣдователь и противникъ всяческихъ «странно-скрытно-раскольническо-подпольныхъ бредней».

— Эвона! эвось! Вишь?.. Лови! держи!—раздались вдругъ голоса сзади хижины.

— А-а-а, такъ вы такъ? — весь позеленѣвъ отъ злости, прошипѣлъ Михаилъ Власевичъ: — вы такъ? вы по-своему хотите? Хорошо. Ломи, ребята, двери!..

Съ десятокъ рукъ, вооруженныхъ кольями и полѣньями, съ силой забили по дверямъ той и другой хижины. Тяжелыя, запертыя извнутри на желѣзные крючья, двери заохали, застонали, заходили на петляхъ и, разбитыя въ связяхъ, съ грохотомъ рухнули на-земь.

— За мной, Пансофій Гордіевичъ! За мной, Никтополіонъ Киндеевичъ! За мной, ребята! — точно на войнѣ, во время штурма какойнибудь непріятельской крѣпости, прокричалъ приставъ, бѣгомъ бросаясь внутрь.

Мигомъ были осмотрѣны всѣ комнаты хижины, обысканъ подвалъ и чердакъ, обшарены всѣ углы и закоулки, но, кромѣ старой Харитины изъ Мирошина да какъ лунь сѣдого Василья Лобана изъ Кяргина, притаившихся въ темныхъ сѣнцахъ, за ларемъ, никого не оказалось, хотя шапокъ, рубахъ, портковъ, сарафановъ, платковъ, постелей, поддевокъ и пальтушекъ разныхъ, большихъ и малыхъ, старыхъ и новыхъ, было, по крайней мѣрѣ, человѣкъ на десять. То же и въ другой хижинѣ: и тамъ, кромѣ двухъ старушекъ — глухой Манеены да больной Макрины, безучастно сидѣвшихъ на своихъ постеляхъ въ прилубѣ¹, никого не было, хотя сразу было видно, что за какіенибудь полчаса до осмотра и тутъ было тоже человѣкъ съ десять, если не болѣе.

— Что за фортель, господа?—разводя руками, время отъ времени приговаривалъ сбитый съ толку приставъ.— Вѣдь ясно, какъ день, что, кромѣ этихъ старухъ, народу здѣсь была цѣлая уйма? И куда дѣваться могли, анаемы этакіе, когда кругомъ стража разставлена?.. Нѣтъ, здѣсь чтонибудь да не такъ... Здѣсь, воля ваша, фокусы какіенибудь... Какъ вы думаете, Пансофій Гордіевичъ?

¹ «Прилубъ» — отгороженная досчатой перегородкой небольшая комната въ избѣ.

— А такъ думаю, Михаилъ Власьевичъ, что тутъ не иначе, какъ тайнички понастроены...

— Тайнички, тайнички! Это-то я и безъ васъ знаю, что у нихъ тайнички разные водятся... А вотъ какъ до нихъ добраться-то?— вотъ въ чемъ дѣло...

— А вотъ сейчасъ посмотримъ... Гдѣ у васъ рулетка-то?

— Это зачѣмъ?

— А затѣмъ, что нужно вымѣрить все до точности...

— Не извольте беспокоиться, вашеское благородіе!—вдругъ вынырнулъ изъ толпы урядниковъ Сенька.—Ономнясь, какъ я, значитъ, былъ у нихъ, вашеское благородіе, такъ я все какъ есть у нихъ поразнюхалъ... Печка у нихъ, вашеское благородіе, печка такая!.. Изъ печки изъ эфтой ходы и идутъ.

— Какая печка? Что ты тамъ городишь?

— А такая печка, вашеское благородіе, что, значитъ, фундаментъ раскроешь—и готово!.. Самъ я не лазилъ туды, потому—не къ чему, а какъ они лазили—эфто видѣлъ...

— Ага! Подпечникъ?—переспросилъ Сеньку экспертъ.

— Во, во! Подпечникъ, подпечникъ, вашеское благородіе!

— Въ какой же это избѣ: въ этой или въ той?

— А рядомъ съ моленной, вашеское благородіе, съ моленной!..

Всѣ перешли въ комнату, расположенную рядомъ съ бѣгунской моленной.

Почти треть этой комнаты занимала русская печь, громадкая, неуклюжая, съ фундаментомъ изъ трехъ восьми-вершковыхъ колодъ. Одна изъ этихъ боковыхъ колодъ оказалась болѣе захватанной и загрязненной, чѣмъ остальные. Сенька раздобылъ топоръ, засунулъ конецъ его въ угловой «лапчатый» замокъ фундамента, попринажалъ прочь отъ печки—и загрязненная колодина, скрипя на желѣзномъ шарнирѣ, медленно распахнулась, открывъ доступъ въ тотъ самый «подпечникъ», которымъ Федоръ съ Макаромъ опустились въ извѣстный уже намъ «спудъ».

— Э-ге-г-е-е-е! Ловко!—привскочивъ отъ удивленія, вскричалъ приставъ.—Эй, огня!..

При свѣтѣ фонаря въ подпечникѣ обрисовалось черное устье люка.

—Та-та-та! Ну, и штука!—разводя руками, продолжалъ удивляться Михаилъ Власевичъ.

Рѣшено было подробно освидѣтельствовать люкъ и прослѣдить, куда онъ ведетъ. Какъ разъ въ это именно время изъ темной пасти люка, откуда-то снизу, изъ-подъ земли, донесся тихій, едва слышный, жалобный стонъ.

— Э-э-э, да тутъ дѣло-то, кажется, не совсѣмъ ладно... Стонъ... Чу! Слышите, господа?.. Вотъ катавасія-то еще, право! а?.. Эй, Гавриловъ, тащи-ка, братъ, сюда всѣхъ кого забрали!..

Минуть черезъ пять въ комнату съ «подпечникомъ» введены были всѣ захваченные бѣгуны и бѣгунки.

— Ну, говорите живо: куда ведетъ этотъ люкъ?—грозно напустился на нихъ приставъ.

«Сушіе о Христѣ убогіе сироты» жались другъ къ другу и молчали, потупивъ глаза въ землю.

— Слышите что ль? Я васъ спрашиваю: куда ведетъ этотъ люкъ?

Опять то-же молчаніе, то-же переминанье съ ноги на ногу.

А изъ люка опять донесся нудный жалобный стонъ и судорожныя всхлипыванія.

— Что молчите? что буркулы-то въ землю оставили? оглохли что-ли?.. Ууу, ироды проклятыя!.. Тебя какъ звать?—вдругъ круто обратился приставъ къ захваченному на задворкахъ пустынскому канонарху Меѳодію.

— Христіанинъ,—буркнулъ тотъ, исподлобья глянувъ на спросившаго.

— Да имя-то какое у тебя?

— Христіанинъ.

— Дубина, вотъ что, а не христіанинъ. Не про то тебя спрашиваютъ...



Бѣгунскій тайникъ.

Вверху—печка съ подпечникомъ. Внизу, слѣва,—люкъ изъ подпечника въ подземелье, справа—подземные коридоры тайника.

— Не извольте беспокоиться, вашеское благородіе! — снова вынырнулъ Сенька.—Я знаю, какъ его звать: Меѳодій—вотъ какъ! Запѣвало эфто ихній, значить, будетъ...

— Ага! запѣвало—говоришь?

— Запѣвало, запѣвало, вашеское благородіе! Калинархъ—поихнему. Когда, значить, соберутся всѣ въ моленную, онъ и запѣваетъ...

— Такъ, такъ. Ну, такъ слышь ты, запѣвало подпольное, говори: куда дыра эта ведетъ?

— Не знаю.

— Какъ не знаешь?

— Не знаю.

— А кто это тамъ стонетъ?

— Не знаю.

— Какъ не знаешь?

— Не знаю.

— Тѣфу, попугай дурацкій! Зарубилъ одно: не знаю да не знаю... Говори ты!—отрывисто кинулъ разсвирѣпѣвшій приставъ старику Василью Лобану.

Старикъ, свѣсивъ на грудь свою сѣдую голову, беззвучно перебиралъ выцвѣтшими губами.

— Или тоже не знаешь?

— Н-н-ѣ...

— И кто стонетъ, не знаешь?

— Н-н-ѣ...

— А Ѳедька, вашъ наставникъ, гдѣ? тамъ?

— Н-н-ѣ...

— И вы, поди,—тоже не знаете?—проговорилъ приставъ, обводя налившимися кровью глазами бѣгунокъ.

Молчаніе.

— Ну, да ладно. Послѣ все скажете. А теперь помните, что вы мнѣ башками своими отвѣтите, если да, паче чаянія, я тамъ насиліе какое встрѣчу... Гавриловъ, спустись, брадецъ, да доглянь тамъ, что за дыра!

— Слушаю, ваша всбродь!—гаркнулъ бравый урядникъ,

сбросилъ съ себя шинель и шашку и ногами впередъ полѣзъ въ люкъ.

Вотъ осталась видна одна его кудластая голова... однѣ руки, крѣпко уцѣпившіяся за верхнюю обвязку люка...

— Ну, что?

— Глыбко, ваша всбродь!—донеслось изъ люка.

Исчезли и руки, и только слышно было, какъ Гавриловъ пыхтѣлъ и грузно перебиралъ гдѣ-то внизу ногами, упираясь ими, точно въ колодцѣ, въ бока люковаго сруба.

Прошло еще съ минуту, и вдругъ—тррр! Что-то тяжелое и мягкое, шурша и цѣпляясь за что-то, сорвалось и полетѣло куда-то внизъ, глухо шлепнулось обо что-то и дико, по-звѣриному, замычало...

— Гавриловъ, Гавриловъ, гдѣ ты?—нагнувшись надъ люкомъ и свѣтя въ него фонаремъ, крикнулъ приставъ.

— Ой-ой-ой! Ой, батюшки!..

— Да гдѣ ты, говорятъ тебѣ?

— Ой, моченьки нѣтъ!..

— Да что съ тобой?

— Оборвался, ваша всбродь!.. Ой! ой!..

— Куда?

— А песъ знаетъ куда, ваша всбродь!

— Ну, такъ чего же ты орешь?

— Да очинно ужъ испужался, ваша всбродь! Да и ерболызнулся дородно... ⁴ Ой, Господи! Ой, матушка Пресвята Богородица!.. Спина-то, спина-то!.. Чтобъ вамъ сдохнуть, лоботрясы душевредные! Тѣфу!..

Въ люкъ кинули веревку. Гавриловъ кое-какъ ухватился за нее и такимъ образомъ былъ вытащенъ на свѣтъ Божій. Мундирная куртка его во многихъ мѣстахъ была разорвана и висѣла клочьями; руки и лицо въ крови; волоса всклоочены; глаза расширенные, перепуганные...

— Ну, что?

⁴ «Дородно»—изрядно, порядкомъ.

— Да ничего, ваша всбродь!

— Какъ это тебя угораздило?

— А такъ что лѣзу я это, ваша всбродь, ногами въ планочки упираюсь, что по стѣнкамъ, значить, понадбиты... Лѣзь, лѣзь: все хорошо... Только вдругъ ступилъ, значить, на одну такую планку, а она,—чтобъ ни дна ей, ни покрышки!—и хрясни... Ну, и полетѣлъ, ваша всбродь!.. Да животомъ-то да спиной-то все по стѣнкѣ да по стѣнкѣ чиркъ да чиркъ! Оно вотъ и растворожилъ себя малость...

— Ну, а что же ты тамъ замѣтилъ?

— А ничего, ваша всбродь, потому какъ тамъ темень самая что ни на есть несуразная: хышь въ глазъ колъни...

— Ну, а все-таки? Ходы, напимѣръ? норы?

— И-и, страсти Господни, да и только!

— Что страсти?

— Шумъ, звонъ, ваша всбродь! Одно слово—нечисть...

— Ну, это ты, любезный, врешь! Какая тамъ къ чорту нечисть? Дуракъ, вотъ что!.. Привяжите-ка къ веревкѣ палку: я самъ полѣзу... Да и ты, Бѣлоусъ, со мной полѣзешь! и ты, Павлюкъ!—приказалъ приставъ двумъ другимъ урядникамъ.

— И я съ вами, Михаилъ Власевичъ!—рѣшительно заявилъ экспертъ Пансофій Гордіевичъ.

— Вотъ это дѣло!.. Снимайте-ка сюртуки-то ваши да простыя рубахи съ портками надѣнемъ—и маршъ! А то въ хорошемъ-то еще перемажешься, мундиръ изгадишь... Да смотрите: оружіе захватите, фонарь...

Первымъ спустился, сидя на крѣпко привязанной палкѣ верхомъ и держа впереди себя фонарь, самъ приставъ; за приставомъ спустился урядникъ Бѣлоусъ, за Бѣлоусомъ Пансофій Гордіевичъ и, наконецъ, послѣ всѣхъ— урядникъ Павлюкъ.

При свѣтѣ фонаря въ одной изъ стѣнъ люка обрисовалось узкое и низкое отверстіе, которое, по мѣрѣ удаленія отъ своего начала, все болѣе и болѣе расширилось и ста-

новилося выше, образуя собою настоящій коридоръ почти въ ростъ человѣка, съ досчатыми стѣнами и таковымъ же потолкомъ на толстыхъ кругляшахъ.

— Смотрите-ка, смотрите-ка, господа, что у нихъ тутъ понастроено! а?.. Римскія катакомбы, ей-Богу—катакомбы!—осторожно ступая по глинистому полу и зорко глядя впередъ, шопотомъ высказывалъ свои мысли Михаилъ Власевичъ.

Сажени черезъ три коридоръ пересѣкался другимъ такимъ же коридоромъ.

— Вотъ тебѣ фунтъ! Куда теперь итти? а? Тутъ, пожалуй, и заблудиться впору... А-га-га, эврика! Эй, Бѣлоусъ, тащи, поди, изъ люка веревку, по которой мы спустились: будемъ по веревкѣ ходить, какъ древній Тезей по ниткѣ въ лабиринтѣ... Вѣдь такъ, кажется, Пансофіи Гордіевичъ?

— Такъ, такъ, Михаилъ Власевичъ!

— То-то помнится, что такъ. Когда-то и насъ вѣдь кой-чему, голубчикъ, учили...

Укрѣпивъ веревку за потолочную перекладину, двинулись дальше, сначала—направо.

— А воздухъ-то, воздухъ-то, господа! Пррр... Просто дышать нечѣмъ: мерзость одна, да и только!..

Коридоръ, между тѣмъ, постепенно сталъ суживаться и замѣтно подниматься кверху. Скоро вдали показалась узкая полоса свѣта.

— А вѣдь мы къ выходу идемъ, господа! Такъ и есть!..

Дѣйствительно, коридоръ вдругъ круто повернулъ направо и, перейдя въ простую нору, въ которой можно было двигаться лишь только ползкомъ, на четверенькахъ, вывелъ всѣхъ въ густой кустарникъ далеко позади пустыньки и стражи, охранявшей ее.

— Тю-ттю-ю-ю!—свистнулъ приставъ.—Вотъ такъ захватили! Ищи въ полѣ вѣтра! Ловко, подлещы этакіе, подстроили!..

Крикнувъ двоихъ изъ понятыхъ и поставивъ ихъ около

выхода, всё вернулись назадъ къ тому мѣсту, гдѣ привязана была веревка.

— Дѣлать нечего, пойдёмъ теперь сюда. Въ науку для будущаго хоть посмотримъ, какъ живутъ эти анаемы..

Взяли прямо противъ люка. Но не успѣли они сдѣлать по этому направленію и пяти шаговъ, какъ до нихъ ясно долетѣли плачь и стонъ, не разъ уже слышанные ими еще наверху.

— Тссс, господа!..

Всѣ насторожились и тихо, тихо, сдерживая даже дыханіе, пошли на стонъ.

— Господи, да что же это? гдѣ же это я?... Мама, мама!— неслось имъ навстрѣчу.

И все ближе, ближе... Съ каждымъ шагомъ все громче и громче, слышнѣй и отчетливѣй...

Но вотъ по одной сторонѣ коридора двѣ двери, и за одной изъ этихъ дверей кто-то неудержимо рыдалъ и бился въ судорожныхъ мукахъ. Дверь оказалась запертой.

— Эй, отопри!— гаркнулъ приставъ.

Рыданія моментально смолкли.

— Отопри, говорятъ тебѣ!

Стихли даже всхлипыванія.

— Ломай, Бѣлоусъ, дверь!

Бѣлоусъ приналегъ. Съ потолка посыпался песокъ. Одинъ изъ косяковъ, прямо врытыхъ въ землю, выскочилъ изъ своего гнѣзда, и дверь съ шумомъ отворилась.

Вошли.

На перинѣ, на полу, всклоченная, полураздѣтая, съ опухшими отъ слезъ глазами, сидѣла Глаша и, точно окаменѣлая, съ ужасомъ, близкимъ къ столбняку, смотрѣла на дверь. При видѣ вошедшихъ она вскрикнула, вскочила на ноги, шатаясь рванулась впередъ и, какъ безумная, заговорила часто, задыхаясь, размахивая руками и поминутно оглядываясь на другую дверь изъ комнаты.

— Возьмите меня! возьмите меня отсюда, ради Бога!

— Кто ты?

— А Глашка.

— Какая Глашка?

— А изъ Моховины, Василисы Баландихи дочь.

— Какъ же ты сюда попала?

— А вичоръ съ мамкой да Улитой Сіятелихой пришла.

— Ну?

— Ну, а потомъ меня сюды опосля опчей молитовки и заперли. Двѣ старухи тутъ были... говорили, что на искусь, анъ вышло, что на грѣхъ на одинъ...

— Да ты не торопись, а говори толкомъ: какъ—на грѣхъ?

— А такъ и на грѣхъ! Заснула этто я, анъ мало-малая и пришелъ этотъ противный старичишка...

— Какой старичишка?

— А Хедоръ-то ихній, наставникъ-то тутѣшній...

— А развѣ онъ здѣсь?

— Здѣсь, здѣсь.

— Гдѣ?

— А вотъ оттедева пришелъ да тудатко опять и ушелъ,— сморкаясь и указывая на вторыя двери изъ комнаты, сквозь слезы проговорила Глаша.

Приставъ и Пансофія Гордіевичъ рванулись по указанному направленію.

За дверями, наглухо обитыми съ другой стороны соломеннымъ щитомъ, оказался «спудъ» наставника Федора. Въ немъ былъ страшный безпорядокъ: все переверорочено, смято, свалено въ кучу... На столѣ стояли двѣ пустыя бутылки, валялись черпки глинянаго кувшинчика, объѣдки «наливокъ» и «сгибней», куски севрюги, семги...

— Вотъ онъ мерзавецъ какой! а? Неугодно ли полюбоваться! а? Гамъ дѣвку обнасилничаль, здѣсь бражничаль... Тѣфу, сволочь поганая! А еще святыми притворяются, о вѣчномъ спасеніи толкуютъ... И главное дѣло—какъ все хитро да подло устроено: тамъ наверху разыскивай ихъ, а они въ это время чикъ!—и готово... Давнымъ-давно гдѣ

нибудь по лѣсу, каналья, шагаетъ да надъ нами, дураками, посмѣивается... Ловко!...

Тщательно осмотрѣвъ всѣ углы «спуда» и захвативъ съ собой Глашу, всѣ направились дальше по этому диковинному лабиринту. Въ коридорчикѣ противъ люка встрѣтили еще двѣ келейки да въ коридорчикѣ налѣво три келейки, а въ концахъ опять выходы на волю—въ глубокую яму, откуда бралась глина, и въ оврагъ, поросшій частой зарослью лозняка... И вездѣ постели, разныя лакомства «снѣдныя», слѣды безпробуднаго пьянства и тайнаго разврата, наряду съ зажженными лампадками, ворохами старинныхъ «богодухновенныхъ» книгъ, кадилницами, лѣстовками, ладаномъ... И опять—никого, кромѣ стараго Токи, лежавшаго скрюченнымъ въ постели отъ жесточайшаго ревматизма, да «сбившейся съ грунту», т.-е. выжившей изъ ума старицы Христулы, преспокойно напѣвавшей своимъ беззубымъ ртомъ священный стихъ о смерти:

„О горе, горе мнѣ, грѣшнѣй!
О увы, увы мнѣ, бѣднѣй!
Почто азъ не покаялась,
Почто не уготовилась?“...

Уже время приближалось къ полудню, когда, измученные, уставшіе, приставъ, экспертъ и урядники съ захваченными Глашей, Фокой и Христулой вышли одной боковой лазейкой, по которой думаль улизнуть канонархъ Меодій, въ кладушу, а изъ нея—на дворъ пустыньки.

— Ну, и народецъ безпардонный!—снимая портки и рубаху, ругался приставъ, весь перепачканный въ сажѣ и глинѣ.

— Да, батенька, тутъ штука замысловатая: просто садись да рисуй — узоры восхитительные получатся... Видаль я и «голубцы» ихніе, и ямы подпольныя, и стѣны выдвижныя, и потолки двойныя, и ходы круговые, а ужъ такого озорства, признаться, не встрѣчалъ... А все коноводы проклятые: ухъ, проидохи какіе!—вторилъ ему экспертъ, полощась въ тазу съ водой.

*

IV.

Рѣшено было обѣдать.

Изъ кладушь да амбарушь появились всевозможныя закуски, и всѣ, разбившись по кучкамъ, принялись утѣшать себя за неудачную облаву на «сушихъ о Христѣ братій и сестеръ» пустынскими деликатесами.

— Ишь у нихъ, непутевыхъ, благодать кака: просто ѣшь—не хочу!—доносилось изъ группы понятыхъ, съ аппетитомъ уничтожавшихъ лекшмозерскихъ сиговъ въ прикуску съ груздями.

— Да, батенька, и намъ бы съ вами впору столъ такой имѣть,—потягивая изъ дорожной фляжки и закусывая то рыжичкомъ, то кусочкомъ пеледи и семги, разсуждалъ красный и потный отъ усерднаго «возліянія» и вкусной закуски приставъ.

Послѣ обѣда, не смотря на значительную тяжесть въ желудкѣ и пріятный туманъ въ головѣ, рѣшено было тотчасъ же приступить къ допросу захваченныхъ и описи пустынского имущества.

На лужайку передъ моленной былъ вынесенъ широкій сосновый столъ. На столѣ появилась скоропишущая машина, предусмотрительно захваченная съ собой судебнымъ слѣдователемъ, портфель съ бумагами и цѣлая кипа отобранныхъ въ разныхъ келейкахъ старопечатныхъ и рукописныхъ книгъ.

— Ну-съ,—потирая руки и окидывая своими мышинными глазками съ ногъ до головы бѣгунскаго канонарха, проговорилъ неторопливо и съ особымъ чисто «слѣдовательскимъ» величіемъ Никтополіонъ Киндеевичъ,—начнемъ...

И онъ застучалъ на машинѣ, выбивая число, мѣсяць, годъ и другія вступительныя подробности протоколно-слѣдственного акта.

«Тикъ-тикъ. Тѣкъ-текъ-такъ»!—залепетала, заговорила, закашляла своей маленькой стальной грудью машина, по-

корно отмѣчая на листѣ бумаги то, что отъ нея требовали.

«Тикъ»!

Меѳодій вытаращилъ глаза на невиданную штуку и, истово осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, въ испугѣ пятился назадъ.

— Антихристъ, антихристъ!.. Тьфу! Сгинь, умолкни, отлучися! Прельщаетъ бо хитростью и коварствомъ, прошеніемъ и ласканіемъ, вещей бездушныхъ чарованіемъ и волхованіемъ, ихже преподобніи зряще самого сатану въ нихъ быти помышляху! — зашептали его блѣдныя безкровныя губы.

«Тикъ»!..

— Ну-съ, любезнѣйшій, расскажи-ка намъ,—обратился къ нему слѣдователь,—давно ли ты здѣсь и зачѣмъ сюда пожаловалъ?

Меѳодій ни слова.

— Паспортъ есть?

Тоже.

— Да ты говори, не бойся! Для тебя же лучше будетъ... Ну-съ, такъ что же?

Попрежнему—молчаніе.

— Пансофій Гордіевичъ, спросите-ка его вы!—наклонясь къ эксперту, шопотомъ проговорилъ слѣдователь.

Экспертъ откашлялся, поправилъ на носу очки въ золотой оправѣ и, перелистывая грубо размалеванный лицевой апокалипсисъ съ извѣстными карикатурами на православную церковь и государство, тихо, гнусливо, по-бѣгунски, нараспѣвъ заговорилъ:

— «И спасутся крющіеся въ пропастьхъ и вертепѣхъ, ненавидяще антихристова знаменія и страха»...

Меѳодій вздрогнулъ и съ удивленіемъ глянулъ исподлобья на говорившаго.

Между тѣмъ экспертъ, какъ бы не замѣчая, продолжалъ:

— «... Зане слышасте, что къ вамъ глаголетъ Господь Богъ вашъ: изыдите отъ сего темнаго вавилона, людие мои, изыдите отъ прелестныя любодѣицы его и не причаститесь грѣхомъ ея»...

Меѳодій нервно затормошилъ свою курчавую русую бородку.

— «... ибо приде послѣдній врагъ Божій, чувственный антихристъ, и на великороссійскую сѣдѣ державу»...

Меѳодій поблѣднѣлъ, покраснѣлъ и безпокойно заерзалъ намѣстѣ.

— «... Кто убо есть скверный оный чувственный антихристъ? Не иного мню, развѣ Петра Перваго, понеже Петръ не пріять на ся царскаго имени, восхотѣ бо по-римски именоватися «иператоромъ», еже исчисливъ узриши число 666...

Меѳодій тряхнулъ головой, сдѣлалъ шагъ впередъ и дерзко, въ упоръ, уставился на эксперта.

— «... И егда бы оный иператоръ, сей жидовинъ отъ колѣна Гданова, умысли еллинскіе и латинскіе и прочіе языческіе законы установити, яко св. брады брители, платье нѣмецкое носить, власы растити и въ косы плести, банты привязывати... табакъ носомъ пити и устами курити... и прочая тако поганеная дѣяти,—исполнися реченное: и гладъ будетъ великъ... Оле, горести! Оле, воздыханія! Здѣ бо бысть послѣдняя Русь; здѣ бо отъ сего часа на горшая измѣненія будетъ превосходити Русь человекѣи любодѣйными»...

— А что же ты думаешь: не такъ?—не выдержалъ и и рѣзко крикнулъ Меѳодій.

— Что не такъ?—едва замѣтно улыбнувшись и зная, что теперь, когда сломлено упорное бѣгунское «словесъ храненіе», онъ все выпытаетъ, спросилъ, въ свою очередь, Пансофій Гордіевичъ.

— Что «иператоры» ваши — антихристы и вся церковь ваша—блудодѣица его?

— Ну, такъ что же?

— Ну, и правильно, значить, «да елицы мученія мукъ

Црѣ Славы
 Ісѣ Хрстѣ
 Снѣ крѣтѣ Бжїи
 мнѣ ка
 мѣ рѣ

Слѣвитель сего рабъ Ісѣ Хрста Маркѣллъ оубо-
 ленъ изъ Іерлима града Бжїа въ разные города
 и селенїа ради дѣши прокоомленїа, гонимомъ же тѣ-
 лѣ ради всѣакагѣ озлобленїа. Промышлать емѣ по-
 ведными трудѣми и работѣми еже работати с'при-
 лежанїемъ, а пить и бѣсть с'воздержанїемъ, противѣ,
 всѣхъ не прокословить, но Бгѣ славословить, оубива-
 ющихъ тѣло не боатьса, но Бгѣ боатьса и терпѣнїемъ
 оубрѣлѣтса, ходитъ правымъ пѣтѣмъ по Хрстѣ, да-
 вы не задержали раба Бжїа нигдѣ.

Утверди мѣ Гдѣи во стѣхъ твоихъ заповѣдахъ сто-
 яти и шъ востока тебе Хрстѣ к' западу спобѣ ко ан-
 тихрстѣ не шѣтѣпати. Я какъ а сего не бѣду соб-
 людатъ, то послѣ бѣду многу плакатъ и рыдатъ. Я
 кто страннаго мѣ прїати в'домъ свой бѣдетъ боать-
 са, тотъ не хочетъ с'господиномъ моимъ знатъса.
 Я кто мѣ ради вѣры поронитъ, тотъ навѣ себе с'анти-
 христомъ во адѣ готовитъ.

Данъ сей пачпортъ изъ града Бгѣ Вышнагѣ изъ Сионс-
 кой полицїи изъ Голгорскагѣ квартала. Приложено
 к'семѣ пачпортѣ множество невидимыхъ стѣхъ оцѣ
 рабъ, еже бы боатьса страшныхъ и вѣчныхъ мѣкъ.

Данъ сей пачпортъ шъ нижеписаннагѣ срока на
 одинъ вѣкъ, а по истеченїи срока лѣвиться мнѣ въ
 мѣсто нарочито на страшный Хрстовъ Сѣдъ.

Прописать мой примѣты и лѣта в'радость бѣдѣщаго
 вѣка. Явленъ пачпортъ в'части стѣхъ и в'книгѣ
 животнѣ под'номеромъ бѣдѣщаго вѣка записанъ.

Яминь. 4400 года майа в' 5 день.



терпѣти не могутъ, бѣгствомъ спасеніе себѣ обрящутъ оставляюще дома своя и села...

— Ну, и ты поэтому бѣжалъ?

— А то какъ же!

— И печать антихристу, т.-е. паспортъ, бросилъ?

— Бросилъ.

— И подати не платишь и не признаешь?

— И податей не признаю, занѣ Господеви точію дань душевную возсылаю...

— Ну, и слугъ антихристовыхъ, т.-е. насъ, чиновниковъ государевыхъ, отмечаешься, почитая за злочестивыя и бо-гоотступныя?

— Тѣфу на васъ!

— И законовъ нашихъ не признаешь, мня ихъ за «кри-восказательныя духоборныя книги, въ нихъ же судъ творится по похоти, сирѣчь по злату и серебру, по мѣшкамъ и штофамъ»?

— А что, скажешь,—неправда?

— Разумѣется, и церкви православной отрицаешься и таинствъ ея не приѣмлешь, занѣ въ причащеніи—«тѣло са-танино и кровь змінна», въ священствѣ—«лютыхъ демоновъ радованіе», въ крещеніи—оскверненіе, которое нужно омыть и имя перемѣнить?..

— Знамо, омыть и перемѣнить, занѣ молитесь вы за папу, и священства правильного у васъ нѣтъ.

— Въ бракѣ—блудъ?

— Блудъ и есть.

— Такъ. Ну, а коли въ бракѣ, напрімѣръ, блудъ, такъ зачѣмъ же вы дѣвокъ съ собой водите да насиль-ничаєте?

— А ты видѣлъ?

— Видѣть—не видѣлъ, а вотъ и здѣсь одну такую нашли... Эй, приведите-ка сюда Глафиру!..

Оробѣлая, взволнованная Глаша тихо подошла къ столу.

— Скажи-ка, Глафира, кто тебя здѣсь обидѣлъ?

Дѣвушка вспыхнула, потупилась и, закрывъ лицо руками, чуть слышно прошептала:

— А Хедоръ ихній—вотъ кто!

— Слышишь?—обращаясь къ Меѳодію, спросилъ Пансофій Гордіевичъ.

— А ничего не слышу!—отрывисто буркнулъ тотъ, злобно метнувъ глазами на Глашу.—Потому и слушать нечего: сама пришла... никто не просилъ...

Дѣвушка выпрямилась, задрожала, подалась всѣмъ тѣломъ къ канонарху и, прежде чѣмъ кто либо могъ сообщить и предупредить, харкнула ему въ лицо, истерично прокричавъ:

— Не ври, безтыжія твои очи! Не вѣрте ему, баринъ! Вретъ онъ... вретъ!..

Глашу увели.

— Ну, что же ты на это скажешь?

— А что? Ничего!—отплевываясь и вытирая полой лицо, угрюмо проворчалъ Меѳодій.

— Какъ ничего?

— А такъ и ничего! Непутевая, маловѣрная дѣвка—вотъ и все!..

— Чѣмъ непутевая? Чѣмъ маловѣрная?

— А тѣмъ и непутевая, тѣмъ и маловѣрная, что рази можно такъ?... Подпала подъ нѣкій ночной прилогъ—ну и молчи, не балалакай, молитовки твори да тыщу земныхъ поклоновъ положь, оно все разомъ и покроетъ...

— Развратъ-то покроетъ?

— Не развратъ, а искушеніе, темное грѣху плѣненіе немощи ради человѣческой... У насъ разврату нѣтъ, потому развратъ—на людяхъ, а у насъ все тихо, великотно, промежь себя, съ глазу на глазъ... У насъ ни женятся, ни замужъ не выходятъ, а живутъ, яко братія и сестры, чистоту свою каждо другъ ко другу совосперяюще...

— Хороша чистота!

— А все въ ней грѣха меньше, чѣмъ у васъ, зане ре-

чено: «тѣло играетъ—душа непорочна», и паки: «тайно содѣянное тайно и судится» и «чистымъ вся чиста и ничтоже сквернитъ»...

— Такъ по-вашему выйдетъ, что и тайно содѣянное убійство тайно судится и не сквернитъ?

— У насъ нѣтъ убійства?

— А Анисью-то въ деревнѣ Пойкайтѣ кто убилъ? а?

Меѳодій насупился, засопѣлъ и замолчалъ.

— Ну, что не говоришь? а?.. Намъ, братъ, все извѣстно: и какъ вы ее изъ Шуй-Лахты волокли, и какъ отъ Василья, ейнаго мужа, деньги за «мученическій изволь» получили, и какъ два дня ее въ подклѣти голодомъ держали, и какъ Ѳедоръ вашъ да Макаръ задушили ее тамъ и зарыли близъ гумна... Мы, братъ, вѣдь ее отрыли и все доподлинно разузнали!

— А коли открыли да разузнали, такъ и книги вамъ въ руки.

— Значить, соглашаешься?

— Чего—соглашаешься?

— А то, что иногда и убійства у васъ тайно совершаются и не считаются за грѣхъ?

— Худая трава изъ поля вонъ, зане речено: «исторгнетъ вавилонъ, и не будетъ его», и паки: «пошлетъ на нихъ мечъ, и истлятся»...

— А-га! Такъ, можетъ быть, для этого-то «истлѣнія» вавилона у васъ специально и бѣглые солдаты да каторжные водятся?

— У насъ нѣтъ ни бѣглыхъ солдатъ, ни каторжныхъ.

— А отецъ-то вашъ Евѳимій? а Савва Александровъ? а Климентъ Ивановъ, Евстаѳій Дмитріевъ, Абрамъ Бурловъ? А теперешній-то вашъ наставникъ Ѳедоръ, начетчикъ Макарь, душегубъ Филатка?

— Такъ это-жъ у васъ, въ вавилонѣ, они были такими, а у насъ омылись, освятились, очистились и стали благовѣрными, агнцами непорочными, братіями и рабами Божиими,

не имѣющими здѣ пребывающаго града, а грядущаго взыскающими.

— Вотъ оно что! Вѣроятно, поэтому-то вы ихъ такъ тщательно и скрываете отъ насъ, слугъ антихристовыхъ?

— Скрывать не скрываемъ, а и на мѣку не предаемъ.

— На какую муку?

— А извѣстно—на какую! На какую христіанъ при Неронѣ предавали?

— Такъ вѣдь то было при Неронѣ, при язычникѣ! А у насъ теперь царь христіанскій, благовѣрный, православный.

— Нѣтъ у насъ царя, зане разсыпая царскій чинъ... Богъ одинъ царь...

— А-га-га! Такъ значить, по твоему, что тогда, что теперь—все едино? Значить, и ты теперь на мукѣ у насъ?

— Знаю, на мукѣ.

— Стратотерпецъ, значить? мученикъ? исповѣдникъ?

— Слава Ти, Господи, довелось пострадать за имя Твое святое!

И Меѳодій, поднявши глаза къ небу, широко осѣнилъ себя двуперстнымъ знаменіемъ креста.

— Ну, а скажи-ка, стратотерпче, чѣмъ же вы живете здѣсь?

— Чѣмъ! Милостынею да постомъ.

— Та-а-акъ. Ну, и водка при вашемъ постѣ полагается?

— Мы не пьемъ водки.

— А бутылки-то въ келейкахъ для чего же завелись?

— А ты не сурѣчь, потому то—не въ пѣанство, а для лѣкарствія, для бранныхъ тѣлесъ врачеваній, зане речено: «всякъ знакъ на службу человѣку», и индѣ: «полезно вино животу человѣчу, радованіе бо тѣлу и веселіе души есть»...

— Вѣрно. Хотя, знаешь, доза-то для врачеванія ужъ какъ будто и не подходитъ: великовата малость! А?

— Могій вмѣстити да вмѣститъ.

— Правильно. Такъ, можетъ, для врачеванія же ваши бабы и казачій можжевельникъ, тертый порошокъ, янтарь да шафранъ пьютъ?

— Не знаю.

Какъ не знаешь?.. Эй, позовите-ка сюда Домну!..

Къ столу подошла захваченная въ олешинѣ женщина. Во всей фигурѣ ея на этотъ разъ такъ и било въ глаза что-то упрямое, строптивное, дерзкое, хотя нѣтъ-нѣтъ да и мелькнетъ, и проскользнетъ, что все это упрямство, вся эта стропливость и дерзость—напускныя, дѣланныя, вызванныя желаніемъ во что бы то ни стало скрыть отъ людей какую-то наболѣвшую и сильно нывшую душевную рану.

— Здравствуй, Домна!—обратился къ ней судебный слѣдователь.

Ни слова, ни звука. Только платочекъ едва замѣтно шевельнулся на головѣ.

— Тебѣ мужъ, дѣвченка твоя, братъ, свекоръ да свекровь поклонъ шлютъ!

Домна гордо подняла голову, внимательно оглянула слѣдователя и отчетливо и громко проговорила:

— Нѣтъ у меня ни свекора, ни отца, ни свекрови, ни матери, ни мужа, ни дочери. По плоти, на міру, были, а теперъ—нѣтъ...

— Полно, такъ ли?

— Такъ.

— И не жалко?

— Нѣтъ.

— И дѣвочку свою не жалко?

Домна опустила голову и дрогнувшимъ голосомъ чуть слышно проговорила:

— Нѣтъ.

— А вѣдь большая она ужъ у тебя! И вся-то въ тебя: такая же красивая да статная будетъ...

Платочекъ съ бѣленькой нашивной каемочкой опустился еще ниже и безпокойно заходилъ изъ стороны въ сторону.

— Ну, а этого-то ребеночка, котораго ты похѣрила-то, тоже не жалко?

Домна зашаталась и съ глухимъ стономъ опустилась на

землю. Слова слѣдователя попали какъ разъ въ большое мѣсто: и безъ того нившая рана зажглась нестерпимой болью, и эта нестерпимая боль разомъ отогнала далеко прочь всю напускную фальшь въ несчастной изстрадавшейся женщинѣ. Въ ея головѣ быстро, точно въ какой-то дьявольской пляскѣ, запрыгали, закружились, мучительно развертываясь, картины взбудораженнаго слѣдователемъ прошлаго, того близкаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, далекаго прошлаго, которое она силилась забыть, вырвать, вычеркнуть изъ своей памяти—и не могла...

Вотъ она молодой восемнадцатилѣтней дѣвушкой идетъ по улицамъ города Каргополя въ Троицынъ день въ крестномъ ходу изъ собора въ Свято-Духовскую церковь. Жемчужная «канура»¹, бѣлый атласный платъ, сплошь шитый золотомъ, штофный малиновый сарафанъ съ позументомъ по подолу, мелкоклѣтчатая кисейная рубашка съ золотыми понизями такъ и сверкають, такъ и горять на ней, возбуждая невольный восторгъ и удивленіе горожанъ... Она пробуетъ сосредоточиться, настроить себя на молитвенный ладъ, шепчетъ одну за другой знакомыя ей молитвы, но помимо ея воли между молитвенныхъ словъ такъ и прыгаетъ неотвязная, точно кѣмъ-то постороннимъ и властнымъ нашептываемая мысль: «Обернись, погляди! Вонъ видишь, гдѣ стоитъ онъ, твой суженый, твой ряженный, твой ненаглядный Петръ? Стоитъ и глазъ съ тебя не сводить, любуюсь только тобою и видя одну только тебя»...

Кончилась обѣдня. На торговой соборной площади началось гулянье. Шумъ, гомонъ, смѣхъ. Дивчата хороводъ затѣяли... Но не до хоровода ей: въ два часа пополудни ея милый условился съ ней увести ее², и ей въ одно и то

¹ «Канура» — головной уборъ олонецкой дѣвушки, представляющій собою лобную жемчужную повязку, сверхъ которой повязывался уже платъ.

² Въ Олонецкой губерніи до сихъ поръ живъ обычай увода дѣвицъ въ замужество.

же время и любо, и стыдно, и страшно, и жутко. Сердце ходенемъ такъ и ходи .

— «Пошла, пошла! Э-ей, держи!»—раздается вдругъ среди общаго веселья рѣзкій, громкій крикъ.

Толпа заколыхалась, заволновалась, рванулась за бѣглецами, но рѣзвая тройка, закусивъ удила и разметавъ по вѣтру длинныя гривы, уже далеко: не догнать ее... Да и къ чему? Все случилось такъ, какъ во избѣжаніе лишннихъ расходовъ желали обѣ стороны—и жениха, и невесты. Но не покочевряжиться нельзя: что скажутъ люди? Нехорошо...

Вотъ она въ избѣ Петра. Изба полна народа, который съ любопытствомъ смотритъ въ ту сторону, гдѣ сидитъ она, уведенная. Перекидываясь между собою различными шутками и прибаутками, касающимися свадьбы, всѣ съ нетерпѣніемъ ждутъ «отводинъ», т.-е. того, какъ родные ея придутъ отводить ее обратно домой.

Стыдно ей. Натянувъ платокъ на самые глаза, не шелохнувшись сидитъ она между Петромъ и подругой—«провожатаемъ»¹, точно приговоренная къ смертной казни...

— Идетъ, идетъ!—волной отъ заднихъ къ переднимъ рядамъ прокатилось вдругъ по народу.

И, дѣйствительно, дверь открывается, и въ темной пасти ея, запыхавшаяся, съ напускной злостью въ глазахъ и притворной рѣшимостью исполнить задуманное, показывается ея мать.

—Ты что же это, голубушка, сдѣлала? А? Зачѣмъ ты здѣсь? А?.. Пойдемъ-ка, пойдемъ, добро, домой!—подойдя къ ней вплотную, говоритъ она.

Бррр... нехорошо съ ней! Точно кто сбрызнулъ изъ мелкаго сита кипяткомъ, а потомъ навалилъ снѣгу, цѣлыя груды снѣгу и льду... Зубы противъ воли начинаютъ трель

¹ Подруга - «провожатый»— любимая подруга уведенной, помогающая обыкновенно уводу и остающаяся съ уведенной въ домѣ жениха с самой свадьбы.

выдѣлывать, а къ горлу откуда-то изнутри подкатывается съ неудержимой силой что-то противное, терпкое, гадкое, горько-соленое...

— Ну, что молчишь? Пойдемъ, пойдемъ! Нечего намъ здѣсь дѣлать!..

Мать схватила ее за руку и потянула къ себѣ, но Петръ обхватилъ и не пускаетъ.

— Нѣтъ, теперички не ваша она! Пусть-ко остается здѣсь: не для того была уведена, чтобъ домой ворочаться!— говорить онъ матери.

— Мало ли кого вы уведете?—огрызается та.—Я говорю, чтобъ сейчасъ же шла со мной домой!..

— Матушка, матушка, вѣрно Богъ такъ судилъ!—съ плачемъ бросается она въ ноги матери.

Поднимается шумъ, крикъ...

Всѣ наперерывъ стараются защитить ее и уговорить мать.

— Вишь, горячка какая!— тамъ и сямъ раздаются отдѣльные голоса.—Проваливай, проваливай! Сама виновата, что не караулила дочь раньше!..

Мать, выбившись изъ силъ и показывая видъ, что одной ей дочери домой не отвести, направляется къ порогу, кинувъ ей обычную въ такихъ случаяхъ фразу:

— Вотъ погоди, ужотко придетъ отецъ, такъ живо дома будешь!

И опять томительное ожиданіе подъ говоръ любопытствующей толпы.

Но вотъ и отецъ. Какъ и мать, онъ горячится «для глазу» и старается захватить ее руками за косу, чтобы побить.

— Не бей, не бей! Слышь?.. Не бей,—кричитъ народъ,—и никого не вини, что увели! Спроси-ко у дочери-то, вѣдь она сама согласна была... Лучше свадьбу играй— вотъ что!..

Отецъ уступилъ. Началось рукобитье. Родные Петра пошли по рядамъ присутствующихъ съ водкой и закуской,

приговаривая: «не побрезгуйте, добрые люди, хлѣбомъ-солью нашего князя и его нареченной княгини!»

Мелькнула, далѣе, въ склоненной до земли головѣ Домны самая свадьба.

«Святая госпожа Богородица, родила еси Христа, Царя небеснаго. Будь же, государыня матушка, помощница и заступница на всякомъ мѣстѣ, на водѣ и землѣ, князя и княгиню стереги со всѣмъ поѣздомъ отъ вѣдуна и отъ вѣдуницы, и отъ кладуна и отъ кладуницы, отъ бабы-еретицы, отъ бабы-бѣлоголовки, отъ дѣвки-черноголовки, отъ двоежена, троежена, отъ двоезуба, троезуба, отъ втрѣчнаго, поперечнаго, отъ наклепаго-горбатаго, отъ усопшаго и бѣса и отъ всей силы нечистой, яже во дни и въ нощи, въ затворахъ и притворахъ, въ утинахъ и въ притинахъ, отъ кладязя и езера, отъ блата и пустыни, отъ лихого человѣка и всякія порчи—душевныя и тѣлесныя, отнынѣ и довѣку, всегда бы и по вѣку»,—какъ будто сейчасъ звучатъ въ ея ушахъ слова знахаря—дяди Шептуна, съ запертымъ замкомъ, сырымъ яйцомъ и востроносымъ ножомъ въ рукахъ отпускающаго свадебный поѣздъ къ вѣнцу...

Тихо-тихо... Разошлись гости... Она одна съ своимъ Петромъ...

Прошелъ годъ. У счастливыхъ, безумно любившихъ другъ друга супруговъ родилась дочь—хорошенькая, маленькая Вѣрочка. А потомъ...

— О, Господи!—шепчетъ, извиваясь въ судорожныхъ рыданіяхъ, Домна.

..Потомъ Петра забрили. Ушелъ онъ, соколикъ ненаглядный... Наступила тоска, бессонныя ночи... А тутъ этотъ Меѳодышка противный «проявился»... И вѣдь невзрачный какой, настоящій замухрышка, анъ вотъ попуталь-таки бѣсъ...

— Ну, что же ты молчишь? Что плачешь?—нагнувшись къ ней, тихо спросилъ слѣдователь.

— Виновата, ваша милость! Моя вина! Мой грѣхъ!— какъ безумная, на колѣняхъ, не своимъ голосомъ прокричала Домна.

Всѣ вздрогнули и невольно потушили головы предъ этой тяжелой крестной мукой бѣдной женщины. Только бѣгунскій канонархъ Меодій, какъ бездушный истуканъ, стоялъ неестественно прямо, даже откинувши голову нѣсколько назадъ. Поблѣднѣвшее, какъ мѣлъ, лицо его подергивалось судорогой, а въ глубоко ввалившихся и обведенныхъ темно-сѣрыми мѣшками глазахъ свѣтилась такая лютая ненависть, такое проклятье по адресу несчастной Домны, что вчужѣ становилось жутко.

— Въ чемъ грѣхъ? Въ чемъ вина?—еще тише спросилъ Никтополіонъ Киндеевичъ.

— Похѣрила я его!.. Правда это!.. Я все вамъ расскажу, какъ предъ Богомъ расскажу... Казните меня: я сама того хочу, пострадать хочу!.. Только домой меня не водите: не вмоготу!.. И жалко мнѣ его... То-ись, Господи, вотъ какъ жалко, вотъ какъ жалко!..

— А ты, полно, не волнуйся, а Расскажи все по порядку, какъ было.

— А такъ и было!.. Появился это, батюшка баринъ, въ нашей деревнѣ вотъ энтотъ окаянный. Съ виду совсѣмъ святой, а только—враки это... У Корнея въ подызбицѣ оставился... Ну, и сталъ это онъ, ваша милость, всѣхъ уговаривать да улещать. «Антихристъ, говоритъ, на міру царствуетъ... Свѣту приставленъ скоро будетъ... Молитесь, говоритъ, и кайтесь. Только—не у поповъ, потому какъ они антихристомъ, говоритъ, подкуплены и испорчены: лжеучители и поганцы. Бѣгать ихъ нужно. Въ пустыню итти»... Ну, и пошли всѣ къ нему въ подызбицу. Говоръ опосля вышелъ: «праведный какъ есть человекъ, говорятъ: молится до поту, мяса не вкушаетъ, писанье толкуетъ, гадаетъ и предсказываетъ, и чудеса творить»... Послухала-послухала это я, подумала да и сама пошла: помолиться пошла да о

Петръ погадать... И все хорошо такъ было... Кончилась вечерница. Вдругъ этто онъ и говоритъ мнѣ: «что, молодуха, о Петръ скучаешь? Не скучай, говоритъ, а вѣруй и молись да вдругорядъ приходи: я тогда тебѣ о Петръ твоємъ по писанью все какъ есть расскажу»... Ну, и опять пошла... Разошелся этто народъ, а я съ нимъ осталась, потому какъ онъ гадать мнѣ обѣщаль... Вотъ ладно. Сижу и жду. Изъ думъ Пѣтра не выходитъ... А онъ, ваша милость, батюшка баринъ, вдругъ этто дверь на крюкъ и посади: «чтобъ гаданью, говоритъ, не помѣшали»... Хорошо. Досталь этто потомъ книжку, раскрыль да и давай читать: читаетъ, а бѣльмами-то все на меня да на меня... А опосля всего какъ зыркнетъ, какъ кинется—да въ охапку! Я — кричать. Такъ куды тебѣ! Рази сладишь съ такимъ охаверникомъ?.. Ну, и пошло, и пошло: со страху да со стыда пошло... «Ты, говоритъ, молодуха, помалкивай да почаще притыркивайся ¹, а нѣтъ—такъ со свѣту сживу, потому какъ я всю книжну премудрость, говоритъ, произошелъ и все могу: и испортить въ конецъ испорчу, и на допрежній ладъ опять направлю... А насчетъ всего прочаго будь спокойна, говоритъ, потому какъ у меня сила такая есть и прозрѣнье, и даръ: помолившись да благословясь дамъ тебѣ одну штуку выпить—живо все и прочистить...

— Ну, и что же — даль?

— Даль, даль, ваша милость!

— И ты пила?

— Пила, ваша милость, пила! Много пила: и въ молокѣ парномъ пила, и въ дождевой водѣ пила, и въ винѣ пила...

— И помогло?

— Нѣтъ, не помогло, потому какъ, должно, запоздала я... Да и дюже съ самага же спервоначалу понесло меня: я пью, а меня, точно на дрожжахъ, такъ и дуетъ, такъ и пыжить, что твою квашню на печкѣ...

¹ „Притыркивайся“—навѣдывайся, похаживай.

— Ну, а дальше то что?

— А дальше, батюшка баринъ, вдругъ это Пётра мой по счастливому жерёбью пришель, путкать ¹ меня зачалъ, пластушкой ² кликать, бить... Всѣ отъ меня отвернулись... Вотъ и вышелъ грѣхъ...

— Да какъ же онъ вышелъ-то?

— А такъ и вышелъ!.. Возненавидѣла я о ту пору и мужа, и энтова кобыльника проклятого, и дитѣ свое малое... То-ись такъ возненавидѣла, ваша милость, что, кажись, своими руками изорвала бы!.. Вотъ только чуйствую, что пора пришла: такъ и разсамариваетъ, такъ и тянетъ, такъ и гнетъ... Я—въ поле, быдто за дѣломъ, да на Кувалдиной пожнѣ, за кустикомъ, и родила...

— Ну-сь?

— Ну, взяла я это его, моего голубчика, гляжу, а въ самой злоба-то такъ и кипить, такъ и переходить, такъ и бурлить, точно въ котлѣ: рѣзвить ³ просто помутился, застервенѣла вся, что звѣрь лютый... Глядѣла, глядѣла, да со всего маху объ землю и хватъ! Пискнула, сердешный, ручонками задрыгалъ, ножонками замоталъ, а я—знай дую! Да по головкѣ, да по животу, да все каблукомъ, каблукомъ! Онъ ужъ и войкать пересталъ, и головка вся размякла и расхляпалась, изъ животика кишочки пошли, а я все дую, все дую, точно подталкивалъ кто... Очухалась это малость, глянула — саму просто ужась взяла... Скорѣ ямку тутъ же, подъ кустикомъ, вырыла да и закопала, ногами вотъ такъ утопала и домой! Пришла это домой, а самое такъ и трясеть, такъ и носить, что лошадь твою опоеную... Пётра о ту пору на лавкѣ сидѣлъ да хомутъ чинилъ, свекоръ на полатяхъ, а свекровь абапулъ ⁴ печки возилась...

¹ „Путкать“—бранить, ругать.

² „Пластушка“—потаскушка.

³ „Рѣзвить“—разумъ.

⁴ „Абапулъ“—около, возлѣ.

Вотъ хорошо. Забралась я на печку, лежу да и думаю: «ну, конецъ всему»... Анъ вдругъ въ избу-то и шась урядникъ со старостой да съ мужиками... «Гдѣ, говоритъ, у васъ молодайка-те?» А Пётра ему и отвѣчатъ: «А вонъ, говоритъ, на печкѣ. А что?» «Какъ что? Рази ты не знаешь, что она сичасъ ребеночка своего порѣшила?».. Пётра такъ и сѣлъ на лавку и хомуть изъ рукъ уронилъ, забѣлѣлъ весь, а въ глазахъ-то слезы, слезы у сердешнаго: видно, еще жалѣлъ меня о ту пору... Ну, сичасъ меня взяли да въ арестанску и заперли, потому сусѣдки все какъ есть, значить, видѣли, да и я сама не запиралась... Вотъ ладно. Сижу это я въ арестанской часть, другой... Ночь надвинулась. Сутемень такá пошла. На дворѣ погода завязалась: вѣтеръ, дождь, слякоть... Сижу и только вдругъ слышу, что у стѣны какъ быдто скребется кто-то да постукивать... «Ну, думаю, гнусь ¹. Господь съ нимъ: пусть скребется»... Анъ и еще и еще, и все пущѣй и пущѣй ². Но ногамъ слюнява ³ потянула... «Что, думаю, за причта такá?» Притаилась это и жду... Вдругъ шопотомъ кто-то и покличь: «Домна! а Домна!» — Что?—говорю. «Наклонись-ко, говоритъ, сюды!»—«Да кто тутъ?» — «Я — Меѳодій, говоритъ. Тутъ, говоритъ, я тебѣ мѣстечко подкопалъ. Подлѣзай скорѣ—да и айда!»... Ну, я сичасъ пролѣзла это да и ушла съ нимъ сюды...

— Ну, и что же здѣсь ты видѣла?

— Да что! Измытарилась совсѣмъ. Отъ ѣды, отъ сна отбилась. Опротивѣло все... А за послѣднее время видѣнiя это разныя стали приставляться. Сижу, альбо дѣлаю што—вдругъ ребеночекъ предъ глазами, пищитъ таково-то жалобно, ножками дрыгаетъ... «Мама, говоритъ, мама!..». Ну, и немоготу: зареву—да въ лѣсъ, да въ олѣшину... А то Пётра вдругъ привидится: стоитъ блѣдный, мутной ⁴ та-

¹ „Гнусь“—мышь.

² „Пущѣй“—сильнѣе.

³ „Слюнява“—сырость.

⁴ „Мутной“—встревоженный взволнованный.

кой, на глазахъ слезы, изъ рукъ хомуть валится... «Эхъ Домна, Домна, говорить, что ты съ собой сдѣлала? Зачѣмъ ты и себя и меня сгубила? Иль тебя я не любилъ? Эхъ, эхъ!»... Ну, и опять въ олѣшину! Въ олѣшинѣ и спать по лѣту зачала: все лучше... По крайности—не вижу никого..

— Нѣтъ, да не о томъ я тебя спрашиваю! Ты мнѣ скажи, какъ вотъ они-то здѣсь живутъ?

— А какъ живутъ? Страмъ одинъ, да и все тутъ. Съ виду какъ быдто и ничего, а приглядишься, такъ съ души такъ и запорщить ¹... Какъ ночь, такъ и пошла канитель: пѣсни, водка, гулюшки...

— Пьютъ, значить?

— И-и!..

— И ребятъ рожаютъ?

— И ребятъ рожаютъ.

— А куда же они ихъ дѣваютъ?

— А на мѣръ отдають, христолюбцамъ своимъ...

— Ну, а бываетъ, что и снадобья пьютъ, чтобы ребятъ-то, значить, не было?

— Пьютъ, пьютъ, ваша милость!

— А ты видѣла?

— А то какъ же! Еще третьевось Мареутка эта, изъ Клѣтны, вонъ тамъ, по назадворью, чихала, какъ ее воротить пошло съ пойла этого самаго...

— Ну, такъ вотъ что, Домна!—нѣсколько помолчавъ, проговорилъ слѣдователь.—Коли ты и въ самомъ дѣлѣ вздумала виниться чистосердечно да совѣсть свою облегчить, такъ смотри, не вилай: и впередъ то же говори, помоги намъ всю ихъ мерзость на чистую воду вывести... Слышишь?

— Слышу, слышу, батюшка баринъ! Слышу!.. Только и вы меня не оставьте: снимите вы ради Бога съ меня, окаянной, камень тяжелый!.. Измытарилась я... Хышь въ воду съ

¹ „Запорщить“—замутить, затошнить.

головой!.. Пётра, голубчикъ мой Пётра, слышишь ли?..
О-о-о!..

Домну увели.

— Ну, такъ что же, Меѳодій?—обращаясь къ канонарху, прервалъ Никтополіонъ Киндеевичъ тяжелое молчанье, наступившее вслѣдъ за этой мучительной исповѣдью уведенной Домны.—Что ты скажешь на все это? А?

— А вотъ что: тьфу! И больше ничего!—бѣшено прокричалъ припертый къ стѣнѣ бѣгунъ, затрясся весь и, заскрежетавъ зубами, съ силой рванулся въ сторону. Подвернувшійся Бѣлоусъ, какъ снопъ, свалился на землю отъ здорвеннаго тумака озвѣрѣлаго «агнца непорочнаго».

— Держи, держи!—прокатилось по лужайкѣ.

Всѣ бросились въ погоню, и черезъ минуту бѣглець былъ пойманъ.

— А-а-а, такъ ты такъ?—выдѣлывая кулакомъ передъ носомъ бѣгунскаго канонарха замысловатые пируеты, хрипѣлъ приставъ.— Ты такъ? Хорошо же!.. Вяжи его, ребята!..

Меѳодія связали.

«Тикъ-тикъ! Текъ-тѣкъ-такъ!»—пропѣла съ особеннымъ визгомъ въ послѣдній разъ все время безъ усталы работавшая машина, отмѣчая фактъ сопротивленія властямъ.

Допросъ кончился.

Составивъ наскоро опись пустынскому имуществу, опечатавъ все и сдавъ арестованныхъ и цѣлый ворохъ бѣгунскихъ книгъ на руки тремъ урядникамъ и понятымъ, приставъ, слѣдователь и экспертъ, въ сопровожденіи остальныхъ трехъ урядниковъ и Сеньки, отправились обратно.

Слѣдомъ за ними тронулись, окруженные стражей, и бѣгуны съ бѣгунками.

Солнце совсѣмъ уже склонялось къ западу. Надъ болотистой мшариной, какъ и вчера, со звономъ носились мириады мошекъ и комаровъ. Птички замолкли, и только со дна глубокихъ засосей кто-то опять запыхтѣлъ—недужно, протяжно...

— А что, Макаша, не отдохнуть ли намъ? А? Какъ ты думаешь? А?

— А что жъ? И отдохнуть можно... Верстъ, почитай, тридцать отшлепали по экой по чиширѣ: на сегодняшній день, пожалуй, и буде...

Въ небольшомъ овражкѣ, по дну котораго тихо журчалъ ручеекъ, вспыхнула теплина. Голубоватый дымъ тонкой струйкой за клубился кверху, но, не донесши своихъ колець и до половины громадныхъ сосенъ и елей, стѣнной ограждавшихъ доступъ къ овражку, незамѣтно таялъ и расплывался въ вечернемъ воздухѣ. Гдѣ-то высоко-высоко надъ лѣсомъ, возвращаясь въ гнѣздо съ дневного разбоя, рѣзко прокричалъ свое «хиа-хиакъ» старый тетеревиатникъ...

— А что, Макаша, ловко вѣдь мы дремача запалили? а?—опустившись на мягкій, пушистый, темнозеленый мохъ и съ наслажденіемъ протягивая уставшія ноги, проговорилъ бѣгунскій наставникъ Оедоръ.—Вотъ, поди, бѣсятся шепотники проклятые! А?.. Ищутъ, шнорятъ—гдѣ Оедоръ? гдѣ Макаръ? А Оедоръ съ Макаромъ—тю-тю!.. Ловко? А?

— Что и говорить: чистота и любота—одно слово.

— А ты знашь, я совсѣмъ было свою шапку съ деньгами-то посолилъ?

— Ну?!

— Ей-Богу, пра! Какъ забалабонили это они, я и вскочилъ... Въ башкѣ опосля вчерашняго-то муть такая, руки дрожать, ноги дрожать... Мечусь, какъ угорѣлый, ищу—гдѣ шапка? Нѣтъ шапки—да и все тутъ! А она, штобъ ей ладно было, заскалась ¹ подъ столъ да и лежитъ тамъ... Спасибо, Микишка въ спудъ вскочилъ. «Что дѣлать?»—кричитъ. А я самъ не свой. Гдѣ шапка?—говорю. Шапку мнѣ давай!.. А онъ нагнулся подъ столъ, поднялъ, повертѣлъ да и говоритъ: «не энта ли?» Ну, я сичасъ къ нему, выхватилъ, велѣлъ ему въ подпечкѣ двѣ приступки сбить, крикнулъ всѣмъ, штобъ удирали, да и былъ таковъ!..

¹ „Заскалась“—свалилась, засунулась.

— Ты-то что: молодчина! А вотъ какъ-то, слышь, Несторка да Мееодька тамъ?

— А что имъ дѣлается? Несторка да Мееодька улизнуть. не таковскіе, чтобы въ лапы даваться. Особливо Несторка: мужикъ—что лисица твоя хитрѣющая... Нѣтъ, вотъ Глашка-то какъ?

— А что?

— Да заперъ я ее!

— Какъ заперъ?

— А такъ и заперъ! На ключъ заперъ...

— Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, и удружилъ же, курицынъ сынъ! Ловко! Ай да Оедька!.. Хссс!..

— А что, Макаша, средь разговоровъ-то не повечерять ли намъ? А?

— Да, да. Давай повечеряемъ—да и на покой! А то завтра, братъ, опять вѣдь въ дорогу...

— Вотъ эфто скверно, Макаша! Отвыкъ я какъ-то отъ ходьбы-то. Старость, видно, одолѣвать, братъ, зачала: спина вотъ можжить, ноги пухнуть, вдоль грудины пѣготà пошла...

— А ты брось, не сдавайся! Вспомни старинку-то!.. Вотъ я, братъ, такъ съ самой Нерчинки по такимъ по логамъ да урманамъ на своихъ на двоихъ приперъ, да съ тобой каку упряжку валандаюсь, а ничего! Вотъ какъ теперича, положишь это сушинку, чтобъ, значить, дыму меньше было, перехватишь малость, отдохнешь—и дальше! И чудесно, братъ! Люблю я это до страсти... Идешь себѣ вольготно, а кругомъ—травка-муравка, деревьца, Богомъ насаженныя, ягода всякая, грибы, дикій лукъ, колбà, птички... Выйдешь на трактъ, зайдешь въ деревеньку, поканючишь малость, закинешь за спину тарбатеюку¹ съ хлѣбомъ—и снова въ путь-дороженьку, во зеленый хвойный лѣсъ! Пастухъ этто на волянкѣ играетъ, красны дѣвки ягоду берутъ, а ты идешь-идешь и конца-краю не видишь, точно въ морѣ какомъ... Хорошо, братъ!..

¹ „Тарбатеюка“—бродяжескій мѣшокъ съ ляжками черезъ плечо.

— Ну, а зимой-то?

— А што зимой? Ну, снѣгъ тамъ, мятелица, морозъ... А все же самъ себѣ панъ: идешь и въ усь не дуешь... Тамъ къ Тетерихѣ обогрѣться зайдешь, здѣсь къ Маланьѣ съ Прасковьей въ гости... И отлично, брать!..

— Ну, да ладно: тебя не переслушишь... Ложись-ко лучше да губами-то не больно ляскай, а то какъ разъ гилевинъ ¹ набредеть...

— А это что?

Изъ-за голенища сверкнулъ длинный, острый засапожникъ.

Бѣгуны улеглись, но чуткій слухъ, выработанный бродяжничествомъ, не измѣнялъ имъ и во время сна: при малѣйшемъ лѣсномъ шорохѣ головы «рабовъ Божиихъ» сейчасъ же поднимались отъ земли и зорко осматривали ближайшіе кусты, а руки привычнымъ жестомъ безшумно вытаскивали страшное оружіе...

* * *

Опустѣла Изосиминыя пустынька...

Правда, мѣсяца черезъ три послѣ рассказаннаго пріѣзжало въ нее опять начальство, но, тщательно измѣривъ по всѣмъ направленіямъ площадь острова, на которой раскинулась пустынька, и снявъ подробнѣйшіе планы со всѣхъ выше-описанныхъ бѣгунскихъ тайниковъ, опять уѣхало. И съ тѣхъ поръ стоитъ эта пустынька забытая, заброшенная. Сиротливо покосились, поосѣли на бокъ и обрѣшотились, не поддерживаемыя заботливой рукой «жиловыхъ радѣтелей-христолюбцевъ», пустыньскія хижины, амбаруши, клады да повалуши; полуразвалились, полузасыпались землей хитроумные подпольные «затворы», «келейки» и «спуды»; лопухомъ да крапивой поросли выходы изъ нихъ на волю... Тлѣнь, дичина и мерзость запустѣнія. Точно на покинутомъ и за-

¹ „Гилевинъ“—сыщикъ, недобрый человѣкъ, дикій звѣрь, вообще все, что грозитъ бродягѣ опасностью.

пушенномъ кладбищѣ, на которое никто не приходитъ ни плакать, ни молиться... Замерла Изосими́на пустынька. Затихла... Только неугомонный вѣтеръ, забравшись чрезъ выбитыя двери и окна въ люкъ и подземные ходы, затянетъ порой тоскливую пѣснь про недавнія пустынскія бѣлы, да семья тонкоухихъ ушановъ-нетопырей, поселившаяся въ пустынской моленной, злорадно залопочетъ вдругъ среди ночной сутемени: «А-га, ушли таки, ушли!».. Да-да, ушли! Ушли «рабы Божіи»: наѣздъ никоніанскаго духоборнаго суда вспугнулъ ихъ съ сытаго насиженнаго мѣста и однихъ разогналъ по другимъ укромнымъ тайничкамъ да тепленькимъ хоронушкамъ, а другихъ упряталъ далеко-далеко,— туда, гдѣ, какъ они сами поютъ,—

„Вѣчный буду я изгнанникъ
И въ чужо й землѣ пришлецъ,
Одинокъ безъ крова странникъ,
Для друзей живой мертвецъ“...



На лѣсной

полянѣ.

РАВСКАЗЪ ИЗЪ БЫТА СЕКТАНТОВЪ ВЪГУНОВЪ.

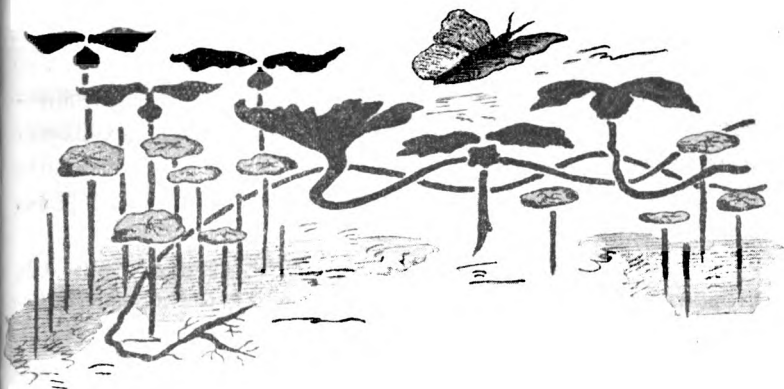
* * *

*„И буду лежати,
Гласа ожидать.
Какъ въ трубу вострубятъ,
Всѣхъ мертвыхъ возбудятъ,
И азъ пробужуся,
Съ землей разлучуся,
Пойду на судъ Божій...“*

Бѣгунскій стихъ.

*„По старому не ладится,
Да и по новому не выходитъ“.*

Пословица.



еплый день смѣнился теплой влажной ночью. Одно за другимъ погасли на западѣ горѣвшія багрянцемъ облачка, и темныя лиловыя тѣни поползли на землю и, сгущаясь и темнѣя, легли

на заснувшій тяжкимъ сномъ дремучій боръ. Съ рѣчки, бурлившей въ своихъ порогахъ, потянуль туманъ.

Пустынно, дико кругомъ...

То пропадая, то вновь мелькая между стволами столѣтнихъ елей и сосенъ, медленно пробиралась странная процессія.

Впереди, съ зажженной свѣчой въ рукахъ, шель, раздвигая кусты мелкаго молодятника и указывая дорогу, ветхій, сѣдой старичокъ; за нимъ четверо такихъ-же почти старцевъ, кряхтя и передыхая отъ усталости, несли что-то завернутое

въ рогожу; далѣе, замыкая шествіе, плелись три старушки— всѣ въ черныхъ большихъ платкахъ, въ черныхъ сарафанахъ и тоже съ зажженными свѣчами въ рукахъ. Трепетавшее отъ движенія пламя свѣчей по временамъ озаряло суровыя морщинистыя лица...

Скоро показалась небольшая полянка, запертая со всѣхъ сторонъ мохнатыми колючими великанами.

Дошедши до середины ея, старикъ остановился; остановились и остальные участники процессіи. Носильщики осторожно спустили съ рукъ на землю свою ношу и развернули рогожу: оттуда, сквозь сѣрую мглу ночи, глянуло на нихъ мертвенно-синее лицо покойника...

— Благословенъ Богъ нашъ нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, — дребезжащимъ голосомъ прошамкалъ возгласъ сѣдой старичокъ, извѣстный наставникъ бѣгунскій—рабъ Божій Изосима.

— Аминь. Со души праведны скончавшіяся душа рабъ Твоихъ Спасе покой, сохраняше я во блаженную жизнь яже къ Тебѣ, Человѣколюбче!—хоромъ отвѣтили ему обступившіе кругомъ покойника старицы и старцы.

Ихъ гнусливые скрипучіе голоса, съ какими-то особыми вздохами и придыханьями, протяжно, по «крюкамъ», выводившіе свои «едино-истинные», хотя и искаженные до неузнаваемости священные тропари, гулко разносились по лѣсной глубинѣ.

Что-то тяжелое, невыразимо тоскливое и гнетущее и въ то же время—недоумѣнное, капля за каплей, вливалось въ душу вмѣстѣ съ этимъ пѣніемъ, необычнымъ и по складу, и по времени, и по обстановкѣ. Казалось, что находишься не въ Пормскомъ лѣсу и не въ наши дни, а въ какомъ-то сказочномъ склепѣ и при совершеніи какой-то таинственной мистеріи лѣтъ 300—400 тому назадъ. Сумрачный лѣсъ, темной стѣной спиравшій отовсюду, небольшую поляну, гдѣ-то высоко-высоко небольшой клочъ сѣраго неба, двигающіяся изъ стороны въ сторону красноватыя точки восковыхъ свѣчей

дымъ кадилницы, заунывное похоронное пѣніе, безкровныя, изможденныя, съ землистыми пятнами подъ глазами и на вискахъ лица—все это какъ-то невольно настраивало на суевѣрный, мистическій ладъ.

...«Земля еси и въ землю убо пойдеши, идѣже вси земніи будемъ, надъ гробомъ рыданіе творяще и поюще пѣснь ангельскую—аллилуіа»...

— Аллилуіа!—откликнулось въ лѣсной чащѣ.

— Аллилуіа!—отозвалось въ туманѣ за рѣкой...

Жутко...

Но вотъ смолкъ хоръ. Послѣдніе звуки прокатились— и замерли.

Сѣдой старикъ, все время кадившій кругомъ покойника, выпрямился во весь свой ростъ и, окинувъ остальныхъ старцевъ и старицъ своими маленькими подслѣповатыми глазками, откашлялся и началъ:

— Тако, братіе! Еще единъ вѣрный рабъ Христовъ отыде ко Господу... Яко незрѣлую пшеницу посѣкла его неумолимая смерть—и се зрите: предъ вами бездыханенъ въ землю отходитъ, не имѣя вида ниже доброты... Да, успе братъ нашъ Іона, успе доблій свѣтильникъ и крѣпкій поборникъ, мученикъ и страдалецъ за правую вѣру нашу... Миръ ти, душе свѣтозарная, въ борьбѣ со антихристомъ себе воспользовавшая! Велики и чудны дѣянія твоя. Мнозѣхъ бо обратилъ еси ко свѣту истинному, стопы своими обходя окрестныя вавилоны еретическіе. Возгоряся ревностію о Бозѣ, многаци бо во обысканіяхъ и бесѣдахъ въ разсужденіи священнаго писанія посрамлялъ еси злочинныхъ пустопоповъ никоніанскихъ, всю мракостудную прелесть ихъ показуя. Гоньбы, узы, темницы, заушенія—вся сія претерпѣлъ еси и обаче вѣренъ ся показалъ, приснопамятуя, яко не въ покореніи псомъ невѣрнымъ святіи вѣрныхъ утверждаютъ, а на брань побуждаютъ. Сего ради и въ узѣхъ и въ темницѣхъ не токмо самъ, но и другихъ—прочихъ къ ревности воздвизалъ еси до конца противитися антихристу,

сему змію звѣроличному и седмоглавому, испровергшему церковная преданія и уставы... Помолимся убо о немъ, да вся, елика въ житіи своемъ яко чловѣкъ прегрѣши, проститъ ему по своей неизрѣченной милости чловѣколюбець Богъ и вѣчныя муки избавитъ, и причастника царствія Своего сопричтетъ...

Всѣ опустились на колѣна и, поднявъ къ полуночному небу глаза, общимъ хоромъ пропѣли:

Прими его, Боже,
Вѣрнаго сына!
Во твоємъ Эдемѣ,
Во пресвѣтломъ мѣстѣ,
На Тя пусть взираетъ,
Радость получаетъ.

Господи помилуй!
Господи помилуй!..

— Свершишася вся!—подымаясь съ колѣнъ, началъ опять Изосима.—Дадимъ убо, братіе, послѣднее цѣлованіе умершему и, опрятавъ по чину, опустимъ его въ освященную мною землю...

Нѣсколько въ сторонѣ была приготовлена небольшая, всего въ аршинъ глубиною, могила.

Доставъ изъ кармана бутылку съ освященною водою, Изосима сталъ крестообразно кропить ею внутренность могилы, приговаривая:

— Яко о Тебѣ очищеніе есть.

Всѣ хоромъ отвѣтили:

— Христе Спасе, помилуй насъ!..

Окропивъ могилу, Изосима потомъ сталъ кадить ее, приговаривая:

— Часть моя еси на земли живыхъ.

Всѣ скороговоркой пропѣли:

— Возвахъ къ Тебѣ, спаси мя!..

Послѣ этого, осторожно поднявъ за края рогожу, всѣ тихо опустили въ освященную могилу раба Божія Іону. Причемъ, повернувъ его лицомъ къ востоку, сверху при-

крыли той же рогожей, а на рогожу положили посохъ и узкій, длинный лоскутокъ бумаги, на которомъ церковно-славянскими буквами было написано:

«Нѣсть отъ міра, но возненавидѣ миръ. Господь просвѣщеніе мое и спаситель мой—кого ся убою? Господь защититель живота моего—кого ся утрашу? Спасеніе и слава, и честь, и сила Господу нашему. Аллилуіа».

— Вѣчная память! Вѣчная память!—пронеслось по бору— и все было кончено: на мѣстѣ погребенія остался одинъ лишь свѣжій песчаный бугорокъ, прикрытый сверху двумя, положенными крестъ на крестъ, полусгнившими сухаринами. Совершители же погребенія, во главѣ съ наставникомъ Изосимой, тою же дорогой отправились обратно, мелькая попрежнему между стволами столѣтнихъ сосенъ и елей и напѣвая своими скрипучими голосами священный стихъ о смерти:

„О, неумолимая смерть,
Люта еси и немилостива.
Никто не можетъ избѣжати тя,
Ниже умолити тебе.
Ни царя ни князя милуеши,
Ни богата ни убога минуеши,
Ни младости щадиши,
Ни старости храниши.
И сѣдины не обходиши,
Но всѣхъ равно цосѣкаеши.
Живота сего лишаеши
И отъ сродникъ разлучаеши.
Пожинаеши родъ человѣческой
Яко незрѣлую пшеницу.
Цари и князи тебе боятся,
Сильніи и храбрии тебе страшатся,
Во младости сущи тебе не чають,
А во старости тебе ожидаютъ...
О, человѣче, помысли смертный часъ,
Егда пойдеша ко страшному Судіи
И ко грозному Владыцѣ,
Да примеша отъ Него
Праведный отаѣтъ
По дѣломъ твоимъ неправеднымъ“...

На востокъ тѣмъ временемъ все шире и ярче алѣла полоской румяная зорька. Вотъ багрянымъ полымемъ вспыхнули верхушки сѣдостволыхъ Пормскихъ великановъ; мигъ— и изъ-за лѣса во всей своей царственной красѣ величественно показалось красное солнышко. Обмахиваясь легкими, ажурно-кружевными облачками, оно медленно, въ блескѣ и славѣ, поплыло по небесной бездонной синевѣ, всюду посылая свой животворный свѣтъ и теплоту. Золотые лучи его огненнымъ каскадомъ брызнули и на лѣсную поляну и прогнали иллюзію: не сонъ, не мистическій фантомъ, не суевѣрный призракъ таинственной средневѣковой мистеріи, а горькая безотрадная сектантская темнота встала во всей своей неприглядной дѣйствительности. И, словно неприятно пробужденный этой неприглядной прозой жизни, лѣсъ дрогнулъ и глухо, ворчливо загудѣлъ своей косматой иглистой шапкой, какъ-бы сердясь и недовольно брюжжа за тотъ подарокъ, что безъ его спроса оставили въ его заповѣдной дремучей трещѣ эти странные полуночные гости, эти обвѣянные напрасной злобной отчужденностью къ своимъ православнымъ братьямъ люди-бѣгуны...



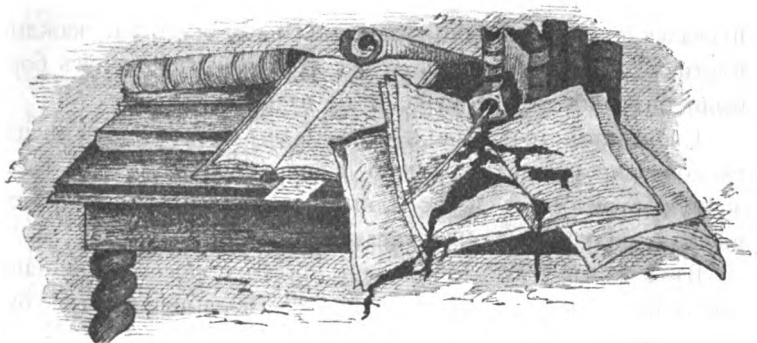
У странниковъ.

РАЗСКАЗЪ ИЗЪ БЫТА СЕКТАНТОВЪ БѢГУНОВЪ.

* * *

*„По старой вѣрѣ,
Да по новой модѣ“.*

Поговорка.



лухо шумить дремучій боръ.

Холодный осенній вѣтеръ,
забравшись подъ его иглистый
навѣсъ, безъ устали поетъ
свою однообразную, унылую
пѣснь.

Темно, жутко, зябко въ
бору...

Осторожно обходя полу-
сгнившія колоды и увѣренной

рукой раздвигая мелкую поросль лозняка, что по мѣстамъ
гуща-гущей разросся у подножія громаднѣхъ елей и сосенъ,
прямо цѣлиной медленно пробирался въ глубь бора древній
старичокъ Сгорбившійся, изможденный, съ прядями полу-
сѣдыхъ волосъ, беспорядочно выбившихся изъ-подъ мона-
шеской скуфейки, въ латаномъ длинномъ балахонѣ съ по-
рыжѣлыми кожаными нарукавниками, кряхтя и грузно опи-
раясь на сучковатую палку, онъ то и дѣло останавливался,
передыхалъ и, зорко осмотрѣвшись по сторонамъ, вновь

пускался въ путь. Видно было, что каждая сосна, каждый кустикъ, каждый пенъ въ этомъ угрюмомъ дремучемъ бору были знакомы ему не хуже пяти пальцевъ.

Сворачивая то вправо, то влѣво, онъ выбрался, наконецъ, на довольно большую лѣсную поляну, почти сплошь заваленную буреломомъ и громадными камнями, между которыми звонко журчалъ, извиваясь змѣйкой, ручеекъ.

Въ одномъ углу этой поляны, густо поросшемъ кустами смородины, олешникомъ и лознякомъ, возвышалась изъ бурелома настоящая гора.

Безпомощно вздымая къ небу свои обнаженные узловатая лапы, лѣсные великаны, казалось, въ какой-то дикой враждѣ когда-то сплелись между собою и, взаимно обезсиленные борьбой, пали другъ на-друга и замерли. По ихъ полусгнившимъ, безжизненнымъ стволамъ давнымъ-давно побѣждалъ тамъ и сямъ сѣдой мохъ, своими цѣпкими корнями еще болѣе сплочивавшій ихъ мертвыя объятія.

Казалось-бы, трудно было найти болѣе дикое, пустынное и безлюдное мѣсто. Однако, на этой-то именно полянѣ и жилъ старикъ.

Осмотрѣвшись по сторонамъ, онъ быстро раздвинулъ въ одномъ мѣстѣ кусты лозняка и, еще больше согнувшись, какъ-то бокомъ юркнулъ подъ груды бурелома, прикрывавшаго собою небольшую дверь въ подземелье.

— Господи Ісусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!— шамкая губами, проговорилъ старикъ, троекратно постучавъ предварительно о дверную скобу.

— Аминь,—отвѣтилъ ему голосъ извнутри.

Беззвучно распахнулась и вновь затворилась деревянная веря.

При тускломъ свѣтѣ толстой восковой свѣчи, домашняго изготовленія, старикъ спустился по довольно крутой лѣстницѣ внизъ и, пройдя два-три узенькихъ перехода съ дверями направо и налево, вошелъ въ низкую, но просторную комнату, освѣщенную самодѣльными-же восковыми свѣчами,

вставленными въ старинныя мѣдныя поставцы. Вдоль оштукатуренныхъ и чисто выбѣленныхъ стѣнъ тянулись широкія скамьи, на которыхъ сидѣло съ десятокъ мужчинъ и женщинъ въ темныхъ сарафанахъ съ мѣдными пуговками. На божницѣ и на небольшихъ полочкахъ по ту и другую сторону ея рядами стояли потемнѣвшіе отъ времени образа, средину которыхъ занималъ старинный мѣдный образъ сидящаго на престолѣ Господа Вседержителя. Тутъ-же, на божницѣ, лежали старинныя, въ толстыхъ кожаныхъ переплетахъ, книги съ цвѣтными закладками. Направо, въ углу, возвышалась небольшая кирпичная лежанка, покрытая толстымъ войлокомъ. Въ комнатѣ было чадно, душно...

Вошедши въ комнату и вновь произнесши слова: «Господи Ісусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!» старикъ «пошелъ по собору», т. е., сложивъ руки вмѣстѣ на животѣ, онъ глубокимъ троекратнымъ, во всю спину, не сгибая ея, поклономъ поочередно началъ привѣтствовать каждаго изъ находящихся въ комнатѣ. Тѣ, въ свою очередь, отвѣчали ему тѣмъ-же.

Когда взаимное чествованіе было кончено, новоприбывшій, оказавшійся наставникомъ Изосимой, подошелъ къ столу, вынулъ изъ-за пазухи мѣдный образочекъ, поставилъ его на небольшую полочку рядомъ съ божницей, открылъ одну старинную книгу и гнусливымъ рѣзкимъ голосомъ, среди наступившаго глубокаго молчанія, прочиталъ:

«Гонимые за вѣру и отъ градовъ бѣгушіе и расхищеніе имѣнія пріемлютъ, да безъ отверженія въ себя имя Господне соблюдутъ, подавайте убо таковымъ, яже на потребу».

Захлопнувъ потомъ книгу, онъ обратился къ присутствующимъ:

— Тако, братіе! Вы слышите, яко-же рече: *«Подавайте убо таковымъ, яже на потребу»*. И се азъ, смиренный рабъ Христовъ, возвѣщаю вамъ милость Божію, что хотя и воцарися антихристъ на земли, но еще жива вѣра святая: въ горѣхъ и вертепѣхъ, въ пропастьхъ земныхъ и лѣсѣхъ, въ го-

неніи и скорбѣхъ крыется она. И премилостивый Спасъ па-сетъ сихъ изгнанныхъ и крыющихся дѣтей своихъ, незримо покрывая ихъ рукою Своею. Славлю убо Его и поклоняюся Ему, ибо дивны щедроты Его на дѣтѣхъ Его. Да прославить и возблагодарить Его и кійждо изъ васъ, ибо да увѣсте яже сотворихъ азъ по волѣ Его, открытой мнѣ во бдѣніи ноч-немъ: истощившимся запасомъ нашимъ, ходихъ азъ во градъ Каргополь и окружныя веси, идѣ-же суть христороубцы наша, умоляя ихъ не оставить насъ, убогихъ сиротъ, ми-лостынею своею на препитаніе наше и на одежду и нужную обувь. И вложи имъ Богъ въ сердце устнама моима мысль благоую послати намъ все довольнѣ: завтра убо вся сія бу-дутъ. Помолимся-же Ему и Пречистѣй Его Матери, да не оставятъ насъ и впредь заступленіемъ своимъ и щедротами своими»...

И, истово кладя на себя двуперстное знаменіе креста, онъ принялся спѣшно, короткимъ шейнымъ поклономъ, съ какими-то урывками и покачиваніями, молиться предъ своей иконкой. Его примѣру дружно послѣдовали и всѣ присут-ствующие.

Послѣ молитвы, продолжавшейся добрыхъ полчаса, всѣ вновь разсѣлись на свои мѣста и принялись каждый за свое дѣло: изъ мужчинъ—кто крестики изъ вересоваго (мож-жевеловаго) дерева рѣзалъ, кто лапотки плелъ, кто бураки изъ берѣсты гнулъ на продажу, при содѣйствіи странно-пріимцевъ-благодѣтелей; женщины-же занимались—которая вязаньемъ, которая шитьемъ. А чтобы слухъ да мысль чѣмъ занять и тѣмъ еще скорѣе время до ѣды скоротать, вер-нувшійся наставникъ благословилъ спѣть какой-нибудь свя-щенный стихъ.

И вотъ, среди наступившаго безмолвія, торжественно и плавно раздалась и понеслась по всѣмъ закоулкамъ этого страннаго подземнаго жилища полная непостижимыхъ по характеру звуковыхъ сочетаній, тоскливая, жалобная, хва-тающая за душу мелодія:

Мы отъ самыхъ юныхъ лѣтъ
Вянемъ, аки нѣжный цвѣтъ.
Господи помилуй,
Господи помилуй!
Мы отъ міра удалились,
Жизни скорбной посветились.
Господи помилуй,
Господи помилуй!

Какъ будто по поднебесью витали высокіе женскіе голоса. Вслѣдъ за ними, переплетаясь, заливались тенора и мощно гудѣли басы, красиво отчеканивая на низахъ послѣднія слова: «Господи помилуй, Господи помилуй!».

Склонясь надъ шитьемъ и низко сдвинувъ на лобъ черный платокъ, пѣла, стараясь попастьъ въ общій ладъ, и новокрещенная раба Христова Агафія. И она, съ обычными глубокими вздохами, выводила вслѣдъ за другими:

Сиры мы всѣ и убоги,
Но твои щедроты многи.
Господи помилуй,
Господи помилуй!

Поетъ Агафія, склонившись надъ шитьемъ, а мысль неотвязная, помимо ея воли, такъ и копошится въ головѣ:

— «И ладно-ли я, дѣвонька, сдѣлала, что съ своей теткой, помимо воли отца-матери, пошла сюда, въ новое крещенье впала, своего имени отреклась, свой крестъ въ рѣку бросила, двумя перстами молиться зачала, пачпортъ разорвала, ни съ кѣмъ изъ мірскихъ въ дружбу не входитъ обѣщала? Вѣдь вотъ говорили мнѣ...

Господи помилуй,
Господи помилуй!

—...говорили мнѣ, что всѣ они душу спасать ушли сюда, въ это подземелье, то и дѣлаютъ, что Богу молятся, посятятся да о божественномъ читаютъ и говорятъ, анъ на дѣлѣ-то выходить, что совсѣмъ у нихъ не спасенье на

умѣ, хоть и впрямь глядятъ они всѣ святыми да смиренными: всѣ въ черномъ, на людяхъ ни тебѣ усмѣхнутся, ни тебѣ пошутятъ, а все вздыхаютъ, молитвы шепчутъ, стихи поютъ да ремешки и узелки на лѣстовицахъ перебираютъ. Только все это у нихъ для виду больше. За два дня эти, что я живу у нихъ, насмотрѣлась я довольно на ихъ постъ да смиренье. Лишь только...

Боже, жизнь нашу устрой,
Отъ пути злаго укрой!
Господи помилуй,
Господи помилуй!

—...лишь только другъ отъ дружки съ глазъ долой, сейчасъ у нихъ и смѣшки, и шутки, и пиръ горой: чай, вино, кофій, рыба всякая... Спятъ безпробудно, ругаются, корятся и — тьфу! ажъ страмъ и подумать! Ономясь вотъ я...

Господи помилуй,
Господи помилуй!

—...ненарокомъ заглянула это въ сосѣднюю келейку да такъ и обмерла: наша мошинская Парашка-то въ охапкѣ вонъ у того бѣлобрысаго лежитъ и ничего себѣ: смѣется безстыжая, да меня-же смущаетъ. У насъ, говорить, и все такъ: женитьбы мы не признаемъ и не вѣнчаемся, а положили такъ, что выбирай себѣ по сердцу да и дѣлу конецъ. Оно выходитъ, говорить, какъ будто-бы и блудъ, а все-же въ этомъ блудѣ меньше грѣха, чѣмъ у щепотниковъ въ бракѣ, потому что все творится у насъ тайно, а тайно содѣянное, вишь, тайно и судится... А что же изъ того, что тайно содѣянное? Развѣ отъ этого грѣхъ-то меньше сталъ? Развѣ Спаситель-то такъ говорилъ?... Нѣтъ, неладно оно что-то! Хоть я и въ искусѣ еще, а все-же вижу, что тутъ не того... Вотъ и ты, говорить...

Подай намъ благій конецъ
Получить златый вѣнецъ.
Господи помилуй,
Господи помилуй!

— ...попривыкнешь, такъ сама увидишь... А что видѣть-то? Ужли я на такой срамъ пойду? Да ни въ жисть! Ишь нашли что: дѣвушку позорить!.. Вотъ работать на этого старика, что пришелъ сейчасъ, шить да стирать на него да похлебку ему варить—на это я согласна, а чтобъ того—ни-ни! ни Боже мой!.. Я душу свою пошла спасать къ нимъ сюда, а они вонъ што, грѣховодники, чѣмъ здѣсь занимаются!.. Ишь буркалы-то на меня свои уставилъ! Даромъ что старикашка сѣденькій да наставникъ, а глазищами-то своими такъ и жгетъ, такъ и нижетъ наскрозь!.. Ну, да и я не дура, не таковская, въ обиду себя не дамъ»...

Кончилось пѣнье.

Послѣдніе звуки стиха слабымъ эхомъ отдались гдѣ-то тамъ, въ переходахъ, и замерли.

Наставникъ, все время сидѣвшій около стола, вдругъ всталъ съ мѣста и объявилъ всѣмъ, что пришло время трапезы и ночного покоя.

Съ шумомъ поднялись вслѣдъ за нимъ и всѣ присутствующіе. Сложивъ свои работы и пройдя по собору, они одинъ за другимъ стали выходить изъ горницы, направляясь по узкимъ переходамъ въ свои затворныя келейки.

Встала вмѣстѣ съ другими и Агафья. Сложивъ свое шитье, она тоже вышла изъ горницы и, завернувъ направо, въ темный узенькій корридоръ, неторопливо пошла въ наставническую келью, гдѣ указано было ей житье.

Въ маленькой конуркѣ было тѣсно, жарко и сильно пахло топленнымъ коровьимъ масломъ, которое, вмѣсто «басурманскаго» деревяннаго масла, тускло теплилось въ лампадѣ у небольшого мѣднаго образа на божницѣ. У одной стѣны выдолбленъ былъ пражикъ, куда вкладывалась широкая доска вмѣсто стола. На полкѣ, надъ пражикомъ, лежало нѣсколько такихъ-же, какъ и въ горницѣ, старинныхъ книгъ въ потемнѣвшихъ кожаныхъ переплетахъ съ застежками. На двухъ другихъ полкахъ разставлены были въ порядкѣ горшки, чашки, ложки, ножъ, солоница, коврига

хлѣба. Въ углу стояла довольно большая корзина съ одеждой и бѣльемъ.

Вошедши въ эту комнату, Агафья вложила въ пражикъ доску, накрыла ее скатеркой, положила хлѣбъ, соль, ножъ, двѣ ложки, вынула изъ устья небольшой лежанки горшокъ съ рыбными щами, налила ими два блюда и, поставивъ ихъ на столъ, положила на заблюдники двѣ маленькія иконки.

Когда она кончала эти хлопоты, въ конурку тихо вошелъ и наставникъ рабовъ Христовыхъ Изосима.

Сотворивъ обычное: «Господи Ісусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!»—онъ снялъ съ плечъ балахонъ, повѣсилъ на гвоздикъ лѣстовку и, подошедши къ столу, началъ неторопливо читать въ носъ, по старовѣрски, молитву предъ вкушеніемъ пищи, сопровождая ее частыми малыми поклонами.

Въ первый разъ Агафья за эти два дня пребыванія въ скитѣ осталась наединѣ со скрытникомъ, къ которому ее опредѣлили. Оторопь взяла ее. Стоя позади Изосимы и поблѣднѣвшими губами произнося за нимъ слова молитвы, она въ то-же время думала: «Матерь Божія, сохрани меня и помилуй: не дай мнѣ въ упаденье впасть!».

— Ну, раба Божія, садись, ѣшь да рассказывай, какъ ты тутъ безъ меня жила?—спросилъ ее, кончивъ молитву и присѣвъ къ столу, наставникъ Изосима.

— А такъ, батюшка, что все молитовки творила да тутъ кое-что по хозяйству дѣлала: полы мыла, да рубаху тебѣ изъ портна шила...

— Такъ, такъ. Ну, а нравится-ли тебѣ житье-то наше? Уставы-то наши любы-ли тебѣ? У насъ, вѣдь, не то, что у никоніанцевъ проклятыхъ: у насъ все истово, по старинѣ,—такъ, какъ святые отцы указали... У насъ вотъ и молитовки усердныя да частыя, и постъ строго соблюдается, и табачища поганого не курятъ, и винища треклятаго не пьютъ, и общее все: живи да Бога хвали въ затворной ке-

лейкѣ своей да въ уединеніи своемъ, зане слышасте, яко-же рече Господь Богъ вашъ: «изыдите отъ сего темнаго вавилона, людіе мои, изыдите отъ прелестныя любодѣйцы и не причаститесь грѣхомъ ея» и индѣ: «Бѣжи, о человекѣ, изъ града во пустыню, во любезну всѣмъ святымъ частыню, ибо зри, яко воцарися на землѣ антихристъ и различными коварствы, любовію, дарованіемъ, обѣщаніемъ, прошеніемъ, грозюю, казнію, войною и посольствомъ прельщаетъ всѣхъ христіанъ и всѣхъ народовъ»...

— Такъ-то, раба Божія!—продолжалъ Изосима, принимаясь за жареную рыбу послѣ щей...—Вотъ пообживешься, поприглядишься да попривыкнешь, сама потомъ меня, старика-наставника, вспомнишь... Много ужъ я лѣтъ живу на бѣломъ свѣту, много вѣръ разныхъ видѣлъ, а нѣтъ святѣе нашей вѣры, потому въ гоненіи и скорбѣхъ, сказано, стяжите души ваша. Вотъ ты и возблагодари Бога, что на правый путь вступила, никоніанской ереси отеклась, да смотри—молитовки, молитовки почаще твори: молитовка—великое дѣло, отъ огня и пламени геенскаго, отъ Титина, гдѣ самъ сатана сидитъ, освобождаетъ и въ рай пресвѣтлый направляетъ. А вмѣстѣ съ молитовкой берегись, себя блюди, съ никоніанами не сообщайся, старшихъ слушайся, почтенье къ нимъ имѣй, уставы ихъ соблюдай, да что вѣлять дѣлать—дѣлай, не разсуждай... Такъ-то, раба Божія, невѣста Христова Агафія!... Ну, а теперь все это убери, постельку и себѣ да и мнѣ постели, правило сотвори, да и на покой пора...

Оробѣлая, взволнованная, убрала Агафья все со стола, постлала себѣ на лавкѣ зипунъ, а Изосимѣ на полу войлокъ теплый, усердно Богу помолилась и, не раздѣваясь, легла.

Кряхтя и охая, легъ и Изосима, предварительно погасивъ сильно чадившую лампадку.

Темно въ каморкѣ...

Тревожно и жутко на душѣ у Агафьи. Сердце ходенемъ такъ и ходитъ, а на вискахъ холодный потъ проступаетъ.

Лежить она съ открытыми глазами и чутко-чутко прислушивается къ тому, что кругомъ ея творится. Вотъ гдѣ-то скрипнула дверь, шаги какіе-то въ корридорчикѣ раздаются, гдѣ-то что-то укнуло и жалобно-жалобно запищало...

— Ахъ! что ты?

— Ничего, ничего, голубица моя! Я такъ. Ты меня не смущайся, потому у насъ испоконъ вѣку повелось...

— Ахъ, нѣтъ, оставь меня ради Бога! Что тебѣ отъ меня надо!

— А ты нишкни да толкомъ слушай, что тебѣ говорятъ... Ишь ты глотку то разинула! Развѣ такъ можно? У насъ все тихо, тайно, скрытно, чинно, благородно, великатно... Поняла?.. Вотъ и ты такъ поступай: не зри и не слышь, а, закрывши вѣжды своя и ушеса подклонше, пребывай якобы ничего невѣдящи и якобы въ сонномъ видѣніи и наитіи нѣкоемъ вся сія быша съ тобою... Поняла?..

— Ну, нѣтъ. Ты эту, старикъ, канитель оставь, потому я на это ни въ жисть несогласна...

— А, такъ ты вотъ какъ! Старшихъ не слушаться? Наставника не почитать?.. Брось, тебѣ говорятъ! Рази хорошо сполохъ поднимать?.. Всѣ спятъ, плоть свою соуслаждающе и мягце успокоевая, потому—тѣло играетъ, душа непорочна.. Не хорошо... аще разбудишь... меня, старика, подведешь... А это—неладно. Речено бо есть: почти лицо старчо и услади сѣдины его, открий предъ нимъ душу свою и сокровенная обнажи... Поняла?..

— Караулъ! Помогите!—раздалось вдругъ въ ночной тиши.

Какъ полоумная, выбѣжала Агафья въ корридорчикъ и, босая, простоволосая, бросилась къ выходу, отодвинула тяжелый засовъ, выскочила изъ землянки и, спотыкаясь и падая на каждомъ шагу, побѣжала по полянѣ.

Но не успѣла она пробѣжать и половины поляны, какъ вслѣдъ за ней съ дикимъ гамомъ и крикомъ понеслись изувѣры, разбуженные и оповѣщенные о случившемся наставникомъ Изосимой.

Вотъ ближе и ближе они къ несчастной Агафѣ, угрожающіе, свирѣпые, озвѣрѣлые. Десятки камней, палокъ и сучьевъ летятъ на обезумѣвшую отъ стыда и страха женщину... Со стономъ, изъ послѣднихъ силъ, рванулась она впередъ—и замертво грохнулась на-земь. Закрылись глаза, безъ кровинки губы, только подъ вѣками что-то трепещетъ да въ горлѣ хрипота какая-то переливается. Но ничего этого не видятъ и не замѣчаютъ окружившіе ее со всѣхъ сторонъ христолюбцы, нанося ей ударъ за ударомъ по чему ни попало. Ужъ по землѣ кровавые ручейки побѣжали, а они все бьютъ, все еще тиранятъ несчастную жертву, волоча ее въ свое подземелье...

Въ знакомой намъ горницѣ вновь засвѣтились огни, вновь собрались «сущія о Христѣ убогія сироты», растрепанныя, въ однихъ рубахахъ, съ искаженными отъ злобы лицами.

— Страхъ Господень чистъ, пребываетъ во вѣкъ. Суды Господни истинны, всѣ праведны, — загремѣлъ среди гробовой тишины наставникъ Изосима.—Тако, братіе!—продолжалъ онъ, сверкая на присутствующихъ своими пронизательными сѣрыми глазами.—Наступилъ день гнѣва Божія на насъ и часъ праведнаго суда Его. Помолимся убо Ему, да озаритъ насъ, да просвѣтитъ, да наставитъ благодатію Своею въ судъ надъ грѣшницей сей, что презрѣла святую вѣру нашу, поругала уставы житія нашего и возмыслила въ гордынѣ своей предати насъ въ руки слугъ антихристовыхъ своимъ бѣгствомъ изъ пустыни нашей и глашеніемъ о насъ на стогнѣхъ вавилона прелестнаго. Да совершится Его воля святая!..

И плаксивымъ, гнусливымъ голосомъ онъ затынулъ мрачный надгробный стихъ: «И буду лежать, гласа ожидать. Какъ въ трубу вострубятъ, всѣхъ мертвыхъ возбудятъ, и азъ пробужуся, съ землей разлучуся. Пойду на судъ Божій»...

— Пойду на судъ Божій!—повторили присутствующіе послѣдній стихъ хоромъ, положивъ въ то-же время по глабокому земному поклону.

— Что убо сотворимъ сей?—обратился послѣ этого къ нимъ Изосима.

— Анаѳема антихристовой дщери!—неистово закричали изувѣры.—Смерть еретичкѣ! Въ каменья ее!..

— Да будетъ убо такъ. Зане слышасте, яко-же рече Господь Богъ нашъ: «воздамъ ти за беззаконія твоя и за грѣхи твоя излію на тя гнѣвъ Мой»...

Въ одну минуту набросились изувѣры на безчувственную, окровавленную дѣвушку, разорвали на ней платье и за ноги поволокли вонъ изъ подземелья. Голова несчастной моталась во всѣ стороны, глухо колотясь о ступеньки. Изъ окровавленныхъ устъ по временамъ вырывался протяжный жалобный стонъ; все тѣло конвульсивно подергивалось и вздымалось...

Съ глухимъ лязгомъ застучали о каменистую землю заступы, недалеко отъ подземелья готова невинной страдальцѣ преждевременную могилу. Безъ одежды, безъ гроба, какъ падаль, бросили въ нее Агафью, а чрезъ полчаса надъ нею возвышался уже цѣлый холмъ изъ каменьевъ и бурелома. Тихо спитъ она въ сырой землѣ, и только боръ дремучій знаетъ-вѣдаетъ ея судьбинушку злосчастную и по-прежнему шумить-гудитъ надъ могилкою забытою...





Оглавленіе

СТР.

I. Въ дѣбряхъ сектантства. Повѣсть изъ хлыстовско-скопческой жизни	1
II. Въ Изосиминной пустынькѣ. Разсказъ изъ быта сектантовъ-бѣгуновъ	157
III. На лѣсной полянѣ. Разсказъ изъ быта сектантовъ-бѣгуновъ	219
IV. У странниковъ. Разсказъ изъ быта сектантовъ-бѣгуновъ .	229

Рисунки на отдѣльныхъ листахъ:

1. Хлысть и хлыстовка въ своихъ „радѣльныхъ уборахъ“...	20
2. а) Красный угольскопческаго „Сіона“; б) Оома Кувалдинъ; в) Евдокимъ Харловъ	112
3. Бѣгунскій тайникъ	188
4. Бѣгунскій паспортъ	198

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ

		<i>Напечатано:</i>	<i>Слѣдуетъ:</i>
67 стр.	10 стр. сверху	Придохомъ же сквозѣ	Придохомъ сквозѣ
70 „	16 „ снизу	спасеннаго	спасенаго
73 „	6 „ „	поглядывать	подглядывать
80 „	18 „ „	жестокаго ложа	жесткаго ложа
83 „	14 „ „	бѣглецы-молодцы	бѣльцы-молодцы
131 „	3 „ сверху	„Приндите, ядите	„Примите, ядите
132 „	16 „ „	горехищнаго міра	горохищнаго міра

Кромѣ того на стр. 83 (14 стр. сверху) дважды напечатана фраза: Тамъ подъ великимъ градомъ Москвой, вы обряцете и покой, и чистоту, и безпечаліе голубиное!

RETURN TO the circulation desk of any
University of California Library
or to the
NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
Bldg. 400, Richmond Field Station
University of California
Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF
- Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

DUE AS STAMPED BELOW


SENT ON ILL

JAN 20 2010

U.C. NRLF

12.000 (11/95)

U. C. BERKELEY LIBRARIES



C046682644

M286155

836
B4917
v0

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

